З. ГИППИУС-МЕРЕЖКОВСКАЯ

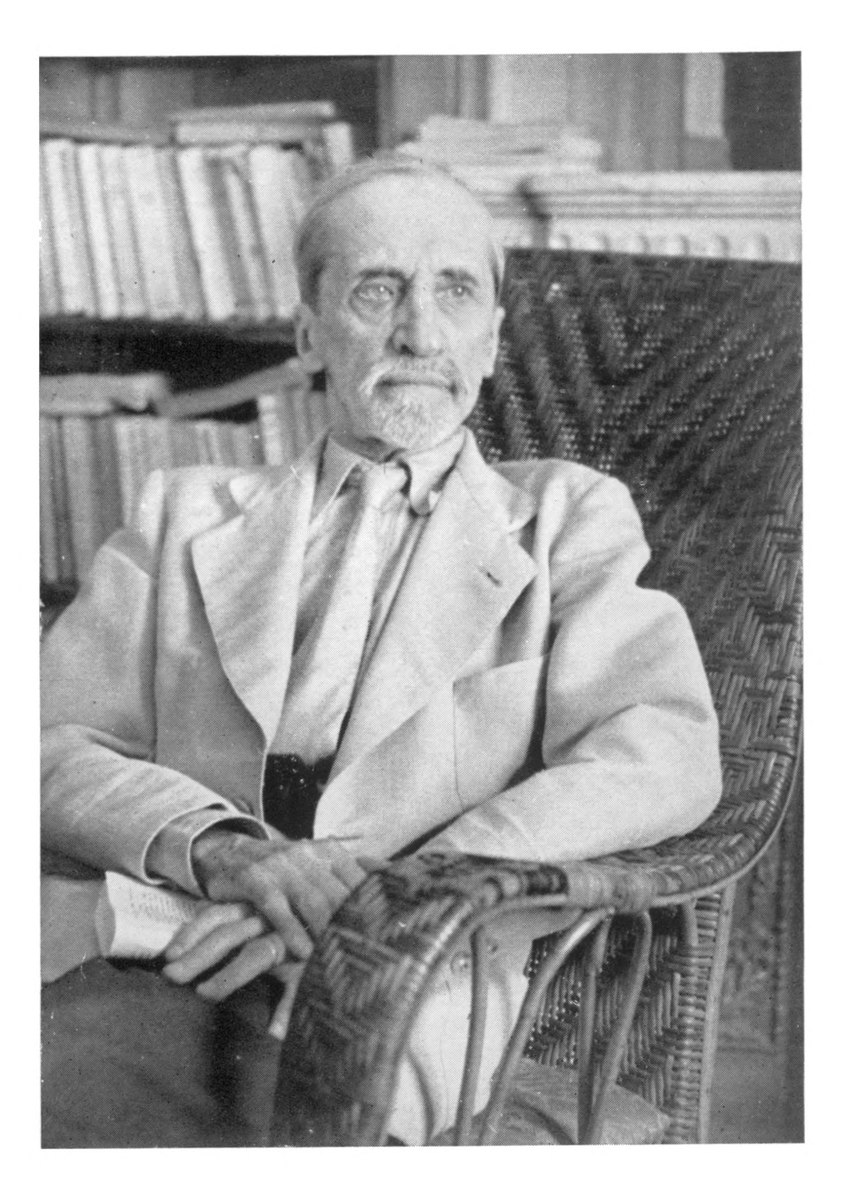
Дмитрий Мережковский

YMCA-PRESS
ПАРИЖ

З. ГИППИУС-МЕРЕЖКОВСКАЯ

Дмитрий Мережковский

YMCA-PRESS
ПАРИЖ



Париж

3 Июня 1943 г.
Четверг
(Вознесение)

Мне хочется сегодня начать мою тяжелую работу — эту запись. Хотя бы несколько слов написать. Продолжать буду после. Завтра — или через год (е. б. ж., как прибавлял Толстой, начиная что-нибудь писать, — в последние годы. «Если буду жив...»)

Все жены людей, более или менее замечательных, писали свои о нем воспоминания, печатали письма. Последнего я бы не сделала, еслиб имела фактическую возможность. Я ее не имею — почему — скажу потом. Трудно мне и писать воспоминания, делаю это из чувства долга. Трудно по двум причинам: во-первых — со дня смерти Дмитрия С. Мережковского прошло лишь около двух лет, а это для меня срок слишком короткий, тем более, что мне кажется, что это произошло вчера, или даже сегодня утром. Вторая причина: мы прожили с Д. С. Мережковским 52 года не разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день. Поэтому, говоря о нем, мне нужно будет говорить и о себе, — о нас; говорить же о себе мне в высшей степени неприятно — было и есть —. Те, кто читал мою книгу воспоминаний о некоторых моих (и общих) друзьях («Живые лица» — Блок, Брюсов, Розанов и др.) могут заметить, что там я особенно избегаю говорить о себе — да и не там только.

Связанность наших жизней (и не одна внешняя) и останавливала меня. Но потом я поняла, что отказавшись от задачи написать то, что от меня ждут, я поступлю эгоистично. И, наконец, если я буду писать свободно, не думая о препятствиях, — кто и что мне может помешать выкинуть из рукописи все, что будет для меня звучать неприятно. На случай внезапной смерти моей — оставлю указания и отметы. Но эта книга пускай будет написана с полной свободой, и ее точное название — ОН и МЫ.



ЧАСТЬ I

1.

Фактические сведения о себе Д. С. Мережковский дал сам в двух своих биографиях: одна, давняя, приложена к полному собранию его сочинений — перед войной 14 года. Другая — напечатана в одной из парижских русских газет, уже в эмиграции, в 1935 г., когда был его 70-летний юбилей. Тоже написанная, по чьей то просьбе, им самим*). Но лучше всего третья, это его «Старинные Октавы», поэма, вошедшая в полное собрание его сочинений. Там — очень правдивое изображение его детства, юности, семьи; там дана, кроме сухих сведений, *атмосфера*, в которой он рос и, конечно, образ матери.

К его биографии я, поэтому буду лишь возвращаться попутно, и, когда придется, дополнять кое что по его рассказам. Мать его умерла 20 марта 1889 года, т. е. через два с половиной месяца после нашей свадьбы (8 янв. 1889 г.) и моего приезда в Петербург. Я ее часто видела и могла понять удивительную взаимную любовь ее и его; для меня, впрочем, не очень удивительную, т. к. я так же глубоко любила свою мать. Отец Д. С. прожил еще около 20 лет, — умер в 1908 году, тоже в марте, в СПБ. — мы тогда жили в Париже.

Только благодаря матери, Д. С. мог добиться согласия отца на свою женитьбу и обещания выдавать ему ежемесячно известную сумму денег на житье. До женитьбы он жил в семье, в большой квар-

*) З. Н. ошибается. Существует одна автобиография Д. Мережковского, приложенная к полному собранию его сочинений. «Вторая» — почти дословная перепечатка первой.

тире на Знаменской, где, кажется жил еще кто-то из братьев. Из них Д. С. был младший; после него была только одна сестра Вера. Всех сестер было три. Что касается братьев — их было шесть человек.

Ни с одним из них Д. С. не был близок. Да и все эти девять человек не были, кажется, близки друг другу. Семья держалась только благодаря матери, вечной заступнице перед суровым отцом, и с ее смертью естественно распалась. Об отце, которого я знала, я скажу впоследствии. Он был очень богат, но взрослым детям от этого было не легче. Отец, по принципу, считал, что каждый должен сам зарабатывать и жить на себственные деньги. Дочерей он спешил выдать замуж. Давал ли он им какое-нибудь приданое — я не знаю. Он считался скупым, но скупость его была какая то особенная, ее трудно определить. Человек, во всяком случае, с большим характером. Жену он любил безгранично, но и мучил достаточно — все из за детей. У нее тоже был характер и, когда ей что-нибудь казалось нужным, она, не жалея себя, добивалась, чего хотела. Младший сын, Дмитрий, был ее любимцем. И если отец дал ему кое-что на первое обзаведение и затем ассигновал на житье какую-то сумму, то это лишь благодаря ей. Если бы не она — наша свадьба была бы отложена на неопределенное время, так как у меня не было ничего, мы жили на пенсию матери после умершего в 1881г. отца, — он служил в судебном ведомстве.В этом году закончилась и карьера Сергея Ивановича Мережковского: после убийства Александра II он, в чине действительного тайного советника, вышел в отставку. Какое точно место занимал он в Дворцовом Ведомстве при Александре II — я не умею сказать. В биографии Дм. С.-ча это определено. Знаю, что семья жила на казенной квартире на набережной, а летом — на Елагине, в доме около Елагинского Дворца, где 2 Августа 1865 г. Дмитрий С. и родился. Он очень любил Елагин Остров и много рассказывал о том, как он в детстве проводил там

лето, показывал мне даже деревья, на которые залезал с книжкой, чтобы быть совсем одному. В «Старинных Октавах» много об этом и об Амалии Христиановне, бонне-немке, часто остававшейся, и одной, со всей этой кучей детей. Потому, что отец, по долгу службы сопровождавший нередко Двор заграницу — например, больную жену Александра II, или Наследника, непременно брал с собою и жену, с которой не мог расстаться. Она покидала всех детей и ехала с ним, хотя, м. б. это и было ей тяжело. Об ее отъездах и приездах опять таки сказано в «Октавах». В одно из материнских отсутствий младший сын, Дмитрий, еще совсем маленький, заболел дифтеритом. Тут уж мать прилетела и сама выходила его. С этого случая, кажется, и стал он ее любимцем, и началась их особенная взаимная любовь.

Я не пишу собственно биографию, ни его — ни мою, хотя в общем рассказе буду более или менее последовательна. Ради этой последовательности рассказа, мне надо коснуться нашей встречи, случайной или провиденциальной (это как угодно) для которой нужна была целая цепь событий в его жизни, как и в моей, и без который она не могла бы произойти.

Как сказано выше, мой отец служил в Судебном Ведомстве. Начал службу он рано, кончив Московский Университет, и был товарищем прокурора в Туле (или, кажется, еще только кандидатом, начал же службу после своей ранней женитьбы, в Белеве, где я родилась. В Тулу он был переведен тотчас после моего рождения). С матерью моей, сибирячкой, он встретился до Белева, в Туле. Семья моего отца была московская. т. е. семья немецкая,— кажется из Мекленбурга (не знаю точно), переселившаяся в Москву в шестнадцатом веке (1534 г.), где родоначальник открыл, в Немецкой Слободе, первый книжный магазин.

Отцу еще не было 30 лет, когда его назначили товарищем Обер Прокурора Сената. Мы переехали в Петербург (из Харькова), но туберкулез отца не позволил ему там долго оставаться. Пришлось «перемениться» (не знаю точно, но это случалось) с чиновником на юге, и отец сделался председателем Суда в Нежине (где воспитывался Гоголь) и где он от острого туберкулеза через несколько лет и умер. Мать перевезла тело в Москву, куда и мы все в скорости переехали. (С нами жила незамужняя сестра матери, бабушка, и были уже у меня три маленькие сестры, одна даже грудная). По переезде в Москву, где жила grand'maman, мать отца, мать отдала меня в частную классическую гимназию Фишер на Остоженке, где и мы поселились. Мне шел одиннадцатый год.

Классическая гимназия была дорога и потому тяжела для матери, но она помнила, что отец не хотел отдавать меня в «простую» гимназию (это его предубеждение было, может быть, тогда по времени), институт же, после неудачного опыта с Киевским, еще при жизни отца, был для меня невозможен и нежелателен. Мать и тогда, в Нежине, лишь уступая отцу, отвезла меня в Киев, и предчувствовала, что из этого ничего не выйдет. Моя привязанность к отцу и к ней была такая страстная, что разлуки я пережить не могла, почти все время провела в институтской больнице, — отец уступил и меня вернули домой. Мой отец был не суров, но строг и требователен. Когда он был чем-нибудь недоволен — он переставал обращать на меня внимание, и я знала, что необходимо итти, просить прощения. После — все выяснялось, и мы опять были «друзья». Именно друзья, потому, что он говорил со мной обычно, как с «равной», с большой, (а я была так мала, что в институте меня называли «маленький человек с большим горем» и, кажется, все, начиная с grand'maman, были рады, когда меня взяли домой). Дома — в Нежине — первый период моего «домашнего воспитания»: куча

учителей из Гоголевского института. Помню одного, русского языка, которого я любила и спрашивала: «а вы знаете еще другую маленькую девочку, которая умела бы так писать, — без одной ошибки?» Гоголя я уже знала, — отец был его поклонником и даже устроил два любительских спектакля (играли его сослуживцы), чтобы в городском сквере этого городишки был поставлен бюст Гоголю. Он и был поставлен. Театра там, конечно, не было, играли в зале Гоголевского Института, а репетиции все происходили у нас.

В одном только отец не мог меня переупрямить: я ненавидела гувернанток, особенно немок, и не желала учиться немецкому языку. И гувернантки-немки у нас не уживались. Положим и были они неудачны, даже бонны. Если бы попалась такая Амалия Христиановна, которой в «Октавах» поет «хвалу» Д. С. Мережковский, — было бы, м. б. все другое.

Классическая гимназия мне очень нравилась. Я была второй ученицей, но из этого тоже ничего не вышло, хотя по другой причине, чем из Киевского института. Я заболела, доктора нашли у меня начало туберкулезного процесса (к ужасу матери, боявшейся наследственности) и запретили мне выходить зимой. Гимназию пришлось бросить, это было начало второго периода «домашнего воспитания» — опять с учителями, но уже не профессорами, а студентами Московского Университета. Не могу сказать, чтобы они много мне дали. Настоящим учителем этого времени был мой дядя, один из двух братьев моей матери, очень известный в то врея присяжный поверенный в Туле. Он заболел туберкулезом горла, приехал лечиться у московских докторов и жил с нами, в нашей маленькой квартирке. Очень культурный, он, не обращая внимания на моих студентов, вел живые со мной уроки, — главным образом по литературе. Я уже читала теперь все, без отцовского выбора, а дядя не только это чтения направлял, но пояснял и задавал мне сочинения... на очень трудные,

как теперь вижу, темы. Не всегда я с ними справлялась, но он был терпелив. Через год, к несчастью, приехала его невыносимая, полусумасшедшая жена и увезла его в Тулу, где он в скорости и умер.

Я не поправлялась, и одно время мать даже подумывала переселиться всем семейством в Швейцарию, в Лозанну, где жила тогда жена ее второго брата с детьми. Еслибы это случилось — не думаю, чтобы мы встретились когда-нибудь с Д. С. Мережковским. Но случилось другое.

Весной, после довольно тяжелой зимы, когда две младшие сестры мои перенесли очень серьезный плеврит, мать решила — не переселиться, а прожить год в Крыму. Мне тогда было уже 16 лет. Была нанята дача около Ялты, на горе, в долине... т. е. над долиной Учан-Су. Она принадлежала генералу (т. е. действ. ст. советнику) А. Н. Драшусову, он был (как я узнала после) учителем А. Ф. Кони. Уже в то время глубокий старик — он занимал мезонин дачи, летом, а весь низ сдавал. Мать моя договорилась на год с его сыном, и в мае мы все двинулись на юг, с детьми, с няней (еще когда-то моей), с теткой и бабушкой. Страсть к путешествиям, к новым местам, юности свойственна. Но у меня оставалась всю жизнь, так же, как и у Д. С-ча. А ехать тогда в Крым в первый раз... Это ли не счастье?

Дм. Серг. в Крыму бывал с ранней юности. Кажется, еще в те времена, когда отец его сопровождал какого-нибудь больного члена царской семьи, но не заграницу, а в Крым, и мать успевала уговорить взять «Митю» с собой. Я говорю «кажется», потому что я не помню, как это было в точности. Знаю, что Д. С. бывал и живал в Алупке и в общении с тогдашними ее владельцами. Он навсегда остался влюбленным в Алупку и Ореанду, еще при мне остававшуюся в руинах и запустении. Но у Сергея Ивановича было и собственное имение в Крыму, небольшое, кажется,— в долине Учан-Су, очень близко от самого водопада, и в то время когда мы жили на даче Драшусова, там

проживал старший сын С. И. — Константин (в одиночестве и нам совершенно неизвестный). Дмитрий Серг. там бывал тоже, но раньше этого года. Мать его как то сказала, при мне: помнишь, как ты там (в этом имении) на балконе вдруг стала повторять: умереть хочу, умереть хочу! — да чуть и не умерла, заболела тогда тифом?

Не знаю, когда было это имение продано. Но к нашей свадьбе его уже не было, и Д. С. гораздо более часто говорил об Алупке, нежели о нем.

Наш год на даче Драшусова подходил к концу, я и сестра чувствовали себя хорошо, но было еще не решено, куда же мы отсюда поедем? Опять в Москву? Ничто не связывала мать мою с Москвой особенно, кроме могилы мужа. Детей учить (в гимназии) рано, меня — поздно. Но и оставаться в Крыму, искать новую дачу — бессмысленно. Мне нравилась эта неопределенность: что-нибудь да будет же, и новое, а значит — хорошее. В Крыму я начинала скучать: не было кругом никого, даже той кузины московской, которую одну я и любила. Не было и книг. Уроки, которые я давала второй сестре — надоедали мне. Единственное развлечение — переписка, все равно с кем, лишь бы писать. Когда старик Драшусов уезжал в Москву — я писала ему, и он отвечал, и даже потом сказал, что хорошо, если бы я попробовала вообще что-нибудь писать. Но я писала только бесконечные дневники и — шуточные стихи, на кого попало, на тетку, на старика Драшусова... (тетка эта, старая дева, в него влюбилась). Такими упражнениями я заразила и тетку, и барышню, которая с нами жила, и даже на один раз — мать. Если писали другие — то они оставались втайне.

Было еще одно, довольно жалкое развлечение (это уж под конец) — ялтинский жалкий театр. Шли только оперетки, — но не все ли равно. Гора наша была тяжелая, но я уговорила маму спускаться в Ялту хоть раза два в неделю, в этот театр. Однажды, в сумерки, спускаясь, мы встретили кого то, к нам

как будто едущего, на извозчике. Вернувшись поздно — мы узнали, что был у нас из Тифлиса приехавший, второй мамин брат, Александр. Он уже давно жил в Тифлисе — был тоже адвокат и даже издавал газету «Юридический Вестник». Вот этот приезд и решил нашу судьбу — мою в особенности.

Переезд нашей семьи на Кавказ разрешал много затруднений и вопросов. Во-первых — вопрос материальный. Дядя был почти богат, он брал к себе бабушку (свою мать) и тетку (сестру). Жена его с детьми вернулась из Швейцарии и лето мы должны были провести все вместе, в горном Боржоме, — и тут разрешался и вопрос о климате, — о моем здоровье, которое должно было укрепиться. Мои новые кузен и кузина (я их видела только в самом раннем детстве) писали мне восторженные письма о Боржоме.

И в конце мая мы сели на пароход, отходящий в Батум. В том же составе ехали, как из Москвы. Был, впрочем, и лишний пассажир: бабушкина черная кошка.

Лето в Боржоме с дядиной семьей... Это была, и вправду, новая жизнь. После Москвы, после скучной крымской дачи — музыка, танцы, верховая езда... Для шестнадцатилетней провинциальной барышни — нельзя лучшего и желать. С кузеном Васей, гимназистом, одних лет со мной (будущий думский депутат) мы сразу крепко подружились. Да и природа Боржома — обворожила меня.

Осенью мы переехали в Тифлис, в собственную квартиру. И зимой не было скучно. Мы все, младшие, надеялись, что весной вернемся в Боржом. Но у дяди Александра был странный характер: он был немножко самодур и деспот. Почему-то он решил, что довольно Боржома, надо попробовать и другое место, — например, Манглис. Никто там не был, хо-

рошего о нем слышно не было тоже, но — жена дяди поехала и наняла дачи там.

Добра из этого не вышло. Не буду вспоминать ни этого неприятного места, ни трагического лета. Дядя Александр, приехав на дачу позднее всех, особенно угрюмый (но уже больной) — через две недели там и умер, от воспаления мозга.

Опять новая жизнь? Почти. Для моей матери, т. е. и для нас, она осложнялась большими заботами. Бабушку и незамужнюю тетку, после смерти дяди, их брата и сына, моя мать снова должна была взять к себе. «Богатство» дяди Александра оказалось доходами с его работы, семье своей он не оставил почти ничего, и жена не могла же брать на себя содержание мужниных родных. После смерти дяди они переехали в маленькую квартирку, англичанка кузины Сони была отпущена, девочку намеревалась мать отдать просто в гимназию.

Мы тоже переменили квартиру. Зиму провели тихо, — смерть, как всегда, перевернула во мне, в душе, что-то очень серьезно. Я много читала,— увы, без всякого руководства, а что придется, что можно было достать. Пристрастилась, конечно, к стихам. А тут как раз, началась «надсониада», если можно так выразиться. Только что умерший Надсон проник со своей «славой» и в провинцию. Тифлисские гимназисты, приятели кузена Васи, нас окружавшие, все записали стихи, особенно потому что и я их в то время писала не так мало, — довольно скверные, конечно. Но я отмечу странный случай. Мне попался петербургский журнал, старый, прошлогодний, — «Живописное Обозрение». Там, среди дифирамбов Надсону, упоминалось о другом молодом поэте и друге Надсона — Мережковском. Приводилось даже какое-то его стихотворение, которое мне не понравилось. Но неизвестно почему — имя запомнилось, и как... — об этом ниже.

К весне (1888 г.) мы, по молодости лет, оправились от Манглисского кошмара и беззаботно стали

мечтать о... нашем Боржоме. Было бы бесцельно нашим матерям, моей и кузине, убеждать нас, что время другое, что денег для Боржома теперь нет... Мы бы не поверили, — да и почему в Боржоме жить дороже, чем в Тифлисе. А дачки можно нанять маленькие, дешевенькие...

Так оно и вышло. Две маленькие дачки, обе на горе, но не близко одна от другой, были наняты, и в конце июня (раньше в горные места, от дождей, переезжать нельзя) мы все очутились, наконец, в нашем Боржоме.

Мать Д. С. Мережковского эти последние годы болела печенью и Сергей Иванович увозил ее в Vichy. Так было и в этот год, когда Дм. Серг. сдал кандидатскую диссертацию; и только что издал первую книжку стихов. Ему было 23 года. Но и до этого лета, мать, уезжая в Vichy, приберегала какую-то сумму для своего «Мити», чтоб он мог поехать, куда хочет: знала его любовь к путешествиям. Он уже ездил по России, был у Глеба Успенского, и у знаменитого тогда (не знаю чем) крестьянина Сютаева. А еще раньше был ненадолго в Париже с семьей музыканта Давыдова.

В год нашей встречи (1888) он начал путешествие с поэтом Минским, но потом они расстались, когда Д. С. спустился по Военно-Грузинской дороге в Закавказье и случайно (кто-то в дороге же ему посоветовал) — попал в Боржом.

Встретил его Боржом неприветливо: это было в мае — и шел непрерывный дождь. Серое небо, сырость, а гостиницы в тогдашнем Боржоме были ужасные. Да Д. С. еще и не попал в лучшую, «Кавалерскую», а в какой-то просыревший барак. Он хотел уже уезжать. Пошел на почту, спросить, нет ли писем из Vichy, от матери, да и лошадей до станции Михайлово там же заказать можно было. Начальником почтовой конторы был хороший наш, по перво-

му пребыванию в Боржоме, знакомец — молодой латыш Якобсон. Весь год, после боржомского знакомства, я была с ним в деятельной переписке. Стихотворная и вообще литературная зараза нашего юного гимназического кружка очень его коснулась, он вообразил себя тоже писателем и присылал мне, вместе с красивыми тетрадями для моих Дневников, свои «произведения», смешные «стихотворения в прозе». Надо признаться, что мы над ним много насмешничали, хотя, может быть, и два главные наши поэты-гимназисты, Глокке и другой, не помню фамилии, писали не многим лучше. Белобрысый, красноносый, он говорил с акцентом, выговаривая «л» как «l», и звали его «Сила» (как Sila). В силе своей (литературной) он был уверен, и Силой мы звали его потому, что он, убеждая меня однажды выйти за него замуж, сказал: «вы Sila и я sila; вместе мы горы сдвинем». Я, конечно, этими горами не убедилась; но вот к этому-то Якобсону и попал Д. С., спрашивая письма на имя Мережковского. Наш знаток литературы имя петербургского поэта знал и очень обрадовался случаю: как, уезжать? Сезон начинается, вы увидите, что такое Боржом. В гостинице вам плохо, переезжайте ко мне. У него была своя уютная и благоустроенная дачка, куда он и перетащил своего нового пленника, за которым всячески стал ухаживать. Прочел его новенькую книгу стихов, конечно. Вдохновившись Буддой, придумал довольно глупую фантазию: попросил гимназиста-поэта Глокке, тоже приехавшего в Боржом, сказать мне, что у него живет буддист из Индии, ходит в халатах и ни с кем не разговаривает. Глокке, всем и всегда покорный, все это исполнил, едва мы, в последних числах июня, водворились на нашей дачке. И вот тут-то произошла странность, которую я не могу сама объяснить: когда Глокке, со своими еще подробностями, рассказал мне про буддиста, у Якобсона, я вдруг сказала: все это вздор. Никакого нет буддиста, ни халатов, а живет у Ивана Григорьевича просто Мережковский. Глокке

опешил: кто вам сказал? Но мне *никто* ничего не сказал и, после «Живописного Обозрения», я нигде не видела, ни слышала имени Мережковского, да никогда о нем и не думала.

Видя, что тайна раскрыта (или угадана) Глокке мне все рассказал, что знал, прибавив: «Да, Мережковский, я книгу читал, и с ним познакомился. Но он не танцует и верхом не ездит». Последнее замечание еще ослабило мой интерес к поэту (единственное стихотворение в Жив. Об. мне тогда не понравилось). «Но Иван Григорьевич хочет все таки его с вами познакомить, — продолжал Глокке, — вот, в ротонде, в воскресенье. Вы будете?»

Еще бы! Как пропустить танцевальный вечер?

К залу боржомской ротонды примыкала длинная галлерея, увитая диким виноградом, с источником вод посередине. По этой галлерее гуляют, во время танцевальных вечеров, или сидят в ней, не танцующие, да и танцующие — в антрактах. Там, проходя мимо с кем-то из моих кавалеров, я увидела мою мать, и рядом с ней — худенького молодого человека, небольшого роста, с каштановой бородкой. Он что-то живо говорил маме, она улыбалась. Я поняла, что это Мережковский. Глокке уже приносил мне его книгу и уже говорил о нем с восторгом (которого я почему то не разделяла и не хотела, главное, разделять). Я была уверена (это так и оказалось), что и Глокке, и Якобсон, уже говорили обо мне Мережковскому (о нашей «поэтессе», как тогда меня называли), и, м. б., тоже с восторгом, Глокке даже м. б., читал ему мои стихи; думала также, что Мережковский их восторга, как я о нем, не разделял. Не последнее, а все это вообще мне было неприятно. Потому, должно быть, когда в зале ротонды, после какой-то кадрили, меня Глокке с М. познакомил, я встретила его довольно сухо, и мы с первого же раза

стали... ну, не ссориться, а что-то вроде. Мне стихи его казались гораздо хуже надсоновских, что я ему не преминула высказать. Маме, напротив, Мережковский понравился, и сам он, и его говор (он слегка грассировал).

Однако, после первой встречи, мы стали встречаться ежедневно, и в парке, на музыке, и у Якобсона, куда он нас с мамой часто зазывал. Но почти всегда разговор наш выливался в спор. Моему кузену Васе, совсем не поэту, Мережковский тоже понравился; не потому, что писал стихи, а потому, что читал Спенсера.

В нашу компанию вошел новый элемент чего то более все таки взрослого. Ведь 23-х летний Мережковский был, однако, старше всех нас. Да и чувствовалось, что он из другого совсем мира, не того, к какому принадлежало и большинство наших «взрослых», — старых. В Боржоме бывала куча всякого сброда во время сезона. Их Мережковский называл «архаровцами» (пошляками) и старался быть от них подальше. Он много гулял один (погода стояла божественная) и я уже знала, что он сочиняет теперь длинную поэму из испанской жизни под названием «Силвио».

Почтарь Якобсон был, в конце-концов, даже рад, что мы с Мережковским не очень дружны, все будто ссоримся; он стал рассказывать, что Мережковский влюблен в одну тамошнюю барышню, Соню Кайтмазову, которая всегда гуляла одна, с книжкой, не бывала на вечерах, даже на музыке. Эта барышня, очень, действительно, скромная и милая, кажется, была чеченка. Ее темная коса была так длинна, что касалась подола платья — тоже длинного, по тогдашней моде. Мережковский не отрицал, что она прелестна, что они встречаются... Но, как потом он мне рассказывал, она раздражала его живой характер своим тупым молчанием: точно ничего не понимала, о чем с ней говорят.

В это же время в Боржом приехал один недавний наш знакомец, какой-то дальний родственник моего отца, А. И. Гиппиус. Приходился он мне дядей, но таким дальним, что в шутку он звал меня «тетушкой» и, между прочим, имел намерение на мне жениться. Он был ко мне очень мил, но его намерение меня не трогало; он мне казался «старым» — больше 30 лет! И хотя он мне подарил все сочинения Надсона — чувствовалось, что мы с ним не пара, любой гимназист был мне как то веселее.

Он, впрочем, надеялся, что молодая живость моя скоро угомонится. Гимназисты ему были конечно, не соперники. Но познакомившись с Мережковским, он раз сказал мне: «вы видите, тетушка, какие есть блестящие молодые люди в Петербурге. Я там их встречал. Но хоть и легко, не следует этим блеском увлекаться».

Я, впрочем, и не была, или не считала себя увлеченной. Мы с Мережковским продолжали полуссориться, хотя встречались теперь постоянно, несколько раз в день. Все мое молодое окружение было от Мережковского в восторге, — и, может быть, это меня немножко раздражало. Особенно рассердилась я, когда кузен Вася сказал, что Мережковский считает меня необразованной, что это жаль, и что он советует мне почитать Спенсера. Хороший ли был совет — другое дело; а что я была действительно редкий неуч — тут какой же спор, я это и сама знала, потому и рассердилась на всех троих: на Васю, на Мережковского и на Спенсера.

В эти дни устраивались часто дальние поездки целой компанией. Устраивал их чаще А. И. Гиппиус, с помощью почтаря Якобсона, который сам в них не участвовал. Мережковский всегда приглашался мною, но вдруг начинал капризничать: говорил, что ему скучно с «архаровцами», что все это пошлость и т. д. Я сердилась и уходила из парка. А потом, в последнюю минуту, Д. С. являлся без капризов и мы ехали в двух или трех экипажах — раз в Абас-Туман,

горное место, на два дня, в другой раз — на «Ацхурские Огни» — таинственное место, где ночью горел неизвестный огонь, видный лишь с нижней дороги. Мы туда ночью ходили исследовать, где горит огонь. Ничего, конечно, не нашли, вернулись к лошадям, и в Боржом приехали только утром.

Во время таких поездок и вообще среди нас Д. С. был центром. Но отнюдь не был он тем, кого называют «душой общества». Никого он не «занимал», не «развлекал»: он просто говорил весело, живо, интересно — об интересном. Это останавливало даже тех, кто ничем интересным не интересовался. Но, понятно, что все мои гимназисты, которых я, признаться, и раньше, от них того не скрывая, считала дураками — тут уж совсем поглупели — даже в своих, кажется, глазах. Один мой кузен Вася, хоть и не поэт, не терял апломба перед Мережковским, но ведь Вася читал Спенсера.

Пока происходило это завоевание Боржома, почтарь Якобсон, наша Sila, стал, напротив, как то косо поглядывать на Мережковского. Они давно уже не жили вместе. Д. С. переехал в открывшуюся с сезоном Кавалерскую гостиницу. Может быть, Якобсон заметил, что мои споры с Д. С. не мешают нашему сближению, а может быть возревновал его к своему литературному «имени» или званию, потому, что принялся устраивать у себя свои литературные вечера со своими поэтами в черкесках, над которыми и гимназисты справедливо издевались. Не понравилось и Якобсону и первое, шутливое, стихотворение, которое мне написал Мережковский. (Я его помню, но не стоит его здесь выписывать). Каждый день, в парке, Якобсон мне повторял, что М. скоро уезжает. Однако, он же, в одно прекрасное утро, объявил мне торжественно и — мне показалось — злобно: «он остается».

С самим М. мы о его отъезде или неотъезде не говорили, хотя видались теперь в парке всякое утро — и наедине. Он спрашивал накануне, в котором

часу я приду, просил притти пораньше. Я однажды сказала, совершенно просто: «а если я просплю?» И вдруг удивилась его неожиданной обиде. Я была избалована, однако почему-то мысль, что Мережковский серьезно ухаживает за мной, что я ему серьезно нравлюсь, мне пришла тогда впервые. Если он... а что же я? Так вдруг я еще не умела себе ответить. Я только полюбила наши утренние прогулки вглубь ущелья, наши почти уже мирные, всегда интересные, разговоры... Любопытно, что у меня была минута испуга, я хотела эти свиданья прекратить, и пусть он лучше уезжает. Что мне с ним делать? Он — умнее меня. Я это знаю; и все время буду знать, и помнить, и терпеть... Этой мгновенно промелькнувшей мыслью я доказала, кстати, что умней меня и не трудно быть.

Через несколько дней очень многое неожиданно выяснилось... или запуталось; во всяком случае изменилось.

В сущности, весь период нашего первого знакомства с Мережковским был короток: несколько последних дней июня, когда мы приехали в Боржом, и первые десять дней июля, потому что 11 Июля и наступила та перемена в наших отношениях, о которой сказано, и начался уже второй период.

---

11 Июля, в Ольгин день, в ротонде был танцевальный вечер, но не воскресный, не обычный, наш, а детский. Он устраивался во все лето лишь один раз, и мы все туда, конечно, тоже отправились, смотреть. Д. С. Мережковский хотя не танцующий, бывал, однако, и на воскресных вечерах, встретили мы его и на этом. Бал был очень милый, но нашим матерям смотреть на детей было, кажется, веселее, мне же скоро наскучило. Д. С-чу, конечно, тоже. Да в зале — духота, теснота, а ночь была удивительная, светлая, прохладная, деревья в арке стояли серебреные от луны. И мы с Д. С. как то незаметно оказались вдвоем, на дорожке парка, что вьется по берегу

шумливого ручья-речки Боржомки, далеко по узкому ущелью. И незаметно шли мы все дальше, так что и музыка уже была едва слышна. Я не могу припомнить как начался наш странный разговор. Самое странное, что он мне тогда не показался странным. Мне уже не раз делали, как говорится «предложение»; еще того чаще слышала я «объяснение в любви». Но тут не было ни «предложения», ни «объяснения»: мы, и главное, оба — вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся, и что это будет хорошо. Начал, дал тон этот, очень простой, он, конечно, а я так для себя незаметно и естественно в этот тон вошла, как будто ничего неожиданного и не случилось. После, вспоминая этот вечер, особенно во время наших размолвок (их потом случалось не мало) я даже спрашивала себя, уже не из кокетства ли я тогда ему не возражала, и действительно ли хочу выходить за него замуж? Уже бывала, и не раз, «влюблена», знала, что это, а ведь тут — совсем что-то другое! Первое мое влюбление, в 16 лет, было кратко (как, впрочем, и другие) — в талантливого и красивого скрипача, сына нашего домохозяина, часто у нас бывавшего и очень за мной ухаживавшего. Он был уже тогда смертельно болен, туберкулезом, но состояния своего не знал и, вероятно, сделал бы мне предложение, если б, к счастью моей матери, которая все видела и ни за что бы на этот брак не согласилась, мы не уехали внезапно из Тифлиса. Через полтора месяца я все забыла, а мой Jèrome В. осенью от своей болезни и умер. Последующие мои влюбленности вызывали у меня отчаяние и горестные страницы в дневниках: «я в него влюблена, но ведь я же вижу, что он дурак».

И вот, в первый раз с Мережковским, здесь, у меня случилось что-то, совсем ни на что не похожее...

Мы вернулись в ротонду. Когда вечер уже почти кончился и мама начинала тревожиться, меня не находя. Мать моего кузена Васи, с ним и с его сестрой

Соней отправилась к нам пить чай. Она (тетя Вера, как мы ее называли) первая обратила внимание на мой странный, какой-то растерянный, вид. Дома я немножко пришла в себя, но отвечая на все расспросы, никак все-таки не могла рассказать то, что произошло в точности, ибо сама его себе не объясняла, да и мамы наши этого бы не поняли. И я сказала понятнее, что, мол, Мережковский сделал мне предложение. «Как, и он?» засмеялась тетя Вера, зная, сколько у меня тогда было «женихов». И прибавила: «Зина, кажется, и сама удивлена этой неожиданностью».

— Что же ты ему ответила? спросила мама.

— Я? Ничего. Да он не спрашивал ответа!

И, рассердившись, я ушла в свою комнату.

На другой день утром мы, как было условлено, встретились в парке и... продолжали тот же разговор. Он рассказывал мне о своей семье, об отце, главное, конечно, о матери. Рассказывал и о Петербурге, и о своих путешествиях. Молодую живость, увлекательную образность речей он умел сохранить до конца жизни, но у юного, 23-х летнего Мережковского была в его речах еще и заразительная веселость, не злая, а детская насмешливость.

С этой поры мы уже постоянно встречались в парке утром, вдвоем; днем, если мы не ехали никуда всей компанией, Д. С. бывал у нас. Никакого «объявления» о нашей будущей свадьбе не было, но как то это, должно быть зналось. Мои поэты-гимназисты сами были увлечены «настоящим» поэтом, и ревновать меня к нему им и вообще было не к месту. Один только латыш-почтарь (Sila) почему то нашим сближением был недоволен. Глокке, бывший у него в подчинении и у него, кажется, живший, мне это довольно чепушисто передавал, а однажды, уже поздно вечером, в мое окно, из сада, влетел толстый букет цветов, очень нас испугавший (я была с мамой). Я выглянула в окно, из черной-пречерной ночи раз-

дался жалобный голос Глокке: «Это от И. Г.. Он спрашивает: «Если бы не то — то что?» Таинственный вопрос. Он так и остался для меня тайной. Подумав, я, однако, решила сделать вид, что понимаю. — Скажите, что тогда было бы еще лучше, но и теперь недурно. — Этим дело не кончилось, и латыш, вообразив неизвестно что, вдруг предложил как-то, в галлерее, Д. С-чу — «обменяться пулями». Это было до такой степени глупо и не понятно, что Д. С., — он мне рассказывал потом — только рассмеялся ему в лицо, а почтарь сам сконфузился.

Рассказывая мне о петербургских поэтах, Д. С. заговорил как-то о Льдове: «Пришел ко мне невзрачный человек, принялся читать стихи, довольно скверные, и вдруг прочел одно — прекрасное»: «Как пламя дальнего кадила закат горел и догорал. Ты равнодушно уходила..» и т. д.

Стихотворение, правда, казалось нам тогда хорошим, хотя не было похоже на Надсона. Главное же, что немедленно прельстило наших поэтов — льдовские попытки писать стихи... не то, что «вольно» как потом это вошло в моду (не так скоро) — а просто полу-ритмической прозой. Это было не то, что я же сама, освободившись от Надсона, уже в СПБ-ге, начала вводить, написав свое «Хочу того, что нет на свете». (Этой «Песни» никто не хотел печатать, находя, что это «не стихи», а более ранние я уже тогда везде печатала). Льдовскую полуритмическую прозу писать — казалось легко, меня же всегда соблазняла «трудность» писать стихи, а потому я этим жанром не прельстилась, хотя и сам Д. С. пробовал его в то время. Я даже помню две строчки из одного такого «стихотворения»:

Мы два товарища орла,
Летим, летим под тучу грозовую

(Если б мы тогда представить себе могли, под какую грозовую тучу мы с ним в жизни попадем).

Но это к слову, наши же доморощенные «поэты» схватились за эту стихотворную прозу с особым увлечением — чего легче? Глокке, так тот писал это буквально каждый час, — услышит что-нибудь, и в другую комнату, за перо и бумагу, готово новое стихотворение.

Лето, однако, приходило к концу. Из горных мест уезжают рано, в начале сентября мы двинулись в Тифлис. Д. С. поехал туда же, очень ненадолго. У нас было решено, что он уедет в Петербург, на два месяца, чтоб устроиться с отцом, нанять квартиру, а венчаться мы будем в январе (1889 г.). И опять «решено» все это было как-то без лишних слов, а само собой. Мама почти примирилась с моим Петербургом. Д. С., кажется, уговорил ее обо мне не беспокоиться. А я знала, что она в Тифлисе не останется, да и смысла не было, после смерти брата. Степановская семья и сама не оставалась на Кавказе: через год Вася кончал гимназию, Соня тоже, и оба мечтали о высшем образовании. Они должны были переехать в Петербург. Маме же со всей семьей (бабушка, тетя Леля, старая дева, няня Дашенька, три девочки, племянник Паша, — ну и черная кошка) решила поселиться в Москве, но уже первое лето после моей свадьбы мы провели вместе, на даче под Москвой.

В сентябре Д. С. уехал из Тифлиса, и тогда-то мы и стали писать друг другу каждый день. Это была наша единственная разлука, после свадьбы мы уже не разлучались, потому никакой «переписки» между нами и не было.

2.

Зима в Тифлисе 1888-1889 г. была очень суровая и началась рано. На Военно-Грузинской дороге — непрерывные обвалы, а т. к. в то время иного сообщенья с Закавказьем не было, то почта зачастую опаздывала на целую неделю. Тогда я получала сразу целый пакет писем от Д. С.. Он не привык к запозданью и очень беспокоился, особенно когда в это время у меня был дифтерит. Несколько писем от него получила и мама — более реального содержания, насчет того, как он думает устроиться со мною в Петербурге.

Он вернулся туда раньше возвращенья отца и матери из Vichy. Но они не замедлили, и потом он рассказывал мне, да и мать его тоже, что пока она, больная, взбиралась на пятый этаж (они жили на Знаменской, 35, отец почему-то всегда предпочитал пятые этажи) — он уже на лестнице рассказал ей все. И она, конечно, уж знала, какое тяжкое дело ей предстоит с отцом. Нужно было уговорить его дать несколько тысяч на обзаведение, и потом назначить ежемесячно минимальную сумму на прожиток. Не знаю, сколько времени длились переговоры, представляю себе как они были тяжелы ей, совершенно в Vichy не поправившейся, но своего любимца Митю она все время утешала, что дело выйдет. Утром, как всегда приходя к нему поздороваться, когда он лежал еще в постели, шутила с ним, как с ребенком (не был ли он для нее ребенком). «Будет тебе, будет твоя цаца!» В письмах ко мне он не сомневался, что мать все устроит. И был прав. У нас, кроме самых

близких, никто и не знал о моей предстоящей свадьбе. Моя мать старалась приготовить мне что-то вроде приданого, но при нашем положении какое уж приданое! Настроение мое было не очень веселое, мне почему-то было страшно, хотя и переписка уже очень сблизила нас с Д. С. Первая разлука с матерью уже пугала меня, хотя и недолгая: переезд в Москву и общее житье летом были решены. В общем — жизнь моя, в эти два с половиной месяца, шла без перемен.

Мы ждали приезда Д. С-ча в начале декабря, но он приехал неожиданно раньше. В конце ноября, кажется, 23-го, хорошо помню: меня не было дома, а когда, вернувшись я вошла в нашу длинную залу, я увидала его стоящим около одного из окон, и так удивилась, что довольно бессмысленно спросила: «Откуда — вы?», на что последовал естественный ответ:

— Непосредственно из Петербурга.

Меня удивило только его красивое грассированье, от которого я отвыкла, забыла его.

Об этом времени перед нашей свадьбой мне почти нечего рассказывать. Мы, конечно, проводили целые дни вместе, читали (помнится, читали и вышедший тогда роман Зола — « Le Rêve », который обоим нам не очень, однако, нравился. Но он привез не мало новых русских книг и журналов, Чехова, между прочим, о котором только что написал статью в «Северном Вестнике». Очень подробно рассказывал он мне об этом журнале, о редакции, с Анной Михайловной Евреиновой во главе (и ее муже) Там работал тогда и А. Н. Плещеев.

Гаршина, которого уже не было (в припадке безумия он выбросился в пролет лестницы), Дм. С. знал хорошо и любил его. Привез Д. С. и первые мои, полудетские, конечно, стихи, напечатанные Плещеевым в том же «Сев. Вестнике» за подписью З. Г. Говорят, что видеть себя в печати впервые — приводит молодого автора в особо-неистовый восторг. Я

этого восторга не испытала, может быть — потому, что в печати мне уж стало слишком ясно, какие это стихи, сколько в них Надсона, к которому у меня началось охлаждение.

Стихи, впрочем, я продолжала писать (увы, все такие же), хотя Д. С. очень советовал мне попробовать прозу. Но о первых моих дебютах, столь неудачных, в прозе — потом, если придется к слову.

Всех «наших» Мережковский, конечно, очаровал сызнова своей молодой живостью и все той же способностью заинтересовывать тем, что он говорил и чем сам интересовался. Даже 14-летний племянник мамы, перешедший из дядиной в нашу семью, какой-то невинно-придурковатый (сумасшедшая мать успела этому посодействовать) — вдруг стал за обедом объясняться Д. С. в любви и «высоком уваженьи». Даже мой учитель музыки, молодой поляк, очень талантливый пианист, но тоже, по-своему придурковатый, и тот возгорелся этим самым «уважением и восхищением», хотя Д. С. не обращал на него никакого внимания, — он не любил и не понимал музыки. Оттого ли не любил, что не понимал, или обратно, — не знаю. Но это было предметом наших полуссор. После ялтинских опереток я пристрастилась к опере, а опера тогда, в Тифлисе, была превосходная. В ту пору приезжал Чайковский (мы его видели в театре), и с удовольствием слушал своего «Евг. Онегина». Часто Д. С. хотел, чтобы я осталась вечером дома, а я стремилась в оперу, предлагая ему оставаться дома, если он не желает ехать со мной. Он сердился: «Неужели вы думаете, что я не предпочту слушать с вами самую скучную оперу, но не сидеть один в номере гостиницы?» и ехал со мной — без всякого удовольствия. Сопровождал он меня и в Кружок, где по четвергам были скромные танцевальные вечера. Там однажды мы встретились с Соней Кайтмазовой, боржомской барышней с длинной косой, в которую Д. С. был — как уверял — влюблен до меня. Оба не танцующие, они прохаживались по зале, или си-

дели у окон, о чем-то разговаривая, пока я танцовала... уже не с гимназистами, — они в кружок не допускались. Да моя гимназическая компания уже распалась сама собой: ведь это были гимназисты 8-го класса, и они все разъехались по университетам и разным институтам, а кое-кто пошел в военную службу, «чтобы раньше взять жизнь», как эти говорили.

У нас дома только наша няня и тетя Леля, старая дева, не были Мережковским очарованы. Обе — из-за приверженности к Ал. Ив. Гиппиусу (он совсем исчез из Тифлиса, поехал, как оказалось, жениться на барышне Зубовой, которую присмотрел на случай, если со мной не выйдет). А тетя Леля была в него безнадежно и тайно (явно для других) влюблена. Не могла понять, как я ему предпочла Мережковского, неизвестно откуда взявшегося. А моя няня Даша (удивительное она была существо!) любила «важность»; Ал. Ив. ей казался более важным и солидным, что у Мережковского папаша-генерал (тайный советник) — она еще не знала. Впоследствии, когда наша семья из Москвы переехала в Петербург, и вплоть до нашего бегства, она жила у нас с Д. С. Да и сестры мои уже тогда подросли. Я сразу хотела взять ее с собой в СПБ. — ни за что.

В этот период мы с Д. С. ссорились, хотя не так, как в дни первого знакомства и в первый год после свадьбы, но все же часто. У обоих был характер по-молодому неуступчивый, у меня в особенности. Но в том, что всякие «свадьбы» и «пиры» — противны, что надо сделать все попроще, днем, без всяких белых платьев и вуалей — мы были согласны. Венчанье было назначено на 8 Января (1889 г.), но уехать в тот же день, или даже на другой, мы не могли: билеты в дилижанс мы достали только на десятое. Я не хотела даже шаферов, но оказалось, что они необходимы: венцы нельзя надевать на головы, как шляпу, надо их над головами держать. Мой шафер был кузен Вася (он только перешел в 8 класс), а второй — какой-то его товарищ.

Утро было солнечное и холодное. Мы отправились с мамой в Михайловскую церковь, близкую, как на прогулку: на мне был костюм темно-стального цвета, такая же маленькая шляпа на розовой подкладке. Дорогой мама говорила мне взволнованно: «Ты родилась восмого, в день Михаила Архангела, с первым ударом соборного колокола в Михайловском Соборе. Вот теперь и венчаться идешь 8-го, и в церковь Михаила Архангела».

Но я была не то в спокойствии, не то в отупении: мне казалось, что это не очень серьезно. В церкви (холодной) мы нашли наших шаферов, свидетелей и двух теток — жену (и ее сестру) покойного дяди. Свидетели были их знакомые, какие-то адвокаты. Нашли мы и жениха. Он был в сюртуке и в так называемой «николаевской» шинели, — их тогда много носили — с пелериной и бобровым воротником. Она была петербургская — пригодилась и для суровой тифлисской зимы. В шинели венчаться было, однако, нельзя, и он ее снял. Говорил потом, что не почувствовал холода, ведь все это продолжалось так недолго. Еще бы, ведь не было ни певчих, ни даже, (кажется), диакона, и знаменитое «жена да боится своего мужа» прошло совершенно незаметно. Постороннего народа почти не было, зато были яркие и длинные солнечные лучи верхних окон — на всю церковь. На розовую подстилку мы вступили вместе и — осторожно: ведь не в белых туфельках, — с улицы, а это все идет после священнику. Как не похоже было это венчанье на толстовское, которое он описал в Ан. Карениной — свадьба Китти! Когда давали нам пить из одного сосуда, поочередно, я, во второй раз, хотела кончить, но священник испуганно прошептал: «не все! не все!» — кончить должен был жених. После этого церемония продолжалась с той же быстротой, и вот — мы уже на паперти, разговариваем со свидетелями.

— Мне кажется, что ничего и не произошло осо-

бенного, говорю я одному. Тот смеется: «Ну нет, очень-таки произошло, и серьезное».

Затем мы, так же пешком, отправились к нам домой, свидетели ушли к себе. Дома нас ждал обыкновенный завтрак, только не знаю кто, мама или тетки, решил все же отметить столь не пышную, а все таки свадьбу: во время завтрака явилось шампанское, его дали даже Паше, который, как выяснилось, потихоньку в церкви был и остался доволен. Стало весело, — впрочем и раньше никто не грустил (кроме мамы, может быть, — ведь все таки разлука!).

Затем гости (тетка и шафера) ушли домой, а наш день прошел, как вчерашний. Мы с Д. С. продолжали читать в моей комнате вчерашнюю книгу, потом обедали. Вечером, к чаю, зашла случайно бывшая моя гувернантка-француженка. Можно себе представить, что она чуть со стула не упала от неожиданности, когда мама, разливая чай, заметила мельком: «А Зина сегодня замуж вышла».

Дм. С. ушел к себе в гостиницу довольно рано, а я легла спать и забыла, что замужем. Да так забыла, что на другое утро едва вспомнила, когда мама, через дверь, мне крикнула: «Ты еще спишь, а уж муж пришел! Вставай!»

Муж? Какое удивленье!

Я думаю, из людей бывших в Закавказье только в конце века и после, мало кто знает Военно-Грузинскую дорогу. В те же времена туда было только два пути: морем на Батум — и вот эта горная дорога на лошадях, до Владикавказа. Я не буду описывать ее красот, ни зимних, ни летних (мы проезжали с Д. С. ее дважды). Лермонтов достаточно хорошо описал Кавказ, и мне напрасно было бы стараться что либо к нему прибавить. Скажу только, что Швейцария, если не кажется перед ним мизерной (конечно, нет) то, во всяком случае, мало его напоминает: это совсем

что-то иное, не те линии другие, не то воздух самый: трудно определить. Может быть это и воображение.

Мы выехали довольно рано. Со второй станции громоздкий дилижанс был покинут: нас по-двое рассадили в сани и мы покатили по узкой снежной дороге. Мне навсегда запомнилось это нестерпимое солнечное-снежное сверканье, как бы длительная молния. От него и синий вуаль, которым меня снабдили, не помогал. Когда снежные стены с обеих сторон дороги делались круче и мелькал черный флажок на них, — даже легкие сани замедляли ход: флажок обозначал опасность обвала. А такой обвал — не пустое: гибель от него в диких местах почти *наверное*. Другой флажок — красный, советовал, напротив, проезжать это место как можно скорее: тут обвал уже был, но возможен второй.

Возница наш, грузин, был словоохотлив, но громко говорить избегал: это тоже благоприятствует обвалу. Мы почти не заметили, как свечерело, снега потускли — близок был высший пункт — Крестовая Гора, где обычно ночевка. Никаких на ней Паласотелей, конечно, не было, да и не было их, конечно, и после, — никогда. Никто их и не ждал. Несколько деревянных гостиничных построек, неудобных, конечно, но теплых. Мы все таки почти не раздевались и укрылись — я своей белой бараньей шубой, он — шинелью. Предварительно нас недурно накормили.

Утром надо было выезжать рано, чтобы к темноте попасть в город. И от высокого Креста, полузанесенного снегом — пошла опять та же белая дорога, только вокруг горы теснились еще ближе, ущелья были еще суровее. Возница раз обернулся к нам и, указывая направо, на какое-то невозможное острие, проболтал: «замок царицы Тамары...» Д. С. засмеялся: «Скажите, какая эрудиция...» Но вряд ли грузин знал Лермонтова: должно быть, так у них повелось, указывать проезжающим на это острие над пропастью.

Когда мы приехали на станцию «Казбек» (у под-

ножия этой величественной горы, стоявшей как-то особняком), погода начала портиться, подымался ветер. Казбек «курится» и в хорошую погоду, но тут понемногу стали наплывать настоящие тучи.

Не помню на какой станции мы оставили наши сани, перебрались опять в местный дилижанс: снег почти исчез. В город (Владикавказ) приехали очень поздно, было темно и накрапывал дождь. За вторую половину пути мы устали больше, и рады были постелям какой-то плохенькой гостиницы.

На другой день обыкновенный поезд помчал нас в Москву.

«Москва! как много в этом слове...» Для Д. С. не особенно много, он, коренной петербуржец, Москву знал мало, бывал в ней проездом. Другое дело для меня: я волновалась, сейчас увижу то и тех, кого не видала больше трех лет — вечность для молодости. Увижу Остоженку, мою кузину, grand'maman. Как должно все измениться за эту «вечность»!

Однако, ровно ничего не изменилось. Как и я сама, — по наружности, во всяком случае. Такая же была у меня за спиной толстая рыжеватая коса (я не изменяла прическу и в дальнейшие пять или шесть лет), в той же квартирке с низенькими потолками жила grand'maman, в том же угловом доме против церкви Воскресенья, и так же золотилась вывеска над «колониальным магазином Медведева с сыновьями».

Мой «муж» grand'maman не очень, кажется, понравился (ни она ему). Узнав же, что я венчалась без белого платья, без флердоранжа, и что после венчанья не было традиционного молебна, она пришла почти в гнев. Другим она не интересовалась, и проводила нас почти сухо, заметив еще, что как мы ни торопимся, а на немецком кладбище, на могиле отца моего, нам побывать бы следовало...

Мы, однако, в тот же вечер уехали с почтовым поездом в Петербург.

3.

ПЕРВЫЙ ПЕТЕРБУРГ.

Приехав утром, Д. С. не повез меня сразу в нашу квартиру, хотя она была готова до последних мелочей и я ее, по рассказам Дм. С., уже хорошо знала. Устроена она была, конечно, с участием матери Д. С-ча, ею была нанята и прислуга. Но Д. С. не хотел показывать мне эту квартиру в мутное петербургское утро, кроме того днем он хотел поехать на Знаменскую к матери. Поэтому мы взяли номер в Северной Гостинице, против Николаевского вокзала. Там я до вечера могла отдохнуть после дороги. Но в 18-19 лет — нужен ли долгий отдых? Не очень был он нужен и 23-х летнему Мережковскому. И он уехал, придумав, чтобы я пошла в Гостиный Двор, к Вольфу, купила там ему уже не помню какую книгу. Приблизительно рассказал мне как туда пройти. Да и не трудно, все прямо.

Конечно, я не помнила Петербурга. В первый раз мы жили там, когда мне было всего 4 года, мне помнятся только кареты, в которых мы ездили, да памятник Крылова в Летнем Саду, куда меня водила няня Даша и где играло много детей. Впрочем, еще Сестрорецк, лес, море и белые снежинки, падавшие на мое белое пальто (в мае). Второй раз — мне было уже 8 лет, или около, это помнится лучше, но как-то скучно: и гувернантка, которой я помыкала, и мокрая Гатчина, и малярия, которая тогда на меня напала. И болезнь отца (он тогда то и должен был перемениться местами с председателем в Нежине. В. СПБ. он был тогда товарищем обер прокурора Сената).

Теперь, после долгого юга, петербургский зимний день мне казался сумерками. Но не скучными, новый город интересовал меня. Я надела свою серую шубу на белом меху и отправилась искать Вольфа,

которого благополучно и нашла. Невский мало поразил меня, — ведь Головинский проспект в Тифлисе еще шире. Уже смеркалось совсем, когда я вернулась в гостиниу, Д. С. был уже там. Мы пообедали, и тогда, наконец, поехали «домой». Единственно, чем Д. С. был не совсем доволен в нашей первой квартире, это ее местоположением: это был очень недурной, не старый, дом на Верейской улице, № 12, в третьем (по русски) этаже. (В пятый Д. С. особенно не желал меня поселять). Эта Верейская улица — почти переулок — была, действительно, далеко и от центра, и от Знаменской: она выходила на Звенигородский пр., налево, если ехать от Невского, и ехать надо было, на тогдашних извозчиках, весьма долго.

Квартирка была очень мила. Ведь так приятно всегда вдруг очутиться среди всего нового, чистого и блестящего. Очень узенькая моя спальня, из которой выход только в мой кабинет побольше, (или салон), потом, на другую сторону, столовая, по коридору — комната Д. С. и все. Ванны не было, но она была устроена на кухне, за занавеской. Мне понравились цельные стекла в широких окнах. У меня были ковры и турецкий диван. Помню лампу на письменном столе (керосиновую, конечно, как везде) — лампу ввиде совы с желтыми глазами.

Было тепло, уютно, потрескивали в каждой комнате печки. Марфа отворила нам дверь (она была солидная, и я ее сразу стала немного бояться), подала самовар. И тут все новое, незнакомое, — приятное. И я принялась разливать чай...

Д. С. был очень горд своим устройством (воображаю как бы он справился без матери), и доволен, что все это мне нравится. Ведь он даже добыл откуда-то рояль (он знал, что я привыкла играть) — должно быть мать отдала свой. Он был не новый, но хороший, длинный.

На другой, кажется, день я поехала с Д. С. знакомиться с его семьей.

«Генерал» — Сергей Иванович Мережковский (фамилия, как он же говорил, кажется, происходила от старого какого-то есаула Мережко, переделавшего ее на русский (*не* польский) лад), — был тогда маленький, сухенький старичок, с седой бородкой, — которую отпустил только выйдя, после смерти Александра II, в отставку. (По первому взгляду сам Д. С., в последние годы жизни его напоминал). Он был очень прям и что-то было в нем — как тогда показалось — такое... не умею определить, но ощущенье — «не подходи близко». Он встретил нас в передней и странно отрекомендовался мне: «я — отец вашего мужа». Что надо было сказать мне и сделать — я не знала, и, кажется, просто подала ему руку. Странно, что как я увиделась в первый раз с его матерью — я не помню. Помню ее хорошо в последующее время, и у нас, и у них (мы каждое воскресенье у них обедали), помню ее и в последнее перед ее смертью, воскресенье, в постели, — а в этот первый день — не помню.

Мы пошли в столовую пить чай. Столовая довольно темная, длинный стол. Тогда в семье жили два брата: Сергей, оставленный при Медицинской Академии, бактериолог, и Николай — чиновник особых поручений — не знаю при ком. Тут я с ними познакомилась. С Николаем мы никогда близко не сходились, а Сергей потом часто бывал у нас, и несколько раз даже проводил лето у нас, с моей семьей вместе. (Женат он не был никогда (как и Николай), и умер уже после большевиков, после долгой болезни, когда нас в СПБ не было. Николай умер позже, где-то в Болгарии).

О чем мы тогда говорили — я совершенно не помню. Я, должно быть, молчала, только во все глаза глядела на этих новых «родственников», (которых таковыми не признавала, как и они, видимо, меня). Затем мы уехали. Д. С. прощался с «папашей» традиционно-поцелуем (едва-едва) в щеку: «adieu, папочка».

И началась наша новая жизнь в Петербурге, особенно новая для меня, все с новыми и новыми лицами, в новом кругу интересов. И все менялось с удивительной быстротой.

Прежде, чем я буду продолжать рассказ о первых месяцах нашей совместной жизни, я сделаю небольшое отступление.

Д. С. Мережковский — писатель религиозный, как всем известно. Что таким был в течение нескольких последних десятилетий своей жизни — слишком ясно, но был ли он религиозен с юности — это вопрос. И во всяком случае — как он таким сделался, где истоки этого, каким шел путем? Вот это я хочу немного определить, коснуться этого, — иль этих начал, — прежде, чем мне придется определять самую его религиозность и его тут идеи.

Мы с Д. С. так же разнились по натуре, как различны были наши биографии до начала нашей совместной жизни. Ничего не было более различного, и внешне и внутренне, как детство и первая юность его — и мои. Правда, была и схожесть, единственная — но важная: отношение к матери. Хотя даже тут полной одинаковости не было.

Очень часто религиозные люди выходят из религиозной семьи. Я совершенно не знаю, какова была мать Д. С. в этом отношении (слишком мало времени я ее знала), но несомненно, что в детстве никакая ни религиозная, ни даже клерикальная атмосфера (а это ведь громадная разница) маленького Митю не окружала. Какая то мистическая точка, однако, была, в отце (его превращение после смерти жены в ярого спирита-теософа), но ранее он был, вероятно, просто чиновник. Дмитрий, с постоянным отсутствием матери, оставленный на руках бонны Амалии Христиановны, вместе с кучей старших и далеких братьев. Затем — гимназия. Можно себе представить гимназическую атмосферу. Университет (историко-филол. факультет) — другие, подобные товарищи... Все, что

он мог иметь в душе во все это время — он имел, вероятно, от себя же — никак не извне.

Чтобы оттенить разницу — скажу, что мое детство было несколько иное. Нельзя сказать, что наша семья была религиозная. Моя мать — была верующая, я иногда видела ее вечером на молитве; но об этой вере она никогда не говорила, и совсем была не клерикалка: бывала в церкви только по понедельникам (день смерти отца) и то не у обедни, а после нее, когда в церкви уже никого не было. Но... у меня была бабушка, — не grand'maman, эта, жена лютеранина (сколько раз она мне рассказывала, что два раза венчалась, в церкви и в кирхе) совсем, кажется, в церкви не бывала; нет, другая бабушка, сибирячка, с темной старой иконой в углу, с зеленой перед ней лампадкой, с чулком в руках и с рассказами о Симеоне Столпнике и Николае Чудотворце. Бабушка, которой я, когда выучилась читать, читала Жития Святых, а когда маленькая сестра моя умирала — говорила мне, шестилетней: «помолись за нее, детская молитва доходчива». Я молилась — сестра выжила, а я уже с тех пор уверилась, что если помолиться — хоть о хорошей погоде, — непременно будет. Вот только — не всегда успеешь...

Тут же связалась у меня, однако, и первая смерть в нашем доме — чахоточной тети Маши, — вообще смерть тогда на всю жизнь завладела моей душой.

Глядя на нас с Д. С., — более извне, конечно, — трудно было бы сказать что у меня фон души (если можно так выразиться) — темнее, у него — светлее. А это было именно так. И с годами даже подчеркнулось, хотя другим он, с годами, казался подчас, даже угрюмым, а я жизнерадостной. Но это, кстати, вернемся к Дмитрию в 23 года.

Живой интерес ко всем религиям, к буддизму, пантеизму, к их истории, ко всем церквам, христианским и не христианским равно. Полное равнодушие ко всякой обрядности (отсутствие известных традиций в семье сказалось). Когда я в первую нашу Пас-

ху захотела итти к заутрени, он удивился: «Зачем? Интереснее поездить по городу, в эту ночь он красив». В следующие годы мы, однако, у заутрени неизменно бывали. Но, конечно, не моя детская, условная и слабая вера могла на него как-нибудь повлиять. Его, в этот же год молодости, ждало испытанье, которое не сразу, но медленно и верно повлекло на путь, который и стал путем всей его деятельности. Замечу здесь еще одно, и коренное, различие наших натур. Говорю о своей — чтобы лучше оттенить его. У него — медленный и постоянный рост, в одном и том же направлении, но смена как бы фаз; изменение (без измены). У меня — остается раз данное, все равно какое, но то же. Бутон может распуститься, но это тот же самый цветок, к нему ничего нового не прибавляется. Росту предела или ограничения мы не можем видеть, (кроме смерти, если дело идет о человеке). А распускающемуся цветку этот предел виден, знаем заранее. Раскрытие цветка может итти быстрее, чем сменяются фазы растущего стебля (или дерева). Но по существу все остается то же.

Однако, оттого и случалось мне как бы опережать какую-нибудь идею Д. С-ча. Я ее высказывала раньше, чем она же должна была ему встретиться на его пути. В большинстве случаев, он ее тотчас же подхватывал (так как она, в сущности, была его же) и у него она уже делалась сразу махровее, принимала как бы тело, а моя роль вот этим высказыванием ограничивалась, я тогда следовала за ним.

Потому что — это необходимо прибавить — разница наших натур была не такого рода, при каком они друг друга уничтожают, а, напротив, могут, и находят, между собою известную гармонию. Мы оба это знали, но не любили разбираться во взаимной психологии.

Иногда случалось, что первая идея принадлежала ему. Если я ее не понимала и была несогласна, я редко следовала за ней, пока не убеждалась в ее пра-

воте. Так же и он, и тогда происходили между нами ссоры, мало похожие на обычно-супружеские. Моя беда была в том, что я, особенно в молодости, не умела найти нужные аргументы, чтобы доказать неправильность его идеи в том или другом его произведении, и оказывалась побитой. Я не понимала, например, что идея «двойственности», которую он развивал в романе «Леонардо» («небо внизу — небо вверху»), необходимая фаза его роста: идея казалась мне фальшивой и я (слишком для него рано) принялась ему это доказывать. Конечно, не сумела, и кончилась эта наша «сцена» для меня, вообще никогда не плачущей — слезами. А уж это — какое же доказательство. Через годы он доказательства нашел сам, и такие блестящие, до каких я бы и впоследствии, вероятно, не додумалась.

Его лекция во Флоренции в 33-м году, в Palazzo Vecchio, все ее начало, — это, как раз, обвинительная речь против идеи романа «Леонардо да Винчи», романа, кажется, самого популярного, из им написанных.

Но пора вернуться к последовательному «рассказу», к началу нашей совместной жизни, к молодому 23-х летнему Мережковскому.

У него не было ни одного «друга». Вот как бывает у многих, нашедших себе друга в университете, сохраняющих отношения и после. Иногда — реже — сохраняется даже гимназическая дружба. Но у Д. С. никакого «друга» никогда не было. Множество дружеских отношений и знакомств, но я говорю не об этом. Он, в сущности, был совершенно одинок, и вся сила любви его сосредоточилась, с детства, в одной точке: мать. В «Старинных Октавах» он сам рассказывает об этом лучше, чем я могу это сделать. Он и со мной мало говорил о своей любви к матери, — очень редко, — так целомудренно хранил эту любовь в душе до последнего дня.

Я видела их вместе, когда она, первые месяцы, приезжала к нам, привозила в наше новое (и скудное) хозяйство что-нибудь из своего, украдкой, конечно: пару рябчиков, домашние пирожки... мало ли что. Всегда закутанная в салопе. У нее было измученное лицо, но очень нежное. Черные, гладкие волосы на прямой пробор. Почти не было седины, да ведь она не была и стара. Болезненная желтизна лица, обострившиеся черты, — а была она, видно, очень красива. Ее большой овальный портрет, висевший в кабинете отца и потом завещанный сыну Дмитрию — на нем она молодая и красивая очень. Этот портрет висел у нас до нашего бегства, конечно — пропал, как все у большевиков.

Я помню ее в моем салончике-кабинете, на турецком диване, и Дмитрия около нее, прислонившись головой к ее коленям. Она его, как ребенка, гладила по голове: «Волоски-то густые...» Она мне нравилась, но я чувствовала, что я ей, пока что, — чужая.

По рассказам Д. еще на Кавказе, я знала уже почти всех его наиболее близких знакомых. Не мало говорил он мне про Минского: «Он в тебя непременно влюбится, вот увидишь. Его прозвали «Вилочкой», потому, что его фамилия Виленкин, а Минский — псевдоним». Особенно много рассказывал о баронессѣ В. И. Икскуль, в которую и он сам, да и Минский, да и все окружающие были влюблены. Это была совершенная правда, я ее и на себе испытала. Мгновенно влюбилась в эту очаровательную женщину, с первого свиданья, да иначе и быть не могло. Кроме баронессы, у Д. была дружественная семья музыканта Давыдова, с которой он, еще студентом, ездил в Париж и в Швейцарию. Сам Давыдов только что умер, вдова его Александра Аркадьевна, женщина довольно примечательная, (впоследствии редактор и создатель журнала «Мир Божий», скоро переименованный в «Современный Мир»), еще не успела в то время переменить громадную свою квартиру на более скромную. У нее была дочь Лида (вышедшая потом

замуж за М. И. Туган-Барановского, но скоро умершая) — ее одно время Ал. Ар. прочила, кажется, за Мережковского. Но Лида была очень некрасивая. Был еще сын Кока, но этот никакой роли не играл и скоро куда-то далеко уехал, где и умер от болезни спинного мозга, молодым. И была девочка — приемыш — Муся, хорошенькая, первая — несчастная — жена Куприна. После она вышла замуж за какого-то известного эс-дека, про-большевика, с которым не была, кажется, более счастлива. В то время ей было лет 10, я играла с ней нередко в большой пустынной зале Давыдовской квартиры, поджидая заветного звона браслетов — через залу проходила, к Ал. Аркадьевне, моя любимая — баронесса.

Конечно, Дм. повез меня и в редакцию «Северного Вестника». Его редактировала тогда Анна Михайловна Евреинова, а издавала — Сабашникова (не знаю, какая, ее никогда в редакции не было). Анна же Михайловна была любопытный тип. Нерасстанная с любимой своей мопсихой, седые волосы подстрижены, старая малиновая бархатная кофта на плечах, и непрерывное пребыванье «в трех волненьях». При ней жила и не то секретарша ее, не то dame de compagnie — Марья Дмитриевна, остроносая и всегда спокойная fine mouche, как ее звал старик Плещеев. Он заведывал исключительно литературным отделом, а главный покровитель и «царь и бог» в журнале был Н. Михайловский. Близкий приятель А. А. Давыдовой и самый, в то время, знаменитый «либерал» (шестидесятник, конечно). С Анной Михайловной он был в частых конфликтах, суть которых для меня была глубоко темна. В момент одного их них я, тогда, в редакцию в первый раз и попала. Анна Мих. была в отчаянии, — кажется, Михайловский какую-то свою статью отдал в другое место, притом намеренно и демонстративно. К Дм. Серг. Михайловский относился крайне недоброжелательно, статью о Чехове едва пропустил, а другие все время браковал. Теперь мне это понятно: взялся

какой-то Мережковский, вчерашний студент, без преклоненья перед ним и без традиционного «либерализма». (Я видела Ми-ского только раз, у Давыдовой, он сидел в кресле, окруженный венком сидящих около него — на ковре — молоденьких курсисток).

В редакции я познакомилась и с Плещеевым (о нашей последующей дружбе я уже писала в моей книге «Живые лица») и с Мар. Вал. Ватсон, верной, на всю жизнь, поклонницей Надсона, и со многими другими людьми, о которых ничего не помню. Видела там однажды и вдову несчастного Гаршина.

Дм. С. был в приятельских отношениях с кн. Александром Ив. Урусовым, известным адвокатом (лишь недавно переехавшим тогда в Москву) и с его другом, поэтом и адвокатом петербургским — С. Арк. Андреевским.

Их обоих Дм. С. приглашал вечером к нам. Они мне показались очень разными, но оба приятными. Урусов удивлялся моей молодости, оба они были очень милы. Андреевский сделался даже, потом, моей «подругой», — единственной зато настоящей, и постоянно у нас бывал (до его смерти, уже при большевиках).

Куда только ни возил меня Д. С., кого только ни показывал! Очень было интересно, только очень уж много разнообразных кругов. Особенно пришелся мне тогда по душе кружок проф. Ореста Миллера. И сам он был удивительно приятный, и бывавшие у него студенты. Они напоминали мне недавний кружок моих гимназистов, и я там чувствовала себя хорошо, да и Дм. тоже. Напротив, у Семевского — все мне было чуждо: и стриженые (все еще!) курсистки, и их песни и вообще какой-то... книжный воздух. В том смысле, что мне вспоминались старые романы вроде Чернышевского «Что делать» и всякое старое «студенчество».

Но я, конечно, ни в чем еще разобраться не могла, а Д. С. не особенно старался мне все это разъяснять. Приходилось самой присматриваться. Но

мне казалось, что Д. С., хотя всюду был вхож, но среди 60-десятников тоже чужой.

Орест Миллер скоро умер, и я теперь не могу себе объяснить, почему в его кружке было не то; может быть потому, что была там какая-то простота, прямая естественность.

Был еще журнал «Живописное Обозрение», где Д. С-ча хорошо принимал редактор, старый романист Михайлов-Шеллер. После «Сев. В.» и я там печатала первые свои стихи (через год и романы, о том как они писались — расскажу впоследствии).

Наше любимое путешествие было, конечно, к Аларчину мосту, где тогда находился особняк баронессы Икскуль.

Минский в эти месяца был у нас только раз: у баронессы нам говорили, что «Вилочка» едет в Сан-Ремо. Он всегда — в Сан-Ремо.

Бывали мы, конечно, на всех литературных вечерах: особенно помнятся мне вечера Литературного Фонда. На одном из них читал Майков, сухой и красивый старик, но совсем «из другой оперы», чем Плещеев, с которым я сразу сдружилась.

Так прошел январь, февраль, наступили мартовские светлые дни, с не зимней, не сырой оттепелью.

У Д. С. была неизменная привычка (как у его отца) гулять каждый день утром (перед завтраком, после работы, а работать каждый день с утра, это тоже было неизменно) — потом среди дня и вечером. Если мы никуда не ехали вместе, то дни его так регулярно и проходили. Это осталось у него (и у отца его) на всю жизнь. Только самое последнее время, последний год, когда Д. С. был уже слаб, он выходил только раз в ден, и со мною. Тогда же, и потом, он «гулял» один, а я, днем, выходила тоже одна. Но утреннюю работу он не покидал н и к о г д а, вплоть до дня своей смерти. Даже в путешествиях, если мы где-нибудь оставались на более долгое время.

Мы регулярно ездили по воскресеньям обедать на Знаменскую, — последний месяц мать Д. С. уже

не приезжала к нам, а иногда не было ее и за столом, она лежала. 19 марта, в воскресенье, мы обедали там, как всегда, С. И. сказал, что «голубушка» (так он звал жену) плохо себя чувствует, но просит все-таки зайти к ней. Я хорошо помню ее спальню и ее, на постели, укрытую множеством одеял, она дрожала в лихорадке, — у нее вероятно был сильный жар. Но никакого особенного беспокойства Сергей Иванович не высказывал, должно быть эти припадки бывали у нее и раньше. Дмитрий, который бывал у нее и на неделе, тоже привык, вероятно, к ее положению. Он целовал ее, наклоняясь над постелью, она что-то ему говорила, но мы посидели недолго, скоро уехали.

На другой день утром, довольно рано, Д. С. вошел ко мне в спальню и показал записку отца: «приезжай немедленно».

Мы, кажется, не сказали друг другу ни слова, он уехал, я осталась. Прошло целое утро.

Не помню, в котором часу возвратился Д. С. Он, из передней, прошел прямо в мой кабинет, сел у окна на кресло — и зарыдал: «Она умерла!»

Он никогда мне не рассказывал, а я не расспрашивала, как, когда это случилось, застал ли он ее в живых, или нет. Об этом нельзя, не надо было с ним говорить, так чувствовалось. Да он мертвой ее никогда не ощущал, и все последующее, сбор семьи, панихиды, похороны, отпевания, — все это было ему чуждо, это была не «она». Отец снял фотографию ее в гробу. Д. С., которому отец дал эту фотографию, не любил и смотреть на нее. Она лежала там в чепчике, которого никогда при жизни не носила, и он говорил, что не узнает ее.

В этот понедельник, я помню, мы вышли вместе, но пошли не на Знаменскую, а долго-долго ходили по набережной Невы, мартовский день был погожий,

светлый. На Знаменскую мы пошли вместе только во вторник, в этот же день вовсе не расставались, и даже ночью я спала не в своей спальне, а в его комнате, на кушетке на которой он отдыхал.

Мой отец тоже умер в понедельник утром. А я его так любила, что иногда, глядя на его высокую фигуру, на него в короткой лисьей шубке, прислонившегося спиной к печке, думала:

«А вдруг он умрет? Тогда я тоже умру». Но, ведь, мне тогда было 10 лет...

Вспоминая потом часто о смерти матери Д. С-ча — странная мысль о какой-то, уже нездешней о нем заботе приходила ко мне: как бы он это пережил, вдруг оставшись совершенно один т. е., если бы, благодаря фантастическому сцеплению случайностей, не встретил ни меня, ни кого другого, кого мог бы любить и кто любил бы его. Я не могла заменить ему матери (никто не может, мать у каждого только одна), но все же он не остался один.

Это очень важно. Когда, через 23 года, умерла моя мать... Но, впрочем об этом после.

Я не могу, конечно, продолжать с теми же подробностями описывать всю нашу совместную жизнь. Это были бы мои собственные, многотомные мемуары, а не книга о нем. Мне придется много пропускать, стараясь лишь отметить более важные этапы. Пока — продолжаю рассказ.

Сбор семьи на Знаменской по случаю кончины матери был все-таки не полный: отсутствовали старший брат Константин (он — был человек довольно замечательный, я расскажу, что знаю о нем, впоследствии), старшая сестра Надежда, жившая где-то далеко, замужем за Защуком, да, кажется, и братья Владимир и Александр, оба женатые, но не жившие в СПБ-ге.

Любили ли все эти дети мать так, как ее любил

Дмитрий? Не думаю. Но все-таки любили, она была всем верная заступница перед отцом, далеким и непреклонным. А он ее действительно любил, по своему, но беспредельно. Пережил ее на много лет, он умер в 1908 году, когда мы жили в Париже, и тоже в марте, но не забывал никогда. Похоронен он рядом с ней, по своему завещанию, в Ново Девичьем монастыре (там же, в 1903 г. похоронена и моя мать).

Наша жизнь, после этого события, очень, конечно, сузилась. Мы, естественно, стали меньше видеть людей, что-то в корне изменилось в Дм. Сер., хотя перемена, извне, для других, не была заметна. Я очень обрадовалась, когда оказалось, что весной, в апреле, мы можем уехать из СПБ-га — и, конечно, в Крым, любимое место Д. С. Кстати, у меня имелась надежда увидеть мою мать раньше лета, т. к. моя семья должна была в мае переезжать в Москву, морским путем, и я надеялась увидеть ее на ялтинском пароходе.

Квартиру на Верейской мы решили оставить, найти другую, а эту пока брал отец, Сергей Ив., дочь Елизавета, кончив институт, должна была переехать к нему, и тут же проэктировалась и ее свадьба.

Квартиру для будущей зимы мы скоро нашли, в том громадном доме на углу Литейного и Пантелеймонской, известном как «дом Мурузи». Квартира была на 5 этаже, но просторнее Верейской. В этом доме мы потом, в разных квартирах, жили много лет. Предстояло нам, по пути на юг, нанять около Москвы и дачу на лето, где бы поместились мы — с моей семьей.

Так все и вышло. В конце апреля мы покинули Петербург. Дачу (довольно скверную, но какая была весна) мы нашли около станции Поворово, очень близко от Москвы, по Николаевской дороге, и через несколько дней уже были в Алупке.

Дмитрий, в этих любимых местах, немножко прояснился. Особые, крымские запахи, лаврами и розами, обоим нам знакомые, особенно ему милые... Он показывал мне Алупкинский дворец, где мальчиком, целовал руку современнице Пушкина. Тихие руины Ореанды, и там, на высоте, белая колоннада, и сохранившаяся надпись на одной из колонн (почему то прелестная):

«Здесь луной и морем любовалась
Герцогиня Белая Сирень...»

Трудно было нам, среди всего этого, да и по молодости лет, думать о смерти. Но мы думали, только как-то светло, о светлой, а не темной смерти.

У меня была еще своя радость, близкого свиданья с матерью.

Но это свиданье не состоялось. Мы точно приехали в Ялту, когда должен был прибыть пароход. И сейчас же на него отправились. Но... там оказалась только одна «тетя Оля» (сестра дядиной жены Веры, баронесса Энгельгардт). Оказывается, море, с самого Батума, было такое бурное, что все мои были больны, и мама решила сойти в Новороссийске, вместо Севастополя, откуда они все прямо проехали в Москву. (Дядина семья переселилась из Тифлиса в СПБ. только через год).

Наше путешествие едва начиналось, и в Москву нам не было смысла ехать. Мы решили прямо приехать на дачу, когда уж там будут все, а пока... Дм. предложил мне поехать в Боржом. Туда из Крыма мы и отправились.

Почему-то, во Владикавказе, мы очень ссорились. Мне хотелось поехать, кстати, и на воды, в Кисловодск (Лермонтов, княжна Мэри...), но Д. не хотел. Я уступила, и вот летняя В. Грузинская дорога, такая на первую непохожая! С потоками, водопадами, иначе красивая...

В Тифлисе была такая неистовая жара, что мы оттуда прямо бежали.

Этот наш второй Боржом — как бы пелеринаж — не очень мне и помнится: должно быть я была уже другая, да и он другой. Я стремилась, кроме того, к матери. Пробыли мы там недолго и, на этот раз морем, вернулись «в Россию» (как говорят кавказцы).

Под Москвой была еще нежная весна, еще не лето. И, хотя природа в Поворове красотой не отличалась, — провели мы там лето очень недурно. Дм. много гулял, и даже с моей собачкой. Об этой собачке надо сказать два слова.

Как-то очень скоро после нашего приезда в СПБ, еще зимой, Дм. вдруг вернулся с прогулки неожиданно, и закричал из передней: «Зина, мопс!» Я выбежала и увидела крошечного, черно-серого щенка, на руках продавца. Заплатили мы за него 3 рубля, и эта собачка - Буленька оказалась нашим товарищем потом лет десять. Она была очень породистая, злая, и решительно никого не признавала, кроме Д. и меня. Нас она зато обожала, не позволяя никому к нам и близко подойти. Мы, я и Д., тоже ее любили. Возвращаясь из какого-нибудь путешествия на дачу — я ее немедленно выписывала. Вот с ней-то Дм. и гулял по лесам и болотам Поворова, если не ходила и я.

Мама уже нашла в Москве маленькую квартирку, не на Остоженке, а где-то далеко, — поблизости к частной гимназии, куда поступила моя сестра Анна, старшая из трех.

Мы же осенью вернулись в СПБ, тоже на новую квартиру, в доме Мурузи.

Новая зима... Усиленная дружба с А. Н. Плещеевым, который приходил к нам обедать, приносил мне всякие редакционные стихи для забавы. Дружба

с поэтом-адвокатом Андреевским, знакомство с Льдовым, частые визиты Минского (я его не особенно любила). Дм. С. писал в это время длинную свою поэму «Сергей Забелин», и почему-то пользовался, для нее, моими письмами. Или хотел пользоваться. «Но ведь не похоже на нашу историю», уверяла я. «И твоя девица — вовсе не я. Все по другому». Писал он, в это же время, и отдельные стихи. Я печатала кое-какие старые, новых пока что не хотелось еще писать.

Каждый понедельник Д. С. отправлялся в «Литературное Общество». Председателем его был Исаков, ни малейшего отношения к литературе не имевший. Д. познакомил меня с Фофановым (тогдашняя знаменитость), мы даже были раз у него — где-то на чердаке. Он ютился с кучей детей и женой — самой простецкой. Он был, конечно, пьян, — из этого состоянья он и не выходил — подобно Бальмонту, который появился лишь в следующую зиму у нас, и даже трезвый. На Рождество, как правило, — мы в Москву.

Следующее лето мы опять провели под Москвой, но уже в лучших условиях и лучшей природе: в Дубровицах (где когда-то жили Вл. Соловьев и многие другие известные москвичи).

В это лето надо отметить вот что: Дм. С. пришел ко мне и объявил, что наше условие нарушается. Какое? А такое, что я буду писать только прозу, но не стихи. А он — стихи. Из моей прозы пока ничего не выходило. Д. С. советовал мне попробовать переводы, но тут уже меня с самого начала ждал провал: к переводам я оказалась абсолютно неспособна. (Первая и единственная попытка — «Манфред», — не пошла дальше первых строк). Д. С., напротив, и любил, и умел переводить.

Но условие я соблюдала, стихи оставила, а прозе решила научиться. И вдруг Д. С. объявляет, что он намерен заняться прозой! Да, он уже начал ро-

ман. Какой? Оказывается — исторический, об Юлиане-Отступнике.

Мы тогда страшно поспорили, но потом помирились на свободе: пусть каждый пишет, как хочет и что хочет. И стихами, и прозой...

Мне, однако, пришлось — именно пришлось — приняться за прозу очень скоро, и раньше, чем я могла ей научиться. Но к этому я приду.

Лето в Дубровицах мне памятно по моей болезни. У меня внезапно сделалась такая головная боль, что я несколько дней ничего не слышала, кроме моего же крика, и ничего не понимала. Вызванный из Москвы доктор (тот же, который до Крыма лечил меня от туберкулеза) определил воспаление мозга и сказал, что надежды нет. Мама только перекрестилась, а Д. С., кажется, не поверил, хотя совершенно потерял голову.

Однако, я так же внезапно, вдруг, выздоровела. Не совсем, хотя сама сочла себя здоровой и вести себя стала соответственно, даже более деятельно, чем обычно. Вероятно, это был возвратный тиф, потому что я после этого «здорового» периода, по возвращении с дачи в Москву, уже не могла ехать в Петербург, а слегла в маминой квартире, в настоящем брюшном тифу, с очень высокой температурой. Можно себе представить, как это было удобно в крошечной квартире, где нам с Д. С. очистили единственную свободную комнату, а в остальных ютились все семеро — остальная семья.

Болезнь моя продолжалась больше двух месяцев. И то в СПБ меня привезли еще нездоровую, там меня ждали и рецидивы...

Совершенно поправилась я только к Рождеству, мы уж в Москву не поехали, — мама приехала к нам.

А что же «Юлиан Отступник?»

В Москве, когда я очень была больна, Д. С. его не продолжал, но зато потом принялся за него вплотную. Это не значит, что он писал его день и ночь. Нет, утренних часов работы он не менял, и

днем уже к нему не прикасался. (Писать вечером, да еще поздно, — он не мог никогда). Но, занятый какой-нибудь серьезной, большой работой, он только ею и занимался, и вне писанья, днем, читал почти всегда то, что ее касалось.

А что же отец, семья Д. С. на Знаменской? Семьи больше не существовало. Ни квартиры на Знаменской, ни бывшей нашей, на Верейской. Отец взял себе другую, и тоже большую, квартиру на углу Пушкинской и Невского, на пятом этаже, — для себя одного. Выдав тогда очередную дочь замуж (помещик Миллер сейчас же и увез ее к себе, в Западный край) определив младшую, Веру, в институт — он уехал заграницу, один, никому не оставив и адреса. Так он, после смерти жены, делал потом все годы. На зиму возвращался, но не на долго. Брат Сергей переехал на Выборгскую, ближе к лаборатории, Николай тоже куда-то... Отец видел в СПБ только нас (из своих). По воскресеньям то он у нас обедал, то мы у него. Он усиленно погрузился в спиритизм. Издавал романы каких-то двух старых дев (Крыжановских), которым диктовал их дух — Ротчестер. И являлся он только им.

Спириты его обманывали, и грубо: я простым глазом видела булавки, которыми была сколота кисея, облекавшая (на фотографии, кот. он приносил) — являвшегося «духа». Приносил и письма, которые будто бы, писала ему «голубушка», своим же, будто-бы почерком; но почерк был, как говорил Дм., не похож; мы, конечно, старика не разубеждали, это было все его единственное утешение; но не странно ли, что этот твердый, «реальный» человек — верил всему этому так искренно. Пожалуй, нет, не странно: ему нечем было бы без этого жить, а умершая жена была его единственной любовью.

Возвращаясь к нам, я замечаю, что хронологически делаю ошибку: опыт моей «прозы» уже был сделан раньше, чем Д. С. начал писать Юлиана, а уже тогда, когда он его задумал и к нему подготов-

лялся. В зиму до моей болезни, я написала коротенький рассказ, историю нашей новой горничной Паши, под заглавием «Простая Жизнь» и Д. С. послал ее в «Вестник Европы», под неизвестным никому именем З. Гиппиус. Д. С. знал Стасюлевича, тогдашнего редактора этого старого журнала, но журнал этот к нему не благоволил, ни тогда, ни после, когда Стасюлевич отверг и его «Юлиана», а потом и «Леонардо». Журнал считался строгим и со строжайшими «либеральными» традициями. И с традициями всякими вообще. Ни малейшего намека на «религию» там не допускалось. Исключение делалось только для Владимира Соловьева. Раз признанные беллетристы печатались там из года в год, как Боборыкин, например, или Ольга Шапир, — теперь всеми забытые. Рекомендация Д. С-ча ничего не стоила, да он мой рассказ и не рекомендовал, просто послал. Но он был написан с величайшей простотой, так, как тогда не писали, а тема могла показаться и «либеральной». Редактор ответил, что рассказ может пойти, но там есть места «смелые» (все-таки! вот уж ничего «смелого» там не было!) и автор должен сделать изменения, выпуски, для которых он приглашается в редакцию. Я «страшной» редакции не испугалась и туда отправилась. Но, кажется, испугалась редакция, увидев автора «смелого» рассказа ввиде полудевочки с косой за плечами и с совершенным непониманием, зачем надо выпускать невинные места. Чинные седовласые старики были, я думаю, шокированы моим появлением, по крайней мере долго не могли его забыть. «Места» они, конечно, выпустили, но, кроме того, не сказав даже мне о том, переменили мою «Простую жизнь» на... «Злосчастную», и, чтобы оправдать заглавие, прибавили в конце: «Ах, я злосчастная», что было и некстати, и не в тоне.

Но мне это было довольно безразлично, немножко смешно — и только. Через год я напечатала там еще два маленьких рассказа, или три — не помню. В общем, Стасюлевич и Пыпин, оба старца, помня

мое первое появление, были ко мне снисходительно-милостивы, но утвердиться я там, конечно, не могла, да и не хотела.

Пишу я об этом вот почему: наш более чем скромный бюджет пополнялся все-таки отдельными работами Д. С-ча в разных местах: в Сев. Вестнике, в Вест. Иностранной Литературы; были, кроме того, его поэмы... Когда же он принялся за «Юлиана» — все это кончилось, и наступила моя очередь; тут-то я и принялась, как умела, за свои романы: главным образом — у Шеллера Михайлова, в Жив. Обозрении, и у Гайдебурова («Наблюдатель»). Особенно мил был Шеллер, все мое принимавший и плативший недурной гонорар. Романов этих я не помню,— даже заглавий, кроме одного, называвшегося — «Мелкие волны». Что это были за «волны» — не имею никакого понятия, и за них не отвечаю. Но мы оба радовались необходимому пополненью нашего «бюджета»; и необходимая Д. С-чу свобода для «Юлиана» этим достигалась.

Но вот — весной 1891 г. — наша первая поездка заграницу, — в Италию, конечно. Смешно сказать, с какими капиталами мы пустились в путь! Мне самой не верится! У нас было скоплено на это — 400 рублей. По тогдашнему курсу — около 1200 франков. Но это нас не смутило, все ведь так дешево.

Через Варшаву (где у меня сделалась ангина, но и на это мы не обратили вниманья) мы — в Вене, а через несколько дней — в Венеции. О нашей встрече в Венеции с Сувориным и Чеховым я уже писала подробно, и новым рассказом не буду здесь отвлекаться. С Сувориным, этим пугалом «интеллигенции» нашей (подумать Редактор антилиберального «Нового Времени»), я в Венеции сдружилась, он мне показался любопытным. В нем сидел русский народный «нигилизм». Народный и природный « Ame slave » в самом скверном проявлении (по существу), но соединенная в нем и с природной талантливостью, а также с чуткостью к талантам. Он угадал и любил

Чехова, он же понял и вывел на свет Божий почти гениального, Европе неизвестного и непереводимого писателя — Розанова. Его теперь и в России, конечно, забыли... Вспомнят.

Д. С. уже сделал, в глазах тогдашней русской интеллигенции, ужасную gaffe : он издал у Суворина вторую книгу своих стихов, под названием «Символы» (с эпиграфом из Гете). Как можно пользоваться нововременским издательством. Он (Д. С.) собирался издать там, однако, и еще одну книгу, сборник статей. По этому поводу Плещеев (мы с ним были в переписке) написал мне еще до нашего путешествия в Италию: «Убедите Д. С-ча не издавать эту книгу у Суворина. Я, м. б., сам ее издам. Вы удивлены? (А мы зная, как ограничены средства Плещеева, как он живет с семьей, действительно были удивлены). Он прибавлял: «Я, может быть, скоро буду богат, и очень. Это совершенно, однако факт». Вскоре мы узнали, что Плещеев, действительно, получил громадное наследство и уехал заграницу.

Суворин с Чеховым путешествовали очень быстро, Д. С-чу это было несвойственно, и они, кажется, уже вернулись в Россию, когда мы едва доехали до Рима. Ведь раньше была Болонья! Была Флоренция!

Из Рима мы спустились в Неаполь, оттуда на Капри. Рубли наши, однако, иссякали, пора было и нам возвращаться. На дачу, на этот раз в деревне, в старое именье «Глубокое», 25 верст от Вышнего Волочка, где уже была и моя семья, и дядина — переехавшая из Тифлиса в СПБ.

Мы предприняли обратный путь. И вдруг, в Риме... Без того, что я писала выше о Плещееве, было бы непонятно случившееся в Риме. Я получила там письмо от Плещеева из Парижа. Он просил, дружески «молил» нас приехать к нему в Париж. Зная наши обстоятельства, дружески просил позволенья и прислать аванс — в тысячу рублей.

Таким образом мы пустились в Париж, я — в первый раз.

Об этом нашем Париже я опять здесь не пишу, как намеренно не описываю и первого нашего путешествия в Италию. Скажу только, что «Леонардо» уже тогда зародился, м. б., в душе Д. С-ча. И уже тогда он мне говорил, что чувствует Италию особенно ему родственной.

Когда «Юлиан Отступник» был кончен, — приюта ему не оказалось ни в одном русском журнале. Сев. Вест-ка давно не было в живых, куда девалась Евреинова — не знаю; исторический роман нового фасона других редакторов не привлекал. Однако, Майков начал устраивать у себя чтения этого романа, и он, и присутствовавшие на чтениях какие-то сановники, были от него в восторге. Но поэт Майков считался «реакционером», и его «восторг» мог только повредить выходу романа в свет.

Следующей весной у меня сделался очередной «бронхит», и мы опять уехали заграницу. Этих «бронхитов» было у меня порядочно, и тогда Д. С. действовал особенно энергично: с такой решимостью отправлялся к отцу и требовал денег на путешествие, что всегда, к моему изумлению, успевал; да и путешествовали мы тогда очень скромно. Во второй раз — мы поехали в Ниццу. Там был и милый мой друг А. Н. Плещеев, — здоровье не позволило ему на зиму вернуться в Россию. Но в Ницце Д. С-чу было скучно и когда я немножко поправилась — мы уехали опять в Италию, ненадолго: ухитрились оттуда вернуться в Россию самым приятным для Д. С-ча путем — морским: Корфу, Греция, Константинополь, — Одесса. В Афинах мы пробыли всего два дня; жара была такая страшная, какой я не знавала в июльском Тифлисе; но зато я еще не видела Д. С-ча таким счастливым, как в Парфеноне. Уцелевшие колонны не были в то время даже еще связаны проволокой, как позднее; Парфенон был тогда воистину прекрасен. Никакой жары мой спутник не замечал; не заметил бы ее, вероятно, еслиб она была втрое сильнее. Вообще это путешествие осталось для нас

памятным навсегда. И не только Грецией, — не меньшее впечатление произвела на Д. С. и св. София в Константинополе — другое, но тоже на всю жизнь.

Турция была тогда старая (мы видели потом и новую), Константинополь — еще с собаками, с пятницей (выезд султана и его жен), но св. София — была вечная.

В Константинополе нас ждала расплата за нашу смелость: приходилось менять пароход, а денег на билеты уже не было. И мы отправились в Одессу на угольном грузовике, а в Одессе телеграммой просили мою мать прислать нам минимальную сумму, чтобы доехать до Москвы и Вышнего Волочка — попасть в «Глубокое».

Но Д. С. не раскаивался, — да и что это за беда — в молодости! Он уже думал о новых работах — до следующего романа, который был для него еще в тумане, но был, и наверно.

Я думаю, однако, что уже с «Юлиана» у Д. С. был поворот к христианству, начало углубления в него, хотя в следующем романе, «Леонардо», поворот еще не казался явен. Ведь именно там проскальзывала «двойственность», — Армузд и Ариман, — с которой ему еще приходилось считаться. Но тут мне надо сказать несколько слов об общем облике Мережковского, писателя-человека.

Он был очень далек от типа русского писателя, наиболее часто встречающегося. Его отличие и от современников, и от писателей более старых, выражалось даже в мелочах: в его привычках, в регулярном укладе жизни и, главное, работы. Ко всякой задуманной работе он относился с серьезностью... я бы сказала — ученого. Он исследовал предмет, свою тему, со всей возможной широтой, и эрудиция его была довольно замечательна. Начиная с «Леонардо» — он стремился кроме книжного собирания источни-

ков, еще непременно быть там, где происходило действие, видеть и ощущать тот воздух и ту природу. Не всегда это удавалось: его мечта побывать в Галилее, перед работой об «Иисусе Неизвестном» и в Испании, когда он писал (это уже в последние годы жизни) «Терезу Авильскую» и «Иоанна Креста» — не осуществилась; но наше путешествие «по следам Франциска I» (которого сопровождал Леонардо), начавшееся с деревушки Винча, где родился Леонардо, и до Амбуаза, где он умер, — было первым такого рода; вторым — в глубину России, к раскольникам-старообрядцам, ко «Граду Китежу», — когда Д. С. собирался писать «Петра I»; третьим — почти двухлетнее следование за Данте, по другим городам и местам Италии (уже перед последней войной) перед его большим трудом о Данте. Повторяю, более всестороннего и тщательного исследования темы, будь то роман или не роман, — трудно было у кого-нибудь встретить. Германию и Францию он хорошо знал, а потому для своего «Лютера» и «Наполеона» особых путешествий совершать не стремился. Ведь во Франции мы провели, в общей сложности, 30 лет, — более трети его жизни. Прибавлю, что только обстоятельства, наша вечная бедность (да, бедность, это был русский — и. можно сказать, европейский писатель, проживший всю жизнь и ее кончивший — в крайней бедности) не позволили ему поехать в Египет, когда этого требовала работа, и на о. Крит, куда он особенно стремился. В работе о Египте ему помогла Германия, где ему, из специальной библиотеки, привозили на тачках (буквально) громадные фолианты. в которых он нуждался. Замечу, что работать он мог только дома, в своем скромном кабинете, и в Париже, например, в Национальную библиотеку не ходил.

Ему, конечно, много помогало прекрасное знание языков, древних, как и новых. Для меня удивительная черта в его характере — было полное от-

сутствие лени. Он, кажется, даже не понимал, что это такое.

Вот все это, вместе взятое, и отличало его от большинства русских писателей, заставляло многих из них звать его «европейцем». Гениальный самородок — писатель В. Розанов, русский из русских до «русопятства» (непереводимый термин), для которого писание — как он говорил — было просто и только «функцией», уверял даже, что, видя Мережковского на улице, когда он гуляет, каждый раз думает: вот идет «европеец». Да, т а к и м русским, как Розанов, сыном «свиньи-матушки» (как он называл Россию) — Мережковский не был; но что он был русский человек прежде всего и русский писатель прежде всего — это я могу и буду утверждать всегда; могу — потому что знаю как любил он Россию, — настоящую Россию, — до последнего вздоха своего, и как страдал за нее... Но он любил и мир, часть которого была его Россия..... .

Следующая зима, или, может быть, следующие зимы петербургские, мне помнятся, как литературное оживление. В близком нам кругу, по крайней мере. В Москву мы перестали ездить, так как мать моя с семьей переехала в Петербург. Возродился Сев. Вестник, но уже ничего общего с прежним не имевший. Редактором была теперь дочь профессора Гуревича, Л. Я. Гуревич, совместно с близким другом ее Акимом Львовичем Флексером, писавшим под псевдонимом Волынского. Его со мной познакомил Д. С. на каком-то литер. вечере давно, сказав мне после, что он занимается философией. Он у нас не бывал, и мы долго не имели связи с новым Сев. Вестником. Я в это время писала уже везде, бывала и в Литер. О-ве и даже в еще более закрытом «Шекспировском Кружке», членами которого состояли, или должны были состоять, только литературные критики; но большинство там были известные адво-

каты, как кн. Урусов, часто приезжавший из Москвы, Спасович и другие. Впрочем, был там и старый, ныне забытый, романист Боборыкин. Там Урусов, помню, сделал первый доклад о Нитше, тогда в России еще мало известном.

«Юлиан» Д. С-ча остался ненапечатанным, и Д. С., между приготовлением к новому роману, писал случайные статьи где придется. Как сейчас помню ненастный осенний вечер: мы только что получили грустную весть о кончине в Париже милого нашего старого друга — А. Н. Плещеева. Д. С-чу хотелось написать о нем; но... у него была спешная работа, ему заказана (значит, напечатают) статья для захудалого журнала «Вестн. Иностр. Литературы», о — китайцах. Пришлось писать о китайцах, да при манере Д. С-ча, перечитать раньше не мало книг, которые его довольно слабо интересовали.

После долгого перерыва, я в это время стала писать стихи, но уже совсем другого рода, с непринятым тогда ритмом и вольным размером. Первое такое стихотворение, с известной тогда заключительной строкой — «Хочу того, чего нет на свете» и ее повторением, — долго тогда ни один журнал не хотел печатать, а так как вскоре заговорили о «декадентстве», то и моя манера была признана «декадентской». Настоящее «декадентство» явилось позднее; явилось ли оно у нас под влиянием французского — не думаю; течение это было мелко, утрировано, и до настоящего возрождения литературы, находившейся тогда в большом упадке, было еще далеко. Как раз в это время Д. С. прочел публичную лекцию «О причинах упадка русской литературы». Эта статья его, довольно интересная, ни в одну книгу не вошла, и я не знаю куда она девалась*).

Что касается тогдашних французских новаторов, то их у нас мало знали; появившийся только что молодой Бальмонт был своеобразен, хотя внешне из

*) Напечатана в полном собрании сочинений. — В. З.

старых рамок не выходил, а Брюсов совсем еще не появлялся. Только Минский читал и старался меня увлечь, а сам был менее всего способен на какое бы то ни было новшество.

Случайно, на улице, я встретила нового редактора нового Сев. Вестника, Флексера — Волынского (которого сначала не узнала) и мы разговорились. Он рассказывал мне, что хочет поставить журнал более свободно, в смысле привлечения молодых сил, и это мне понравилось. Я, впрочем, не очень верила в его «литературность», и даже в его способность литературно писать (впоследствии оказалось, что я была права). Это был худенький, маленький еврей, остроносый и бритый, с длинными складками на щеках, говоривший с сильным акцентом и очень самоуверенный. Он, впрочем, еврейства своего и не скрывал (как Льдов-Розенблюм), а, напротив, им даже гордился.

Не помню, как вышло, что он после появился у нас. Ко мне он относился очень хорошо, тотчас же предложил напечатать мои «новые» стихи, нигде не признаваемые, а Д. С., отличавшийся необычайной доверчивостью (вот черта его характера, которую я подчеркиваю, — она мне казалась удивительной, часто досадной, но привлекательной, т. к. в ней было что-то детское, до конца жизни его не оставлявшее), Д. С., говорю я, с совершенным доверием отнесся к новому редактору и всем его благим намерениям. Скоро зашла речь и о напечатании «Юлиана» в Сев. Вестнике. Тут я должна сказать, что даже и на Д. С-ча при всей его скромности, манера «принятия» в журнал этого романа Флексером, — произвела неприятное впечатление. Флексер распоряжался текстом без больших церемоний: он пришел к нам с рукописью, которую брал читать, и, почти грубо (может быть он просто и держать себя не умел?) — указывал на отмеченные куски: «это — вон! Вот это тоже вон!» Чем он свои «вон» мотивировал — совершенно не помню.

В результате роман «Юлиан Отступник», первый в трилогии, появился в Сев. Вестнике и урезанном и, местами, искаженном, виде.

Это было уже в 1893-м году, незадолго до появления мелкого нашего «декадентства», а также перед появлением таких серьезных «новых» поэтов, как Ф. Сологуб и Брюсов. В истории русского чистого «декадентства» интересен был только один человек, притом не как поэт, а именно как человек, с его характерно «русской» историей жизни. В один прекрасный вечер к нам явились два гимназиста: один — оказался моим троюродным братом, Владимиром Гиппиус; раньше я его не знала. Его товарищ, черноглазый, тонкий и живой — был Александр Добролюбов. Они уже знали мои «новые» стихи; сами же писали такие, в которых мы сразу увидели то нарочитое извращение, что, на мой взгляд, уже с самого начала было «старым» и настоящим décadence, — упадком. О В. Гиппиусе много писать нечего. Мы потом видались нередко, он напечатал тоненькую книжку своих стихов, которую я убедила его не выпускать в свет; писал впоследствии, и другие стихи (под псевдонимом «Бестужева») — неважные. Любопытно в нем лишь одно: через годы и годы, когда он был уже профессором в известном Тенишевском Училище, он заявился «евразийцем», — первым, кажется. Незадолго до революции он перешел в православие (был, как Гиппиус, лютеранином), перевел в православие и жену (тоже, как Гиппиусы, был женат на немке). Эмигрировать не пожелал и умер в Петербурге. Вот и все. Но Ал. Добролюбов был другого склада. Свое «декадентство» он, прежде всего, провел в жизнь. Мы с ним не видались уже, но было известно сразу, что он живет в каких то черных комнатах и черных одеяниях, что у него много молодых последовательниц (или поклонниц), которым он проповедует, и успешно, самоубийство. И вдруг... вдруг с ним случилось то, что не поймет ни один европеец, но человек русский к подобным делам привык, —

Добролюбов «ушел». Такие «уходы» — не пропаданье: это лишь погруженье в море российское, из которого обычны краткие временные выплывания. (Я знаю еще один такой «уход», гораздо позднее, молодого очень красивого студента из знатной семьи, и талантливого поэта, притом. Он погиб уже при большевиках*)). Декадент — Добролюбов нырнул глубоко, выплыл не скоро, и выплыванья его были не часты, кратки. Он являлся босой, в армяке с такими же своими «учениками». Сидели все на полу, мало разговаривали, а когда их расспрашивали — то, немногословно ответив, прибавляли: «брат мой, помолчим». Так Добролюбов приходил один раз к Брюсову, другой раз к нам. Что это была за секта — никто путем не знал. Говорили только, что там «все сидят поникши». И что «учеников» у Добролюбова было очень много.

По-моему (да простит мне «âme slave»), было это тоже своего рода декадентство». Дм. Серг. со мной не соглашался, Добролюбов его интересовал, и он всех о нем расспрашивал, пока тот совсем не исчез из виду.

Ну, а что до «поэзии» декадентской, то она писалась нашей мелкотой с расчетом и стараньем, главное — «удивлять». «Epater le bourgeois», а ведь, с таким заданьем далеко не уйдешь.

С журналом Сев. Вестн. и с его редактором — Флексером, мы продолжали отношения. И, пожалуй, эти наши длительные хорошие с Флексером отношения имели некоторые основания. Во-первых, Флексер в своем журнале предпринял борьбу против засилия так называемых «либералов», по-просту — против крепких тогда и неподвижных традиций (во всей интеллигенции) шестидесятых годов — Белинского, Чернышевского, Добролюбова и т. д. Те и то, что было вне этого течения (или стояния) считалось «реакцией» и уже не разбиралось. Между прочим,

---

*) Семенов Тянь-Шанский.

считалась «реакцией» и всякая религия, и тоже не разбиралось какая и в чем она находила выражение. Это последнее: «религия — реакция» — держалось очень долго, даже тогда, когда к началу нового века, литература уже частью освободилась из под этого общественного гнета. На нее интеллигенция в старом смысле просто перестала обращать внимание, так как литература освободилась «во имя свое», с лозунгом «искусство для искусства».

Но я забегаю вперед; Флексер, в Сев. Вестнике, начал борьбу с традициями шестидесятников чисто критическую, негативную, даже не во имя искусства (в котором он не понимал ничего, хотя этого-то как раз сам и не понимал).

Но и такая борьба, по времени, было уже нечто. Кроме того, Сев. Вестник действительно давал место молодым силам, и попадал иногда верно, — как, например, с таким писателем и поэтом, как Сологуб, который без Сев. Вестн., не скоро пробил бы себе дорогу.

Однако, в том же Флексере были черты, которые не могли, в конце-концов, не привести нас к разрыву с ним. Его самоуверенность, прежде всего. Со второго года он начал писать в журнале литературную критику, из месяца в месяц. И вот, каждый раз, по выходе книги, у меня начиналась с ним очередная ссора. У меня, т. к. Д. С. занятый своими работами, флексеровских статей, пожалуй, и не читал.

Я протестовала даже не столько против его тем, или его мнений, сколько... против невозможного русского языка, которым он писал.

В холодном бешенстве он ходил из угла в угол в моей комнате, тяжелой походкой на пятках, повторяя: «Вы бррраните, а дррругие хвальят...» Потом эта стычка наша замазывалась до... следующей книжки.

Вначале я была так наивна, что раз искренно стала его жалеть: сказала, что евреям очень трудно писать, не имея своего собственного, родного языка.

А писать действительно литературно можно только на одном и вот этом именно, внутренно родном языке. Язык древне-еврейский? Мало кому из современных евреев он родной. Писать на жаргоне? Этого евреи не хотят. Они пишут (когда пишут) на языке страны, в которой живут. Но этот язык, даже в тех случаях, когда страна — данная — их «родина», т. е. где они родились, — им не «родной», не «отечественный», ибо у них «родина» не совпадает с «отечеством», которого у евреев — нет. Ни Лермонтов, ни Некрасов, ни Толстой или Достоевский, не могли бы быть евреями, как ни Гете, ни даже Нитше.

Все это я ему высказала совершенно просто, в начале наших добрых отношений, повторяю — с наивностью, без всякого антисемитизма, а как факт, и с сожаленьем даже к судьбе писателей — евреев. И была испугана его возмущенным протестом. В дальнейшем я этого общего вопроса старалась не касаться.

Кстати, об антисемитизме. В том кругу русской интеллигенции, где мы жили, да и во всех кругах, более нам далеких — его просто не было. Я уж не говорю о традиционных «либералах» шестидесятниках. Но среди вообще более или менее культурных людей никакого «еврейского вопроса» в то время просто не существовало. Единственное место, где он возник, и то лишь в начале 90-х годов, это в «нигилистическом» окружении Суворина, в его «Новом Времени». Эта газета, конечно, считалась «реакционной», но суть ее была даже не в «реакции», ее и настоящие «реакционеры» довольно презирали, и более верно определяли, как «чего-изволите», т. е. «куда ветер дует», и что повыгоднее. Там был, между прочим. довольно талантливый и остроумный литературный критик*), но такой последней грубости, что трудно себе представить. Он-то и начал кампанию против евреев. Начал с Надсона, и особые поклон-

*) Буренин. — В. З.

ники Надсона уверяли даже, что от его фельетонов Надсон и умер, хотя известно, что этот болезненный офицер (Д. С. его хорошо знал) умер от чахотки. Да и что это за писатель, который может умереть от критического фельетона. Нововременский критик не щадил никого, но евреев преследовал в особенности. Не щадил он и нас с Д. Серг., но был так остроумен, что его фельетоны, его пародии, касались ли они нас, или того или другого еврея, не могли нас не забавлять.

Впрочем, мы с Д. С. прошли, в этом смысле, такую школу, что никакая критика уже не могла нас так или иначе трогать. Каждый из нас шел своим путем, не смущаясь и не обращая внимание на привычные неодобрения. Когда я сама сделалась литературным критиком, я была поражена чувствительностью писателей: всякое мнение, если оно не было восторженным, а просто критическим разбором, уже погружало писателя в неврастению и часто делало его моим личным врагом. Особенно, если это мнение было, как часто оказывалось впоследствии, правильным и касалось писателя, вкусившего мгновенной славы и окруженного такими же мгновенными поклонниками. Но это к слову, и я не буду приводить примеров.

Добавлю только, что европейцу, французу, скажем, непонятно тогдашнее положение русской литературы и непонятно положение критиков, потому что здесь, — мудро, может быть — критика более или менее упразднена. Но в России, и в то время, о котором я пишу, и раньше, — было иначе. Другое дело, что она стояла плохо, требовала преобразования.

Д. Мережковский, в известном смысле, был ее преобразователем. Его книга «Лев Толстой и Достоевский», — что это, критика или исследование? Конечно, исследование, но, конечно, и критика. То же самое можно сказать и о других его книгах, и вот эта новая, тогда непривычная манера подходить

к образу писателя и человека, от непривычности возбуждала недоверие. Считалось, что романист или пишущий рассказы (беллетрист, занимающийся «belles lettres») должен это и писать, а критик — писать критику, большей частью «фельетоны». Считавшийся «поэтом» — писал стихи. Бывали, конечно, и отступления от этого правила, я говорю об общем.

В том году, когда Д. С. уже серьезно стал заниматься «Леонардо», — мы весной поехали опять в Италию. Флексер, с которым в это время мы были в дружеских отношениях, поехал с нами. Не помню, как это устроилось, но знаю, что раньше он никогда не был в Италии, ни вообще заграницей. О задуманном романе Д. С-ча он, конечно, знал. В его журнале, однако, мы не были постоянными сотрудниками, я там печатала лишь изредка стихи, да, кажется, один или два рассказа. Не Д. С., конечно, надеялся там напечатать будущего «Леонардо».

Я не могу теперь припомнить последовательно этого нашего первого для «Леонардо» путешествия (записная книжка моя с набросками давно пропала), помню лишь, что с Флексером мы оставались только в главных городах, во Флоренции, в Риме и в Неаполе (куда спустились даже сначала). И надо сказать, что еще в Неаполе Флексер, как я смеялась (не при нем, конечно) — «не умел отличить статую от картины». Не говорил, конечно, по итальянски (хотя пытался) и с ним случалось не мало комичных эпизодов. Но он почти всюду следовал за нами. Д. С., когда был занят предварительной работой, имел обыкновение рассказывать о ней мне, очень подробно (и красноречиво). А так как Флексер был с нами, то слушал все это и он. И однажды Д. С. сказал: «Вы бы, А. Л. занялись своей какой-нибудь темой, вот, например, Маккиавели...» Он как бы согласился, и стал ездить на прогулку с толстым томом Маккиавели в руках. Привычка его не видеть ничего вокруг, особенно природы, когда мы ездили по окрестностям Флоренции, например, а сидеть в экипаже, читая кни-

гу, — очень меня раздражала. А также и его рассматриванье картин в музеях, (когда уж он начал их «видеть»), его фигура с вечно поднятым воротником пальто, с каталогом в руках.

Из Флоренции он тогда вернулся в Россию, а мы отправились по всяким маленьким городкам, как ехал Франциск I с Леонардо: Фаэнца, Форли... до Синегаллии, на юге. Оттуда — уже на север, опять через Флоренцию (захватив Мантую).

Остановились в маленьком городке около Флоренции, откуда путь, уже не железнодорожный, в местечко около Монте Альбано, где находится деревушка Винчи. Этот путь мы совершили дважды; второй раз с профессором Уциелли, тогдашним знатком Леонардо. В этой деревушке сохранился домик, где жили (в то время) потомки семьи Леонардо, рыжебородые крестьяне, и даже чудом сохранился старинный камин, на который нам с торжеством указывал Уциелли. Мы с ним пешком перешли через гору Альбано — в другую долину, где находится другой городок, откуда уж и вернулись во Флоренцию. Гора Альбано — лесистая; молодые дубки (это было в мае) еще не потеряли прошлогодних листьев, из под них пробивались новые. На этой горе (Белой - Albano) названной так не спроста, мы видели то, чего, кажется, нигде больше видеть нельзя, — белую землянику. Рассказы о ней мы считали выдумкой, пока не собрали ее собственными руками (и во Флоренцию даже привезли). Спелые ягоды, не бледные, не зеленоватые, а снежно-белые, с розоватыми крапинками-семечками, как на землянике. Кроме цвета, — от земляники самой обычной, лесной, она и не отличается. Нас уверяли, что на Monte Albano водятся и белые дрозды... но их мы не видали. Странная, однако, гора!

Оттуда мы поехали в Милан, — как не повидать эту полуразрушенную фреску — Тайную Вечерю! И наконец — во Францию, в Амбуаз, где Леонардо умер. Нас долго не пускали в этот небольшой замок за каменной стеной, но в конце-концов, я помню,

настояния Д. С-ча возымели свое действие, мы были в темноватой комнате со стенами, обшитыми деревом, где Леонардо умер.

Это было так давно, мне трудно быть точной, пишу лишь, что помнится.

В июне мы вернулись в Россию, где Д. С. уже вплотную принялся за новый роман, рассказывая мне его по главам, и затем эти главы, окончив, мне их читая.

Наша дружба с Флексером (и его журналом) продолжалась с 1894 до весны 1897 года. Он относился, в общем, ко мне лучше, чем к Д. С-чу, несмотря на мои постоянные протесты против его «литературы». Он даже издал мою первую книгу рассказов «Новые Люди», где, в середине, были несколько стихотворений последних годов. Не много, потому что я вообще никогда не писала «много» стихов, даже в юности. Первый том рассказов «Яблони цветут» имеет свою историю, о кот. я, может быть, упомяну в дальнейшем, т. к. она имеет отношение к Д. С-чу. Но сейчас кончу о Флексере.

Ранее разрыва нашего, должно быть в 1895 году, в конце (точно не помню) я наконец совсем, и резко, отказалась печататься в Сев. Вестн. из-за отвращения к уродливым статьям Ф-ра. М. б. это было глупо, но его язык оскорблял мое эстетическое чувство. Тут был первый толчок к разрыву.

Я, однако, не думаю, чтобы я этим моим бескорыстным бунтом повредила Д. С-чу, т. е., что роман «Леонардо» не был напечатан в Сев. Вестн.. Как это вышло — я не помню точно, помню лишь, что роман, по окончании, предлагался в Вестник Европы, и в другие большие журналы, и везде без успеха. Кажется, он сразу вышел отдельным изданием. (Постараюсь это проверить). Окончив «Леонардо», Д. С. раньше третьего, который уже имел ввиду (Петр I), занялся большим трудом своим «Лев Толстой и Достоевский». Где и как был он напечатан уже в 1901 году — я скажу дальше.

Что же касается Флексера, с которым мы после 1897 года уже никогда более не встречались, он, м. б., потому и не напечатал «Леонардо» в своем журнале, что уже тогда задумал сам написать большую книгу о «Леонардо да Винчи». После нашего совместного путешествия в Италию, он туда, кажется, возвращался, пополняя свои сведения, и книгу свою написал, но уж когда Сев. В. прекратился; он, как известно, выпустил ее в роскошном издании. Судить о ней не могу, т. к. мы ее не видели. В последние годы, как было слышно, он сделался балетоманом(?) Умер уже в 20х годах, при большевиках.

Возвращаясь к концу века, когда роман Д. С. «Леонардо» еще не вышел, отмечу следующий случай.

К нам пришли однажды две незнакомые дамы, одна из них высокая и полная, среднего возраста. Они прошли в кабинет Д. С., откуда до меня доносился громкий говор одной из дам: «C'est du Flaubert et d'Anatol France!»

Ушли они не скоро, но потом Д. С. мне рассказал, что одна из дам была дочь настоятеля парижской русской церкви на rue Daru — о. Васильева, и явилась она с просьбой разрешения перевести роман «Юлиана» на французский язык, рассыпалась ему в похвалах, и сказала, что имеет возможность издать его у Callmann Lévy. Разрешение она, конечно, получила... Это был первый шаг Д. С-ча в Европу.

Материально издание не принесло нам ничего, — с Россией у других стран не было конвенции. Не было ее и после. Так что и со следующих переводов, которых было вскоре много, особенно в Германии, мы получали какие-то гроши лишь тогда, когда издатель этого желал, или желал переводчик, чтобы имелась надпись «autorisé»... Если M-lle Васильева пришла просить «разрешения» — то сделала она это из учтивости, да и привыкнув к европейским порядкам.

В годы 1898—1899 мы, по веснам, ездили загра-

ницу, в 99-м — в первый раз в Сицилию, но оба раза возвращались на лето и зиму в Петербург. На даче жили неизменно с моей семьей. И только осенью 1899 года мы уехали из России на целый год, — сначала зима в Риме, весной опять Сицилия, летом 1900 года -- в Германии. В сентябре 1900 — Петербург.

Но эти последние годы века были такими важными для жизни Д. С-ча (и моей), что не остановившись на них — нельзя понять и последующих 1901 - 1903, а потому я к ним возвращаюсь.

Наши путешествия, Италия, все работы Д. С., отчасти эстетическое возрождение культурного слоя России, новые люди, которые входили в наш круг, а с другой стороны — плоский материализм старой «интеллигенции» (невольно и меня толкавший к воспоминанию о детской религиозности), все это вместе взятое, да конечно с тем зерном, которое лежало в самой природе Д. С., — не могло не привести его к религии и к христианству. Даже, вернее, не к «христианству» прежде всего, — а ко Христу, к Иисусу из Назарета, образ которого мог и должен пленять, думаю, всякого, кто пожелал бы, или сумел, взглянуть на него пристальнее. Вот это «пленение», а вовсе не убеждение в подлинности христианской морали, или что-нибудь в таком роде, оно одно и есть настоящая отправная точка по пути к христианству. Последние годы века мы жили в постоянных разговорах с Д. С. о Евангелии, о тех или других словах Иисуса, о том, как они были поняты, как понимаются сейчас и где, или совсем не понимаются или забыты.

Мы должны были бы, в эти годы (1897—1900) сойтись с Влад. Соловьевым, но этого почему то не случилось. Мы его знали лично, встречали и у баронессы Икскуль, и у графа Прозора, читали вместе с ним на литературных вечерах (не студенческих «демократических», а более «фешенебельных»), с его

младшей сестрой, Поликсеной, я даже была и тогда, и после его смерти, долгие годы, в самых приятельских отношениях, — а все-таки у нас с ним — лично — что-то не вязалось. Он жил в Москве, в СПБ. бывал наездами, когда приезжал — был окружен кучами «приятелей», которые «нам ничего не говорили», — да, пожалуй», и ему самому. Я не помню, чтобы он где-нибудь при нас (в обществе) говорил о чем нибудь серьезном. У него была привычка «острить» (не остро, такая же привычка оказывалась у сестры, Поликсены), а хохот его, каким он свои «остроты» сопровождал, был до такой степени необычен и неприятен (он был знаменит), что — мне по крайней мере — никакого удовольствия встречи с ним и не доставляли.

Помню, однажды, мы, в белую ночь, поехали на «острова» — с ним и с милым приятелем нашим, старым рыцарем баронессы Икскуль, — М. Кавосом. Кто-то из нас вспомнил древнего философа, на лысину которого упала черепаха, которую нес орел, и убила его. Соловьев, захохотав, сказал, что лучше умереть от черепахи, чем от рака. Это все-таки была еще «острота», но почему он, с тем же хохотом, объявил, — когда мы проезжали мимо Елагинского дворца, и я сказала, что тут, вблизи, домик, где родился Д. С., — что это — «le comble de l'amour conjugal» — уже совершенно было непонятно.

Между тем, это был один из самых замечательных религиозных мыслителей, даже европейских, и когда я, уже после его смерти, его перечитывала сплошь — я там нашла столько идей, от которых можно и должно было, приняв их, итти дальше, что не переставала ему удивляться. Д. С. никогда не читал его пристально, между идеями обоих были совпадения иногда, но именно совпадения, как бы встречи; об этом знали, редкие тогда, поклонники Соловьева, но, настоящие, как П. П. Перцов, например, который, благодаря этому, и пришел к Д. С. и сблизился с нами, так, что наш общий журнал «Новый Путь»

(1901—1904 г. г.) был основан им и в программе было упомянуто имя Владимира Соловьева.

А. Блок и А. Белый (Бугаев) оба, в юности, были, как будто, даже под влиянием Вл. Соловьева, но это уж в другом плане, так сказать, — поэтическом, ибо в их первых стихах было подражание стихам Соловьева.

Можно сказать, в общем, что мало кто В. Соловьева в то время читал и понимал. И мне кажется, что умер он раньше, чем сказал все, что еще мог сказать, или лучше, яснее определить свои идеи. Он умер сравнительно молодым, накануне 20-го века, в последний год 19-го летом, когда нас в России не было.

Я упоминаю об этом замечательном русском философе для того, чтобы подчеркнуть: его идея Вселенской Церкви не была у него заимствована Д. С-чем, она к последнему пришла совершенно самостоятельно, и даже не вполне с соловьевской совпадала. Соловьевская брошюра, изданная заграницей (в России цензура ее бы не пропустила), нам была тогда неизвестна, а кому известна — понята превратно: римская церковь, считающая себя Вселенской, как бы приняла Соловьева в свое лоно, да и в России держался миф, что Соловьев «перешел в католичество». Как будто в идею о церкви Вселенской включалась возможность перехода из одной церкви в другую!

В 1898—1899 годах в нашем кругу появился и Розанов, о котором я уже упоминала (специально писала в моей книге). Это — с одной стороны, с другой же — мы близко стали к серьезному эстетическому движению того времени, не чисто-литературному, но тому, где зарождался тогда журнал «Мир Искусства». Это известный, так называемый «дягилевский» кружок. Он, в то время, был немногочислен, но очень сплочен. Искусство, настоящее, какого бы рода оно ни было, к какому бы веку оно ни принадлежало, не может находиться в плане

чисто-материалистическом. Эстетика, в абсолютно чистом виде, тоже не имеет подлинного бытия. Естественно, поэтому, что между кружком «Мира Искусства» и нами завязались очень дружеские отношения. Розанов был к ним дальше, чем Д. С., с его широкими взглядами и знаниями; но и они понимали ценность Розанова, и он бывал тоже у них. В них, кроме всего прочего, было влечение к новому, к выходу из тупика, в котором тогда находилась культурная Россия.

«Пленение» Д. С.-ча Христом, наши разговоры (они не всегда велись наедине, но пока и не в кружке «Мира Искусства») — несомненно должно было привести Д. С-ча к вопросу о христианстве — и к вопросу о церкви. Он, с его привычкой изучения вопроса в прошлом (исторически), чтобы затем перейти к нему в данном, не мог не почувствовать, что нам тут каких-то опытных сведений не хватает. Я, в то время, некоторые разговоры наши записывала. И, вот, помню, раз, летом 1899 года, когда я писала что-то о «плоти и крови» в евангельских словах Христа, Д. С. пришел в мою комнату и быстро сказал: «Конечно, настоящая церковь Христа должна быть единая и вселенская. И не из соединения существующих она может родиться, не из соглашения их, со временными уступками, а совсем новая, хотя, м. б., из них же выросшая. Но тут много еще чего, что нам надо знать...» Мне действительно вопрос казался таким громадным, что я, прежде всего, предложила ему ни с кем об этом и не говорить пока. А что тут, и как нужно еще знать, я тоже себе еще не представляла.

Д. С. со мной согласился. Сказал даже, что и хорошо, что мы осенью уедем на целый год заграницу, там, в уединении, можно будет ему самому, только со мной, обо всем этом подумать. Он кончал тогда третий том исследования своего — «Религия Льва Толстого и Достоевского».

Однако, при живом характере Д. С., при его как бы самоотдаче идее, которая им всем владела в дан-

ное время, и при его доверии к людям он не мог не говорить хотя бы просто о христианском вопросе с теми, с кем встречался дружественно. С Розановым (которого занимал главным образом вопрос пола и отрицание всякой плоти в христианстве), с Перцовым (хотя и поклонником Соловьева, но человеком очень сдержанным и осторожным), с Влад. Гиппиусом (тогда студентом) и даже кое с кем из дягилевского кружка. В эту осень я помню бесконечные разговоры на религиозную тему, и даже сходились мы для них то у Перцова, то у нас. Как-то, у Перцова, был даже «сам» Дягилев (ему то, в особенности, тема эта была чужда). Но Д. С-чу казалось, что почти все его понимают и ему сочувствуют. Да, по правде сказать, так думала иногда и я, ибо Д. С. умел говорить увлекательно, говорил, по моему, верно, и прямых возражений ему не было. Но не обладая, все таки доверчивостью Д. С-ча, я была рада, когда эти псевдо-соглашения с нами прекратились: в октябре мы уехали в Рим.

Весною, как я уже упоминала, мы опять были в Сицилии, в той же Таормине и на той же вилле, над заливом Ионического моря, но, к сожалению Д. С-ча, не проехали опять всю Сицилию, через Джирдженти, до Палермо, как в первый раз, а прямо вернулись в Рим, потом во Флоренцию (где пробыли довольно долго), на лето уехали в Германию. Д. С. любил ее леса, похожие на русские.

Все это время мы вели оживленную переписку с петербургскими друзьями (переписку вела больше я, т. к. Д. С. не любил писать письма, да и занят был все время окончанием вот этой большой своей работы — «Лев Толстой и Достоевский», как уже сказано).

Еще в Сицилии мы узнали, что журнал «Мир Искусства» — основан и с осени (если не ошибаюсь) будет выходить. И Д. С., и я должны были быть там

близкими сотрудниками, — хоть журнал проэктировался скорее художественный, нежели литературный. Впрочем, в первое время, он был столько же литературным, сколько и художественным.

Он уже выходил, когда осенью (1899 г.) мы вернулись в Петербург. Журнал, естественно, сблизил нас с «кружком Дягилева», — на этом кружке и на журнале мне надо остановиться.

Я не могу здесь говорить подробно о тех «новых» людях данного времени, которых мы встречали, но о которых у меня уже есть подробная запись в моей книге «Живые Лица», — как о Розанове, Сологубе, Брюсове, Блоке и других. Многие из них, по своему, замечательны, все характерны для эпохи конца и начала нового века, а равно и другие, другого слоя, с которыми немного позже пришлось нам столкнуться. Но об этих последних — речь впереди. Сейчас, когда я пишу, почти все, и замечательные, и просто любопытные, — забыты. Но будущая Россия вспомнит о них, — о Розанове, например.

Кроме нежеланья повторяться, — писать подробно о тех, о которых я уже писала, — я не желала бы отходить и от прямой моей темы, ибо я не пишу общих мемуаров, а лишь о жизни Д. С. Мережковского, которая вся проходила и прошла перед моими глазами. Но, конечно, и для этого мне приходится говорить и о тогдашней русской эпохе, и о людях, наиболее близко с нами соприкасавшихся, и о наших с ними взаимных отношениях.

Время было, по моему, интересное. Что-то в России ломалось, что-то оставалось позади, что-то, народившись, или воскреснув, стремилось вперед... Куда? Это никому не был известно, но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась т р а г е д и я. О, не всеми. Но очень многими, в очень многих. Во Влад. Соловьеве умершем как раз накануне 20-го

века, например. Но в нем, несомненно, имелась пророческая жилка. А человек позднейшего поколения и склада, Блок, — он весь был — как я о нем писала — ходячая «трагедия и беспомощность». Но о Блоке и его предчувственной трагедии (не личной) говорено было много и другими.

Возможно, что среди людей эстето-художественного возрождения это не так замечалось, в кружке «Мира Искусства», например, — если его брать en bloc, но ведь и там, несмотря на первоначальную его сплоченность, люди все-таки были разные...

Я назвала этот кружок «дягилевским», и название имело точный смысл. Без Дягилева вряд ли создался бы и самый журнал. Без его энергии и.... властности. Дягилев был прирожденный диктатор. Скажу об этом ниже; когда мы познакомились с участниками кружка (гораздо ранее возникновения журнала) он состоял из окружения Дягилева следующими лицами: во-первых — Д. В. Философов, двоюродный брат Дягилева, затем А. Н. Бенуа, Л. Бакст, В. Нувель и Нурок, который, впрочем, скоро умер и остался для нас поэтому загадочным. Остальные (главное ядро) были и далее на своих местах.

Редакция «Мира Иск.» помещалась тогда в квартире Дягилева, на углу Литейного пр. и Симеоновского; там были и первые «среды». Позднее все это перенеслось в более пышное помещение на Фонтанке.

— «Среды» были немноголюдны; туда приглашались с выбором. Кажется это были тогдашние художественные и литературные «сливки», — так или иначе — под знаком эстетизма, нео-эстетизма. Все на чем лежала малейшая тень или отзвук 60-х годов, было изгнано, как и слишком долго царившие в России идеи «общественные» — с их узкими мерками. К людям прилагалась лишь мера таланта или хотя бы воли к освобождению от традиционных пут. Нельзя было там вообразить, например, какого-ни-

будь художника из «передвижников»*), а среди литераторов — писателя или поэта, давно «общепризнанного» за гражданский уклон.

Но Розанов, мало разбиравшийся в художественном искусстве, Сологуб, и даже старый, но поэт Минский, отказавшийся от своих первых «гражданских» стихов (их и забыли все, так они были плохи: «О родина моя, о родина терзаний») — все бывали на средах постоянно.

Любопытный Розанов скучал там порою, он не умел участвовать в общем разговоре, умел лишь — все равно с кем — говорить интимно; а с Сологубом не поинтимничаешь; женщин же (с ними это ему больше удавалось) на «средах», кроме знаменитой Дягилевской нянюшки, я не помню, их как будто, совсем там не появлялось.

«Мир Искусства» был первым в России журналом эстетическим — в хорошем смысле. Он начал необходимую борьбу за возрождение пластических искусств в России. Возрождение литературы, даже как словесное искусство, не входило непосредственно в его задачу. Но при широте взглядов новаторов создателей журнала, не могла остаться в стороне и новая литература. Отсюда наша близость к этому кружку и его журналу. Мы в нем пользовались непривычной нам свободой. Не говоря о стихах, я помню две мои с т а т ь и, которые совершенно не подходили к главной задаче журнала (что признавалось и мною, и редакцией) были, однако, там напечатаны.

Длинное исследование Дм. Серг. о «Льве Толстом и Достоевском» был окончено, — и разумеется, ни в каком тогдашнем русском журнале (из «толстых», как их называли, т. е. «литературных» ежемесячников) не могло появиться. Это было так ясно, что и попытки мы считали лишними. И вот, серьезный, почти трехлетний, труд Мережковского впервые

---

*) Давние выставки картин, ежегодные, переезжавшие потом в разные города (передвижные) и, обычно, состоявшие из картин старых, признанных традиций, художников.

был напечатан на страницах «Мира Искусства». Эти широкие страницы часто были покрыты (тогдашнее новшество), поверх текста, прозрачными, иногда цветными рисунками того или иного художника. По тексту «Л. Толстого и Достоевского» гуляли, помнится мне, и бредовые тени Гойа. Но это никого из нас не смущало, и серьезного отношения редакторов к Мережковскому не изменяло.

Было там напечатано и письмо-статья Андрея Белого, весьма отвлеченное (первое его выступление в печати), — он никому, ни редакторам, был тогда неизвестен — даже по имени — так как подписался просто «студент-естественник».

Журнал тогда был в расцвете: Дягилев действовал с обычной энергией: вел журнал (сам в нем почти никогда не писал, зная, вероятно, что это не «его» дело), устраивал попутно и всякие выставки, очень удачные. Лишнее, думаю, упоминать, что о «балетах» тогда еще речи не было, это явилось у Дягилева гораздо позже.

Конечно, вопросы, которые главным образом, занимали в последние годы века Д. С-ча, и о которых осенью 1899 года, перед годом нашего отсутствия из Петербурга, Д. С. говорил с людьми, дружественно к нему относящимися, между прочим — и с людьми дягилевского кружка — не были главными для них и, менее всего для самого Дягилева. Но для того, кто мог бы знать хоть немного общее положение культурного русского слоя в эти годы, было бы понятно, что все так называемые «новые» группировки не могли быть чужды друг другу. Отсюда близость кружков, естественное скрещиванье путей, — хотя бы на краткое мгновенье, за которым шла часто и перегруппировка, и вливанье во все группы новых людей.

Идея петербургских Религиозно-философских Собраний (о них я далее буду писать подробно) родилась, конечно, не в кружке «Мира Искусства», хотя в журнале, задолго до их открытия, была напеча-

тана моя статья о смысле и желательности таких собраний. Но не только они, а даже то, что они привели нас к созданью собственного журнала, задачи которого весьма отличались от задач «Мира Искусства», не послужило к разрыву с «дягилевским» кружком, только ослабило наше сотрудничество в журнале.

Как ни сплочен был этот кружок, но люди-то, тесно Дягилева окружавшие, были все-таки разные (что я уже заметила выше). Большинство, конечно, подходило Дягилеву, гармонировало с его идеями и задачами: редкая сплоченность не могла же объясняться только диктаторскими свойствами Дягилева. А сплоченность — действительно редкая: ведь даже на те собеседованья, осенью 99 года, когда поднялись впервые разговоры о религии и христианстве в частности, кружок являлся почти в полном составе. То же было и тогда, когда открылись Собрания. Там можно было, положим, встретить всех; но Дягилеву, кажется, менее других было свойственно интересоваться тем, что делалось в зале Собраний, — однако он там бывал вместе с другими своими... не знаю, как сказать, точнее: друзьями? приближенными? содеятелями? — все равно.

Конечно, ни Бакст (лично мы с ним очень дружили), ни Нувель (тоже наш приятель) не могли тоже иметь много связи с занимавшими нас вопросами: но Ал. Бенуа, например, считавшийся и считающийся только «эстетом», отнюдь не был тогда этим вопросам чужд, — стоит взглянуть в старый наш журнал. А ближайший друг и помощник Дягилева, его двоюродный брат Д. В. Философов, сразу проявил самый живой интерес к этим вопросам и даже принимал участие в хлопотах по открытию собраний.

Мы этому, конечно, радовались; на кружок в целом, и на главу его — Дягилева — никто и не возлагал надежд в этом смысле. Слишком он был совершенен. Все диктаторы более или менее совершенны,

— как predestinés. А Дягилев, повторяю, был прирожденный диктатор, фюрер, вождь.

Я отнюдь не отрицаю диктаторов и диктатуры, напротив я признаю, что диктатор может быть явлением провиденциальным, спасительным во всяком случае — положительным, (все равно в какой области, и какие мы возьмем «масштабы»). Это не мешает нам, однако, относиться к диктатуре и ко всякому диктатору с каким-то внутренним отталкиванием. Дело, должно быть, просто во «власти» одного над многими. Отсюда получаются нередко превосходные результаты, особенно если диктатор действительно талантлив. Их нельзя не признавать, не ценить; но внутреннего отношения к диктатору это не меняет.

Такое отталкивание было у многих и у нас от прирожденного диктатора — Дягилева*). Без всякой враждебности (ведь мы смотрели со стороны), с признанием всех его талантов и заслуг, с уверенностью в его дальнейших успехах, но — со всегдашним чувством чего то в нем неприемлемого: в его барских манерах, в интонации голоса, в плотной фигуре, в скорее красивом тогда — полном, розовом лице с низким лбом, с белой прядью над ним, на круглой черноволосой голове. Говорили, что он капризен и упрям. Но я не так вижу его. Он был человек по своему сильный, упорный в своих желаниях и — что требуется для их достижения — совершенно в себе уверенный. Если эта самоуверенность слишком бросалась в глаза, — тут уж дело ума, в котором ему, при его хорошей образованности, не было никакой нужды: его заменяла разнородная талантливость и большая интуиция.

Его двоюродный брат, Д. Философов, обладая

---

*) У З. Н. это выразилось в форме эпиграммы. Привожу ее тем более, что она нигде не записана:

Курятнику петух единый дан.
Он властвует, своих вассалок множа.
И в стаде есть Наполеон — баран.
И в «Мир искусстве» есть — Сережа. В. З.

совсем другим характером, скорее пассивным, находился тогда вполне под его властью. В интерес, который Дм. Ф-в проявил к вопросам, нас занимавшим, Дягилев, кажется, не очень верил, по крайней мере в серьезность такого интереса. Он нисколько не рассчитывал потерять такого верного, долголетнего своего помощника и не сомневался, что по уже намеченному дальнейшему пути они пойдут вместе. На всякий случай он хотел все-таки знать, что делается в новом углу, в нашем, где стал бывать его друг и спутник, а потому бывал и у нас, и сопровождал его на Собрания. Его мать, — не родная, но любившая его, как родного сына, Елена Валерьяновна, женщина удивительной прелести, с которой мы были близки (и Д. Философов тоже), бывала на Собраниях постоянно, говорила даже, что всю жизнь их и ждала.

Но мне пора перейти к этим собраниям и остановиться на них, так как они занимают довольно серьезное место в жизни Д. С. Мережковского, в его жизненном опыте, имевшем влияние на его последующую внутреннюю эволюцию, а кроме того они имеют и объективный интерес, — для людей даже не русских, но интересующихся русской общественной жизнью того времени.

Осень и зима 1900—1901 г. г., после нашего возвращения в Петербург, прошла вся внутренно — под знаком новых наших с Д. С. мыслей (о христианстве и хр. церкви), а внешне — в работе в М. Искусства, в сближение с некоторыми из кружка (главным образом с Философовым), а также кое с кем из «духовного мира». Последние — были завсегдатаями Розанова, — с ним мы тоже видались довольно часто. Эти лица из «духовного» мира были не священники, и не имевшие никакого официального положения в духовном ведомстве, а просто безобидные «церковники», м. б. из старых его знакомых: он был женат на вдове священника. (Первая его жена, которая его

бросила и на которой он женился 19-ти летним мальчишкой, была лет на 25 его старше; это не кто-нибудь иная, а известная любовница Достоевского, от которой он достаточно пострадал, а после него, и еще горше, пострадал и несчастный Розанов, — от ее неистовства — пока она его не бросила. Это — Полина в известном рассказе Достоевского «Игрок». О ней, об ее историях с Достоевским и с Розановым, у меня написано в статье о последнем.

Но к Розанову льнуло и православное духовенство, несмотря на его жестокие статьи по поводу христианства и Христа (см. «Темный Лик»). С первого взгляда это кажется странным. Розанов, ведь, был «светский» писатель, при этом,— т. е. «интеллигент», слово, в духовном мире тогда «страшное». Но, во первых, был не интеллигент как прочие, «пугала из тьмы», которые, мол, никакого Бога не признают, как и «благонамеренных» журналов: он писал в «Новом Времени». Во-вторых (и это особенно для белого духовенства) чувствовалась в нем какая-то семейная теплота. А что он «еретик» — не беда: еретик всегда может вернуться на правый путь. И он, Розанов, считался, в духовном мире немножко enfant terrible, которому многое прощалось. Так было и дальше, несмотря на его жестокие выпады на Собраниях против церкви, духовенства, в особенности против монашества.

Д. С., между своим длинным исследованием «Л. Толстой и Достоевский» и подготовительной работой к новому роману «Петр и Алексей», писал более краткие статьи о целом ряде старых и новых, русских и иностранных писателей и деятелей, составивших целую книгу под названием «Вечные спутники». Были ли эти более краткие «исследования», хотя бы некоторые, напечатаны где-нибудь, кроме Мира Иск., — я сейчас не припомню: но книга была целиком издана новым нашим другом П. П. Перцовым, поклонником Вл. Соловьева. Перцов вообще был первым издателем Д. С. Мережковского, как первым издателем-

редактором, нашего общего журнала, который стал выходить в 1901 году (с отчетами Собраний). Перцов был наш «содеятель». Сам, как писатель не очень яркий, но человек с большим вкусом и большим умом.

Что касается книги «Вечные спутники» — любопытно отметить, что тогдашнее ее появление не вызвало никакого внимания, если не считать всяких грозных нападок со стороны «либеральной» прессы, хотя никакого «либерализма», ни антилиберализма она не касалась: но это была одна из традиций — бранить Мережковского. Между тем, в последние годы перед войной 14 года, эта книга была особенно популярна и даже выдавалась, как награда, кончающим средне учебные заведения.

Работа Д. С-ча не мешала нам сходиться в частные кружки для разговоров на ту же тему, как осенью 99 года, перед нашим путешествием. Приблизительно и участники их были те же. Но мне показалось (и Д. С. согласился, да и сам это заметил), что разговоры эти мало-помалу вырождаются в беспощадные споры, не очень даже оживленные, и что каждый из тех, кого мы считали «близкими», думает больше о чем-то своем, личном, нежели о вопросе общем. Один из них, помнится, любил, отвечать на те или другие предложения, откровенным: «да, но у меня свои задачи».

Особенно чувствовался тут разлад с членами «дягилевского кружка». Поэтому я предложила Д. С. поговорить отдельно с Философовым, как с несомненно более к нам близким, и устроить иногда разговоры только втроем. Это имело успех, и, помимо вечеров, где собирались и другие, мы виделись с Ф. в определенный вечер у нас. У него, оказывается, у самого уже была эта мысль.

Так шла зима. Собственно с М. Искусства у нас никакого охлаждения не было. Мы бывали там каждую «среду», где так же было интересно и весело. Мы с Перцовым часто увлекались в то время «домашними» пародиями, в прозе и в стихах. В них мы

не щадили и самых себя, поэтому некому было обижаться. Да это вообще не было принято. В том же «Мире Иск.» имелась налево от передней маленькая комната, увешанная карикатурами «своих» художников на «своих же», т. е. на участников и сотрудников М. Иск-ва. И всех это лишь забавляло.

Дело, однако, шло к лету, когда все мы разъезжались.

Отмечу, что этой ранней весной Д. С. был болен воспалением легких, а я — сильным ларингитом, но к маю мы оба поправились. Надо было все-таки уезжать скорее на дачу — мы жили это лето под Лугой, с моей семьей, как всегда.

В самые последние дни перед отъездом я несколько раз видалась с одним из членов «дягилевского» кружка*), по его просьбе; он хотел, будто бы выяснить свою большую близость к собственно нашим темам, чем мы это, видимо, считаем.

Из наших разговоров ничего, конечно, не вышло. Я убедилась только, что в дягилевском кружке Философов ценится не одним Дягилевым. Тот, наш приятель, с которым я говорила, был обеспокоен вовсе не нашими вопросами, а интересом, который Ф. к ним проявлял. Он точно хотел «спасти» Ф-ва от них — и от нас. Я прямо сказала ему, что если это его «задача», — то, во всяком случае, у Д. С. и у меня «другие задачи», в которых Ф-в не играет главной роли.

Мы, впрочем, не поссорились, даже переписывались летом, но из переписки тоже ничего не вышло.

Летом Д. С. много, как всегда, работал: подготовка к новому роману. О наших новых «вопросах» мы не говорили, — их, конечно, не забывая.

В сентябре семья моя уехала в город, — у сестер начинались занятия: одна была на медицинских курсах, другая в рисовальной школе Штиглица, третья — в Академии. Мы остались в пустой даче вдвоем.

---

*) С В. Ф. Нувелем. — В. З.

Мы возвращались как-то с прогулки, из лесу, на закате. (Я пользуюсь здесь старыми моими записями, дневниками, которые привезла в Париж в 1905 году и нашла их сохранными в нашей квартире, когда в 20 году мы вернулись сюда эмигрантами. Потому за точность рассказа о Собраниях — и далее — я ручаюсь. Сохранились у меня также и записные книжки парижские, годов 1907-08).

Итак, возвращаясь осенью 1901 г. с прогулки, я спросила Д. С-ча:

— Что ты думаешь делать эту зиму? Продолжать вот эти наши беседы?

Он не очень решительно посмотрел на меня и неуверенно сказал:

— Да... я думаю продолжать. Собрать их всех и предложить высказаться определенно, чего они хотят — и чего не хотят. Там и посмотрим...

В этот день я ничего больше не сказала, но на другой, за завтраком, решила продолжать разговор:

— Разве ты не видишь, — отлично видишь, — что все эти беседы ни к чему нас не ведут. Говорим о том же, с теми же людьми, у которых у каждого своя жизнь, и никакого общения у нас не происходит. Т. е. внутреннего, настоящего. Даже с Фил-вым, который нам ближе других и больше понимает главную идею. Разве не стоял все время между нами страшный и нерешенный вопрос: а какое она, эта идея, и вообще все это имеет отношение к жизни? Нашей, и не только даже нашей, а просто к жизни?

Д. С. сказал только задумчиво: «Да». А я продолжала:

— По-моему, нам нельзя теперь говорить о далеком, об отвлеченных каких-то построениях, очень уж мы беспомощны. И ничего мы тут не знаем, — я, по крайней мере, чувствую, что чего-то очень важного мне не хватает. Мы в тесном крошечном уголке, со случайными людьми стараемся слепливать между ними — искусственно-умственное соглашение, — зачем оно? Не думаешь ли ты, что нам лучше начать

какое-нибудь реальное дело в эту сторону, но пошире, и чтоб оно было в условиях жизни, чтоб были... ну, чиновники, деньги, дамы, чтоб оно было явное, и чтобы разные люди сошлись, которые никогда не сходились и не сходятся, и чтобы...

Дм. С. вскочил, ударил рукой по столу и закричал: «Верно!» Я очень обрадовалась, мне хотелось договорить, что ведь это не помешает нам создавать и внутренние наши круги, если он найдет это нужным, — напротив.... Но договаривать не пришлось, так как Дм. С. все это сам уже понял во всем объеме, — вероятно давно понимал и знал. Мы в тот день ходили до вечера по осеннему лесу и только об одном этом и говорили.

Очень скоро вернулись мы в Петербург и тотчас принялись за дело.

Определенно мысль наша приняла такую форму: создать открытое, по возможности официальное, общество людей религии и философии, для свободного обсуждения вопросов Церкви и культуры.

Конечно, мы не обманывали себя: самый проэкт таких собраний, такого общества, казался на первый взгляд, неисполнимой мечтой. Надо помнить, в какое время, при каких условиях, все это происходило.

Прежде всего: ведь идея Дм. С-ча, или идея нашей группы, идея христианства, была, в то же время (как идея и Вл. Соловьева) идеей церкви. В открытом обществе мы, говоря «люди религии», не могли не разуметь представителей данной русской церкви (исторической). Должна была, таким образом, произойти «встреча» между ними и представителями русского (по тогдашнему слову) «светского», т. е. не духовного общества, даже так называемого «интеллигентского».

Подлинность и святость «исторической» христианской церкви никем из нас не отрицалась. Но вопрос возникал широкий и общий: включается ли мир-

космос и мир человеческий в зону христианства церковного, т. е. христианства, носимого и хранимого реальной исторической церковью?

Для этого нам нужно было услышать «голос Церкви» (а как его услышать, если не из уст ее представителей?)

То, что церковь эта была лишь одна из христианских церквей, — мало что меняло. По существу в области главного вопроса, все христианские церкви находились в одинаковом положении. Теоретически вопрос был предложен всем христианским церквам. Вопрос «о христианстве вселенском», как говорил Вл. Соловьев. Практически же, несмотря на полную зависимость нынешней православной церкви от российского государства в то время, — он все-таки мог быть предложен только православию, благодаря его внутренней свободе по сравнению хотя бы с церковью римской.

Подобные Собрания, и такое откровенное высказыванье на них, православными иерархами, невозможны были бы, еслиб это была церковь не православная, а католическая. «И даже лютеранская», говорил тогда Д. С. Позднейшие его исследования христианских церквей укрепили в нем эти мнения — я их передаю в общем.

Однако, и внешние условия, закрепощение прав церкви государством (самодержавием) казались почти непреодолимыми препятствиями для устройства Собраний. Но тут помогла смешанность, текучесть и несколько разнообразный состав наших частных кружков. Люди, имеющие соприкосновение с духовными кругами, — которых мы узнали через Розанова. С некоторыми мы даже успели сблизиться (вне «дягилевского» кружка). Мысль Собраний их заинтересовала. Они нащупали почву и указали нам, куда можно обратиться с первыми хлопотами о разрешемии. (Пути официальные были, конечно, заказаны).

В то время царил всесильный «Обер Прокурор

Синода», известный своей строгостью и крепостью — Победоносцев*).

Вот к этому-то «неприступному» Победоносцеву и отправились, 8 октября 1901 г. пятеро уполномоченных «членов учредителей» по делу открытия «Религиозно-философских Собраний в СПБ»: Д. Мережковский, Д. Философов, В. Розанов, В. Миролюбов и Вал. Тернавцев.

О Тернавцеве, сыгравшем в Собраниях не малую роль, я скажу ниже. А Миролюбов — был из далеких «сочувствующих» (и то, м. б., потому, что происходил из духовного звания, но это скрывал). Он издавал плохенький «Журнал для всех», был типичный «интеллигент» старого образца, но глупый, и в Собраниях, порою, не мало причинял нам досады.

Вечером того же дня «уполномоченные» (кроме Философова) посетили тогдашнего Митрополита Петербургского Антония, в Лавре.

С этого времени на разрешение Собраний, — полу-частных, со строгим выбором и только для «членов» — можно было питать надежду. Надежда окрылила всех заинтересованных. И тогда-то началось наше настоящее знакомство с совершенно новым для нас «церковным» миром — как бы некое сближение двух разных миров.

Да, это воистину были два разных мира. Знакомясь ближе с «новыми» людьми, мы переходили от удивления к удивленью. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке; все было другое, точно другая культура.

Ни происхождение, ни прямая принадлежность к духовному званию — «ряса» — не играли тут роли. Человек тогдашнего «церковного» мира, — кто бы он ни был, — чиновник, профессор, писатель, учитель, просто богослов, и одинаково: умный и глу-

---

*) «Обер Прокурор Синода» — представитель государственной власти в церкви, главою которой считается сам самодержец-помазанник.

пый, талантливый и бездарный, приятный и неприятный, — неизменно носил на себе отпечаток этого «иного» мира, не похожего на наш обычный «светский» (по выражению церковников) мир.

Были между ними люди своеобразно глубокие, даже тонкие. Они прекрасно понимали идею Рел. - Философск. Собраний, значение «встречи». Другим эта встреча рисовалась просто ввиде расширения церковью проповеднической деятельности, ввиде «миссии среди интеллигенции».

Признаться, мы этому толкованию особенно и не противоречили, оно могло послужить в пользу разрешенья. Только бы разрешили, а там будет видно.

«Интеллигенция» представлялась, конечно, духовному миру ввиде одной компактной массы «светских безбожников». Все оттенки от него ускользали. Не только ни о каких новых, по времени, формациях никто там не имел понятия (до открытия Собраний, во всяком случае), но не видели они даже особой разницы между Меньшиковым из «Нового Времени» и каким-нибудь типичным старым «интеллигентом» из либеральнейшей газеты, для которого и сотрудники «Мира Иск.», и мы, были «отщепенцы»! (Ведь религия — реакция. Да и все, что не на базе позитивизма, — эстетика, идеализм, всякий спиритуализм — реакция!)

Таким образом, если говорить о некоторой запоздалости, малого осведомления в мире «духовном», то, по сравнению с вот этой частью тогдашней «интеллигенции», остававшейся «на посту», — мир духовный не мог назваться «миром невежества». Оно и там, и здесь, было одинаково.

— «Миссия среди интеллигенции»... Как заманчиво прозвучало это для многих, — между прочим для одного весьма любопытного, как тип, «хитрого мужичонки» человека, чиновника особых поручений при Победоносцеве, Вас. Скворцова, редактора «Миссионерскаго Обозрения», — журнала, о существовании которого мы раньше и не подозревали, но кото-

рый, когда начались Собрания, стал выписывать... даже «Мир Искусства».

Фигура интересная. Отчасти комическая, — над ним и свои подсмеивались, — но достоин он был не только смеха. Официальный миссионер, он славился жестокостью по «обращенью» духоборов и всяких «заблудших» в лоно православия. Вид у него был мужичка не без добродушия, но внутри этого «Висасуалия» (по непочтительной кличке) грызло тщеславие: давно мечтал стать «генералом» (дослужиться до «действительного»), а тут еще замечтал попасть в «среду интеллигенции». Перспектива миссии уже не среди нижегородских раскольников — совершенно увлекла его. У него появился зуд «светскости», и только заботила мысль — какие когда надевать надо галустуки, идя в «салоны» обращаемых.

Уж, конечно, не Валентин Тернавцев (один из замечательных людей того момента), мог помышлять о Собраниях, как о «миссии». На первом же заседании (давшем тон всем другим) он и высказался против этого взгляда.

На нем тоже лежал отпечаток иного, не «нашего» мира. В этом смысле была в нем и «чуждость». Однако, надо сказать, что именно он стоял тогда всего ближе к нашим идеям.

Так как Тернавцев сыграл в Собраниях большую роль, то я скажу о нем несколько слов.

Это был богослов-эрудит, пламенный православный, но происходил он не из духовного звания. Русский по отцу — итальянец по матери, и материнская кровь в нем чувствовалась. Все в нем было ярко — яркость главная, кажется, его черта.

Высокий, плечистый, но легкий, чуть-чуть расхлябанный, но не по-русски, а по-итальянски (как бы «с ленцой») чернокудрый и чернобородый, он походил иногда на гигантского ребенка: такие детские у него были глаза и такой детский смех. Помню, как он пришел к нам в первый раз: сидел, большой и робкий, с мягкими концами разлетающегося галстука.

Замечательна его талантливость, общее пыланье и переливы огня. Оратор? Рассказчик? Пророк? Все вместе. От пророка было у него не мало, когда вдруг зажигался он заветной какой-нибудь мыслью. Мог и внезапно гаснуть, до следующей минуты подъема.

Самый простой рассказ он передавал образно, художественно, нисколько не ища образов: сами приходили. Был ли умен? Трудно сказать. Его талантливость, яркость, его прекрасный русский язык, тоже не вполне «интеллигентский» (мы, смеясь, называли последний, с готовыми сухими фразами — «является-представляется») его фанатически-узкая трактовка некоторых идей, — все это заслоняло вопрос о его уме.

В Петербурге «кудрявый Валентин» появился не так давно. Жена — скромная, незаметная полька, (перешедшая в православие), она нигде не появлялась. Жили они с детьми, где-то в маленькой квартирке. Тернавцев нигде не служил*). Был занят своей бесконечной работой, — исследование хилиастического учения (Апокалипсис).

В ноябре разрешенье было получено: собственно полу-разрешенье, попустительство обер-прокурора, молчаливое обещанье терпеть Собрания «пока

---

*) Очень вдолге, лет через 12—15, когда мы уже совсем потеряли друг друга из виду, нам говорили, что Тернавцев служит теперь секретарем в Синоде, но ни облика своего, ни интереса к хилиазму не потерял. Здесь, в эмиграции, кто-то говорил Д. С—чу, который его очень любил и признавал, что Терн. в Сибири, весь белый, но хилиазму не изменил. Для незнающих, что такое хилиазм — скажу, что это учение о Царствии (Божием) на земле в течение тысячи лет (по откровению св. Иоанна). А если я напомню, что одна из главных идей, или стремлений, или воздыханий Д. С. Мережковского была «Царствие Божие на з е м л е» **Adveniat Regnum Tuum**, понятным становится и близость его к Тернавцеву, и его утверждение.

что». (Увлеченный «светскостью» и «миссией» Скворцов не мало, кажется, этой удаче посодействовал).

Сочувственно отнеслось и высшее духовное начальство (менее властное). Узнав, что «Ведомство» Собрания разрешает, митрополит Антоний (благообразный, с мягкими движениям, еще не старый, — он слыл «либеральным») благословил ректору Дух. Академии, Сергию, еп. Ямбурскому, быть председателем, ректору Семинарии — арх. Сергию — вице-председателем. Дозволял участие всему черному и белому духовенству, акад. профессорам и пр. доцентам; разрешил даже студентам, Дух. Академии, по выбору, Собрания посещать.

К этому времени уже многие из будущих участников успели перезнакомиться между собой. Мы знали молодых профессоров Дух. Академии (двое наиболее часто посещали нас: Ант. Карташев и Вас. Успенский), священников, кое-кого из высшего (черного) духовенства. Доклад Тернавцева, написанный для первого заседания, «Интеллигенция и Церковь», был нам хорошо известен.

Собрания открылись 29 ноября (1901 г.). Неглубокая, но длинная слева-направо «малая» зала Географического О-ва, на Фонтанке, — переполнена. Во всю ее длину, прямо против дверей, по глухой стене — стол, покрытый зеленым сукном.

Еп. Сергий, молодой, но старообразный, с бледным, одутловатым лицом, с длинными вялыми, русыми волосами по плечам в очках, — сидел посередине*).

---

*) Прим. 1943 г. — Это тот самый Сергий, который, при большевиках, сумел среди всех расстрелов, ссылок и гонений на духовенство, не только сберечь себя, но даже сделать беспримерную карьеру. Как — мы в подробностях не знаем, а догадаться легко, хотя бы по тому его требованию к эмигрантской русской церкви, которое он (уже будучи митрополитом и заместителем патриарха — первый, настоящий заместитель был сослан и погиб) — требованию признать «лояльность» советской власти. Это было в 1929 году и, конечно, исходило от самой советской власти, из желания ее создать среди зару-

Рядом — красивый и злой арх. Сергий, вице предс. Духовенство белое и черное, преобладало. Черного было даже, кажется, больше. С левой стороны — ютились мы, «интеллигенты», учредители и члены просто. В углу — гигантская статуя Будды, чей-то дар Георг. О-ву, но закутанная (как и на дальнейших собраниях) темным коленкором.

Еп. Сергий произнес вступительную речь, малозначительную, с обещанием искренности и доброжелательности со стороны церкви и с призывом к тому-же «подходящих с совершенно противоположной стороны», (интеллигенции).

Слово это не было обращением от лица церкви к «противоположной стороне», с признанием разъединения и взаимного непонимания. К кому была обращена речь Тернавцева? Прямо к Церкви, и ценность доклада увеличивалась тем, что докладчик стоял сам на церковном берегу. Если тут уместно говорить «мы» и «они» (впрочем, это положение установил и Сергий) — то Тернавцев, в своей речи, оказался целиком «с нами», не переставая быть «с ними».

бежья, хотя в ее углу, кое-какую смуту. Некоторое время это волновало умы, тем более, что вся «либеральная» зарубежная пресса (для старых либералов-эмигрантов, ведь, религия была попрежнему реакция, в лучшем случае «quantité négligeable») горой стала за лояльность. К голосу этих журналистов примкнули даже голоса бывших марксистов, недавно сравнительно православных, христиан, как Н. Бердяев, например, или тоже недавнего православного Игоря Демидова, сотрудника Милюкова.

К счастью парижский митрополит, долго не решавший дела, выбрал полумеру, обратившись к грекам, и тем избег, хотя бы, кар и отлучений, какими грозил Сергий «верным» зарубежникам. Этот случай еще больше отдалил Д. С. Мережковского от «интеллигентов» — эмигрантов, которые войдя или не входя в Церковь, будучи или не будучи масонами и евреями, все равно не могли с полной непримиримостью к советской власти относиться. А Сергий, между тем, по благословению Сталина (и по нужде) сделался, в самое последнее время, целым патриархом.

Никакой «интеллигент», хотя бы искренний прозелит, не мог бы, обращаясь к церкви с основным вопросом о религиозной общественности, поставить его в более понятной для церкви форме, с такой упрощенной резкостью. Интеллигент и языка бы подходящего не нашел. То, что для нас казалось примитивным, общеизвестным, — и оно было нужно. Тернавцев знал степень осведомленности церковных представителей о нашем, новом для них (но не для него) и давал, где следует, просто информацию.

Но тут мне надо сделать два небольших замечания.

Ничего даже приближающегося к тому, что сказал Тернавцев и что — и как — было говорено на Собраниях, не могло быть тогда сказано в России, в публичной зале, вмещающей более 200 слушателей. Недаром наши Собрания скоро стали называться «единственным приютом свободного слова». Что они были полу-официальны и «как бы» не публичны, — им только помогало: никакой тени полицейского, обязательного на всех «публичных» заседаниях. А полицейский, какой он ни будь, хоть полуграмотный, имел право остановить любого оратора, кто он ни будь. Условие же не допускать «гостей», а только «членов», ничего не меняло.

Второе мое замечание по поводу выписок из доклада Тернавцева. Я их делаю не только потому, что этот доклад был и остался как бы краеугольным камнем всех заседаний: к нему всегда возвращались, какая бы ни была очередная тема. И не только потому, что это первое заседание, с данным докладом, имеет известную историческую ценность, а по некоторым «пророческим замечаниям, в годы и десятилетия дальнейшие приняло, даже как бы актуальное значение. В самом деле, ведь если бы вопросы, с такой остротой поставленные в 1901 году, были услышаны, если бы не только русская церковь, но и большая часть русской интеллигенции не забыли о них

вовсе, — быть может, не находилась бы церковь, в течение двух с половиной десятилетий в таком бедственном положении, а русская интеллигенция, ее не убитые остатки, не вкушала бы горечь скитальчества», И не видели бы мы Россию «в состоянии такого духовного упадка и полного экономического разорения ее народа». Все это, этими же словами, как предупреждение, было сказано... четверть века тому назад.

Я нахожу нужным сказать более подробно о докладе Тернавцева и сделать из него некоторые выписки, главным образом потому, что этот доклад очень определенно выразил одну из главнейших идей Д. Мережковского о христианстве, а именно — в оплощении христианства, об охристианении земной плоти мира, как бы постоянном сведении неба на землю, — по слову псалма — истина приникнет с небес, правда возникнет с земли». Мережковский утверждал, что эта идея уже заключена в догматах. которые не суть застывшие формулы, какими считают их все исторические церкви. но подлежат раскрытию соответственно росту и развитию человечества.

Тема тернавцевского доклада вся была посвящена именно этому вопросу, причем на конкретном примере — в обращении его к церкви русской и противопоставлению ей русской «интеллигенции», она отнюдь не потеряла ни своей глубины, ни остроты, хотя «интеллигенцию» он несколько идеализировал. Впрочем он оговорился:

«Состав ее случаен... Есть часть, которая ко Христу не придет никогда. Религиозное противление заведет ее, куда она сама не ожидает и не хочет. Об этой части пока говорить не буду...»

Но «интеллигенция» — это обширный общественный слой, сильный своей отзывчивостью, умственной и нравственной энергией... «Она есть общенародная величина». «Она имеет свои заслуги... и

свой мартиролог». «Люди эти проявляют в своей деятельности и жизни часто нечто такое, что решительно не позволяет их принимать как силу, чуждую света Хрстова...» «Идея человечества и человечного есть душа их лучших стремлений...» «Они отстаивают веру, что человечество найдет путь к единению, и носят эту веру в себе, как некий золотой сон сердца». «Вопрос об устройстве труда, о его рабском отношении к капиталу, проблема собственности, противообщественное ее значение с одной стороны, и совершенная неизбежность с другой, — это для людей интеллигенции есть предмет мучительных раздумий...» «Мироохватывающие идеи... имеют над их совестью таинственную силу притяжения...» «Это не толпа, и не партия: она движется, в цельности, идеей нового общества — «одухотворенного...»

А что же христианская (русская) церковь? Указав на разделение ее с «этим слоем общества» и подчеркнув его, Тернавцев говорит: «Все эти вопросы,— несмотря на то, что деятелям Церкви больше, чем кому либо, приходится быть свидетелями совершенного разорения народа, — религиозно, нравственно общественно чужды...» «Церковь не покидала народа в трудные времена. — Но оставаясь сама безучастной к общественному спасению, она не могла дать народу ни Христовой надежды, ни радости, ни помощи в его тяжком недуге. Его бедствия она понимает, как посылаемые от Бога испытания, перед которыми приходится только преклоняться».

«Отсутствие религиозно-социального идеала у Церкви есть и причина безвыходности и ее собственного положения...» «Она бессильна справиться и со своими внутренними задачами. Все разбивается о б е з з е м н о с т ь ее основного учительского направления». И «невозможны никакие улучшения без веры в Богозаветную положительную цену о б щ е с т в е н н о г о дела».

В самом начале, Тернавцев, как историк и се-

рьезный исследователь, обрисовывает общее положение тогдашней, самодержавной, России, — так:

«Внутреннее положение России в настоящее время сложно и, повидимому, безвыходно. Полная неразрешимых противоречий, как в просвещении, так и в государственном устройстве своем, Россия заставляет крепко задуматься над своей судьбой...»

«Преобразовательное движение эпохи Александра II кончилось... Россия остается сама с собой, лицом к лицу с фактом духовного упадка и экономического разорения своего народа...» «Сама географическая необозримость России, огромность и разноплеменность ее населения, рядом с внутренним идейно-нравственным ее бессилием, еще усугубляет нашу тревогу».

«Но мы, как Христиане, подчеркивает Терн., верим, что Возрождение России — может совершиться на религиозной почве».

Отсюда он, спросив «где же деятели и проповедники этого возрождения», переходит к исследованию сил Церкви, а затем уже рисует облик «интеллигенции».

«Силы Церкви не неизвестны... Они слабы: широты замысла, веры низводящей Духа, в них нет. И самое главное — они в Христианстве видят и понимают один только загробный идеал, оставляя весь круг общественных, земных интересов — пустым. Единственно, что они хранят как истину для земли, это самодержавие... с которым сами не знают, что делать».

И Тернавцев, приводя еще много других доказательств, приходит к выводу, что Церковь «с ее вооружением», не может и приступить к делу возрождения России. И прибавляет знаменательные слова: «А ведь им (церковным деятелям) придется скоро лицом к лицу встретиться с силами уже не домашнего, поместно-русского порядка, а с силами мировыми, борющимися с Христианством на арене истории...»

Для предстоящей борьбы нужны иные, новые си-

лы. Оратор, параллельно рассматривая идеалы Церкви и людей «интеллигенции» потенциально в последней, и даже не русской только, а мировой, находит живые силы.

«Дело совести и высшей свободы... составляет для них святыню... Есть много оснований думать, что в таких людях, теперь неверующих, скрыт особый тип благочестия и служения». «Великий сан человека, право быть человеком, сказывается в интеллигенции, как способность к мучению над общечеловеческими вопросами — чуждыми Церкви. От этих вопросов она не отречется, даже еслиб от них отказалась вся Европа...

О русской интеллигенции Тернавцев однако заметил, тоже очень знаменательно:

«Всеобщая историческая гибель открывается для них (людей интеллигенции) с возростающей ясностью. И люди эти переживают тяжелый нравственный кризис... Это не вырождение, т. к. жажда высшей жизни в них остается, но... кризис глубок.

...В самой интеллигенции должен произойти мучительный, теперь пока, еле-обрисовывающийся, разрыв: она должна будет расколоться...»

Несмотря на все смелые истины, которые Тернавцев высказал Церкви, он вопрошал именно ее, он был в ее лоне, верил в нее (может быть потому и мог так остро ей правду высказывать) и, к замечанию, что об обращении интеллигенции можно говорить только в целом (обращение хотя бы множества отдельных лиц не решит ничего), а это возможно только если Церковь ответит на указанные запросы, — он прибавил горестно: «Дать ответ Церковь... должна. Может ли статься, что вопросы действительные, роковые — есть, и нет отвечающего?»

Закончил же он свой доклад, прочитанный с тем подъемом, какой был ему свойственен (атмосфера в зале была напряженная), резюмировав его с необычайной ясностью.

«Положение русского благочестия (т. е. Церкви)

в настоящее время чрезвычайно: для всего Христианства наступает пора не только словом, в учении, но и делом показать, что в Церкви заключается не один лишь загробный идеал. Наступает время открыть сокровенную в Христианстве ПРАВДУ О ЗЕМЛЕ.

Религиозное учение о государстве, о светской власти, общественное спасение во Христе — вот о чем свидетельствовать теперь наступило время.

Это должно совершиться «во исполнение времен» дабы, по слову Апостола, все небесное и земное соединить под главою Христа».

Этот первый доклад на первом Собрании и поставил целиком ту единую тему, которая, далее, с разных сторон, и была предметом обсуждения на всех последующих заседаниях. Это — вопрос о «всехристианстве» (вопрос и Вл. Соловьева) — объемлющем, в долженствовании, мир, жизнь человека и жизнь человеческого общества. И это также вопрос о Церкви. О единой, вселенской (о которой говорил и Соловьев), но и о реальных, ныне существующих христианских церквах. Могут ли они при своих, отъединенных от земного, идеалах исполнить «новую великую задачу», встающую перед ними, ответить на всечеловеческие вопросы, послужив к религиозному объединению человечества?

Из доклада Тернавцева, откуда я делаю столько выписок, можно бы сделать их вдвое больше. Я могла бы также, с помощью стенографических отчетов, напечатанных в нашем журнале «Новый Путь» и моих личных записей, притом, как человек, на всех собраньях присутствовавший, описать дальнейшие заседания, отметив вопросы и ответы противоположных сторон. Но пусть займется этим будущий

историк, если найдется когда-нибудь такой, для кого эти, на мой взгляд, не маловажные в истории России, Собрания, покажутся интересными. Во всяком случае — это не тема для книги, которую я сейчас пишу. Как важен был для внутренней жизни и главных идей Д. С. Мережковского опыт «встречи» с исторической христианской церковью — здесь уже отмечено. Мне остается лишь кое что добавить — не много.

Доклад Тернавцева, который, по моему выражению, был в «наших» идеях, точнее — совпадал с одной из главных тогда идей Д. С-ча, — о Христианстве, включающем «плоть мира», и во многих частях совпадал с идеями Вл. Соловьева, встретил со стороны представителей Церкви не то, что отпор, а совершенное непонимание ни его сути, ни главного вопроса, ни попутных. Он был точно не услышан, или услышаны были не те слова, которые Тернавцев произносил. Обсуждению доклада были посвящены два вечера. На обоих происходило что-то весьма странное. Достаточно отметить самого председателя еписк. Сергия. Он сказал, что не видит нужды для Церкви «менять фронт»(?) Что Церковь не может «отказать ся(?) от неба». Что незачем Церкви ставить новую задачу — «раскрытия правды на земле: устремляясь к небесному, представители церкви достигали и земного, как Николай Чудотворец...» Еще пример: «Церковь не воставала прямо против рабства, но проповедывала истину небесного идеала... и этим, не чем либо иным, она достигла отмены рабства...» Но довольно. Не могу воздержаться от замечания: если еп. Сергий, теперешний московский патриарх, уже 26 лет проповедует «истину небесного идеала» — сколько еще лет ему понадобится, чтобы «достичь отмены рабства»... куда горшего, чем старое, крепостное!!!

Кстати: на одном из следующих заседаний, Тернацев, при случае, сказал очень верно о патриаршестве вообще. Назвав воздыхания о нем славянофилов — риторикой, он очень убедительно, и со зна-

нием дела, доказал, что «если не исходить из понимания Церкви как священнического авторитета, — что религиозно мертво и бесплодно», — патриаршество совершенно не нужно. «Оно, — вернее обгоревшие остатки его, — и теперь существует на Востоке. Но что дают они там? Сообщают ли церквам своим царственное величие исполняющейся истины? Что дают они всему Христианству? Ищут ли путей для его объединения, углубления? То же было бы и у нас... Патриаршество отменено не по прихоти Петра I. Оно перед своей отменой, сделалось центром реакции... (мое примечание: вот чего не досмотрели наши деятели первой, февральско-мартовской, революции, тотчас же принявшись за церковные дела, учредив патриаршество). Кроме того, докончил Тернавцев, и учреждено было патриаршество светской властью, совершенно так же, как нынешний Синод»: (Мое 2 прим.: Как учредил его ныне Сталин, в лице Сергия, учредив ранее и свой Синод).

Повторяю, что о дальнейших заседаниях этих Собраний, просуществовавших до 5 Апреля 1903 г., как ни были они любопытны (да и люди, их участники) я рассказывать не буду. Общая тема и направление их ясны. Уже здесь, в эмиграции, Д. С. хотел, чтобы я подробно написала о них несколько статей, изложив последовательно наиболее интересные заседания, подчеркнув разнообразие их участников и, насколько возможно, передав атмосферу в зале Географического О-ва. Прежде чем начать работу, я (мы) условились с одним давним нашим «другом», редактировавшим тогда толстый эмигрантский журнал и близкое участие принимавшим в другом (уже прямо «религиозном»), что эти мои статьи, конечно, будут у него напечатаны. Этот наш друг, типичный «интеллигент», старый эмигрант, давно, однако, склонялся к христианству (в последнее время даже крестился) и не верить ему у нас не было оснований.

Однако, вышло не так. Моя работа не пошла далее описания начала Собраний, вот этого первого доклада Тернавцева и нескольких следующих. Эту мою рукопись я лишь недавно нашла в бумагах (I статью) с надписью красным карандашом: «Отвергнуто... ...ским»*). По каким мотивам он нарушил условие, — я теперь не помню, но не могу, все же, этому не удивляться: мне до сих пор непонятно, что «странное» мог в ней увидеть даже и не такой православный en herbe, как наш редактор. Впрочем, надо заметить: Д. С. Мережковский (и я) мы были так же нежелательны и неприемлемы для эмигрантской прессы, как юный Мережковский для тогдашней прессы русской. Д. С. почти ничего не печатал в эмигрантских журналах и газетах, а писал очень много. Он издавал свои труды отдельными книгами, и то — по-русски — в Белградском, а не в Парижских издательствах. А большинство его книг выходило раньше на том или другом иностранном языке. Я тоже издала 2 книги в Праге, 1 в Берлине, 1 в Белграде, а как журналист — давно перестала существовать.

Впрочем, о жизни и книгах Д. С-ча в эмиграции я скажу позже, — в свое время.

Теперь — вернемся к старому времени и докончим мои воспоминания о тех, далеких, Собраниях (имевших в жизни Д. С-ча большое значение) записью в моем дневнике 1902 года. Я к ней не прибавляю и не вычеркиваю из нее ни одного слова, чтобы не нарушать «историчности». Это было, конечно, не одно мое личное мнение, те же наблюдения были близки и Д. С-чу.

.....«Мы узнали много новых людей. Узнавали все больше из кого состоит Церковь, православная, которая, как нам казалось, нуждается в движении, в приятии нового, ибо в ней не отвечающая современной душе косность...

Вот из кого состоит ныне она (учащая): из ве-

---

*) Фондаминским. — В. З.

рующих слепо, по древнему, по детскому, с детской подлинной святостью (о. Иоанн Кронштадский). Им наши запросы, наша жизнь, наша вера — непонятны, ненужны и кажутся проклятыми.

Затем — из равнодушных иерархов — чиновников. Затем — из милых, полулиберальных душ: митр. Антоний.

Из тихих, малокультурных полубуддистов: еп. Сергий. Из диких, злых аскетов мысли. Из форменных позитивистов, мелочных, самолюбивых... (вот это самое удивляющее, самое неожиданное, на что мы натолкнулись здесь: позитивизм! Иной раз кажется; да это главное! Да все они позитивисты!)

Но продолжаю: из позитивистов-нравственников, с честолюбием, жестких: Гр. Петров. Попадаются блестящие схоласты, как арх. Антонин, грубый и настоящий «еретик», не верующий даже в историческое бытие Иисуса.

Профессора и пр. доценты Духовн. Акад. — почти сплошь позитивисты, хотя есть и с молодыми студенческими душами. Но и они мало понимают, ибо глубоко, по воспитанию, некультурны. И как то уж неисцелимо.

Так вот из кого н ы н е состоит учащая Церковь. Говорим, з н а я, имея опыт. И веруя в подлинность Церкви.

Отстранив всех, лишь внешне в ней находящихся, получим одного о. Иоанна и тех, кто с ним (невинная святость). Я знаю, наверно есть подвижники, схимники, старцы — там — где-то, «в глубине России». Но ведь их святость — она хоть и далекой, но той же ниточкой связана с о. Иоанном Кронштадским...

Увы! Увы! Как нам отсечь нашу жажду разумения, нашу молитву о жизни, о ее правде, — о всем человеке?»

Летом 1902 г. (мы жили опять под Лугой, но на

другой даче) к нам приехал П. П. Перцов с проектом издания нового журнала. Эта идея возникла, конечно, из Собраний — и для Собраний. Ведь все заседания были стенографированы, начиная с первого. А где они могли быть напечатаны? Конечно, нигде... Да и с других сторон — журнал наш нам был нужен. «Мир Искусства» уже перестал совпадать с нашими устремлениями — нашей группы. Мы с ним не порывали связи, но даже Философов, который такое деятельное участие принимал в хлопотах на разрешение Собраний и почти на всех присутствовал, — стал каким то странным образом, к весне, от нас отдаляться. Иногда, неожиданно, казался даже враждебным. Д. С. очень этим огорчался, предполагал, что Ф. снова подпал под власть своего кружка и, в частности, Дягилева, пытался увидаться с Ф. в Публичной Библиотеке (Ф. там служил), но узнал, что Философов все время хворает, на службу не ходит и живет у Дягилева.

Д. С. через день кажется был у Дягилева, сказал, что Ф. с нами поссорился, но мы не понимаем из за чего, и Д. С. хочет его видеть. Это не удалось. Дягилев сказал, что он и болен и в таком ужасном настроении, что лучше его оставить в покое. Так Д. С. и ушел, сам весьма расстроенный. Вечером же было Собрание, на котором он должен был читать свой реферат.

К нашему удивлению на этом заседании был почти весь дягилевский кружок, Дягилев сам — и «больной» Философов.

Впрочем, он действительно был болен.

Начинать новый наш журнал — было в некотором роде безумие. У нас (ни у Перцова) не было никаких денег, не было разрешения, не было, как будто, и сотрудников. А журнал проэктировался «литературный», но с еще небывалым направлением: в его программе должно было упоминаться имя Вл. Соловьева, а в конце каждого номера — отчет религиозных Собраний...

Однако, мы каким то таинственным способом, сведя с Перцовым смету, — нашли (как он говорил) «последний пятачок» и журнал решили основать.

В это время Дм. С. уже кончил свою книгу «Гоголь и о. Матвей». Она, конечно, вся вышла из вопросов Собраний. Часть ее и читалась, как реферат, на одном из зимних заседаний. А другую, самую важную, Д. С. решил прочесть прямо митрополиту в его Лаврском «палаццо». Я уговаривала не делать этого, — никакого не видела толку, — только лишние обиды. Но Д. С-ча, когда он забирал себе что-нибудь в голову, уговорить было трудно. Ему все казалось, что если не эти — то вот эти люди непременно «все поймут». Если, мол не понимает Сергий, то митрополит то уж наверно поймет...

У Сергия, в его уютном кабинете, в который вела пустынная, с блестящим, как зеркало полом, зала, мы бывали не раз. Вот, отправились и к митрополиту. У Сергия чай нам подавали тоненькие, черненькие «служки» (будущие монахи). У митрополита в его раззолоченной гостиной — ливрейные лакеи. Розанов, утонувший в соседнем со мной кресле, тихонько шептал мне: «а варенье-то у Владыки — засахаренное. У Сергия лучше».

Нас было человек пять (Философова не было). И, кажется, столько же гостей Антония — почти все те же высшие иерархи — как на Собраниях. Разговор был мягкий и незначительный. Митрополит также «ничего не понял», говорил потом Д. С., как и остальные. Я оказалась права (что было не трудно).

Но так как книга Д. С-ча была кончена — он, при первой мысли о журнале, объявил с радостью. что отдаст ее в журнал (без гонорара, конечно), — вот уже готовый материал для трех книг.

Подготовка к новой работе (к роману «Петр и Алексей») брала у Д. С. много времени, а потому все «хозяйственное» дело по журналу падало на меня и на Перцова. Раньше поздней осени, во всяком случае, I номер выпустить было нельзя. Нам же с

Д. Серг. надо было еще совершить не малое и не легкое путешествие — вглубь России, в губернии раскольников, к «Светлому Озеру» — ко «граду Китежу».

Это наше путешествие я считаю одним из самых интересных из множества совершенных нами с Дм. Серг.. Но о нем я здесь скажу лишь два слова; у меня имеется подробная его запись, — дневник, — напечатанный по-русски в тот же год в нашем журнале, переведенный с рукописи по-французски и сам могущий представить почти целую книгу. Скажу только, что благодаря новым нашим «духовным» связям, мы попали на озеро, к Китежу, как раз в ту июньскую ночь, когда там каждый год совершается особое ночное собрание народа, — староверов-раскольников, духоборов, сектантов всякого толка... когда приезжает туда и окрестное духовенство — не специальное миссионерство, а для разговоров и народных споров. Вот эту ночь — всю — мы там, на Озере, и провели, на холмах местных, в которые когда-то превратились золотоглавые храмы «града Китежа». Обычно предание искажается, говорят, что при приближении татар, город с его храмами погрузился в озеро. Но предание не таково. Китеж и храмы его превратились в холмы на берегу Светлояра, и скрылись от глаз татар. С тех пор лишь раз в год, в ночь на 21 июня, на заре, могут достойные — говорит предание — видеть в светлых водах озера не отражение холмов, но отражение подлинного города Китежа и слышать, скользящий по воде, звон его колоколов.

Впрочем, для интересующихся более оперой «Град Китеж» (знакомой Европе) нежели русскими преданиями, — это все равно.

Наш возвратный путь из далеких лесов и болот российской глуби, через Ярославль и Ростов Великий, — тоже был интересен, — в своем роде, — и незабвенен.

Вернувшись мы нашли дело журнала совсем на мази. Первый номер, с первыми отчетами Собраний,

вышел в ноябре. И вот зима эта (1902—1903 г. г.) была у нас полна работой по журналу, иногда очень тяжелой, так как дело приходилось иметь с двумя цензурами, светской (гражданской) и духовной, причем последняя была особенно сурова, — и, конечно, Собраниями.

Отчеты надо было просматривать внимательно, сообща, а Розанова — заранее цензурно исправлять, ибо он понятия не имел, что допустимо, — что нет. Духовный цензор ведь читал все, вплоть до стихов Сологуба и Блока (он у нас печатал первые свои стихи, часто рецензии).

Была и третья у нас цензура, — не предварительная, правда, а карательная: цензура общей радикальной прессы. Но мы на это не обращали внимания. Дм. Серг., несмотря на своего «Петра и Алексея», которым очень занялся после путешествия, принимал в журнале самое активное участие. Его «Гоголь» пошел, конечно, в первых же книгах.

А что же «Мир Искусства»?

С ним начинался разлад. Даже с Философовым; он был, правда, все время болен, но не так, чтобы болезнью можно было оправдать его явное отчуждение от нас и от наших дел. Да к тому же и литературная часть Дягилевского журнала естественно както сократилась, во-первых потому, что большинство молодых писателей и поэтов перешли в наш журнал, а во-вторых и благодаря Дягилеву, который уже смотрел дальше, в свою сторону, — деятельности чисто художественной. Еще не балетной, в то время, но музыкальной, оперы, главным образом. Журнал для него был только необходимым этапом.

Благодаря тому, что Сергей Волконский, друг Дягилева, был в эту зиму директором Импер. Театров, на Александринской сцене был сделан опыт постановки греческих трагедий — «Ипполита» и «Антигоны» в переводе Дм. С. Мережковского. Опыт удачный, но не имевший последствий, так как в скорости Волконский, близким помощником и неофи-

циальным советником которого был «новатор» Дягилев, со своего поста ушел из-за какой-то ссоры с балетом, кажется. Дирекция Имп. Театров держалась старых традиций, никакое «новаторство» там, действительно, было неприемлемо и невозможно.

Дягилев пока остался лишь со своим журналом, который уже не был в расцвете, как ранее.

И я помню, как однажды, уже в самом начале 1903 года, к нам явилась почти вся группа Дягилева, с ним во главе, и со смутными предложениями как-то «соединить» оба журнала, — наш «Новый Путь» с «Миром Искусства», соединить их в один. Подробностей разговора я не помню (это у меня и записано не было), но затея была явно неудачна, так что один из группы вдруг сказал Дягилеву: «Ты просто хочешь, чтобы они свой журнал прекратили, почему ты думаешь, что они на это согласятся?»

Мы и не соглашались, конечно, несмотря на крайне трудное наше положение, и тем дело и кончилось.

Собрания продолжались, очень живо. В то время вышло так называемое «отлучение» Льва Толстого от церкви (или, как говорили иерархи «признание его от церкви отпадшим»), что дало тему разговоров в двух заседаниях. А в третьем (кажется) Сергей Волконский прочел реферат о «Свободе Совести».

С духовной цензурой у нас шло все хуже и хуже, отчетов, всячески укороченных и «приглаженных», она почти не пропускала. В очень серьезном труде известного В я ч е с л а в а И в а н о в а везде, где упоминалось «православие», надо было написать «католичество». Можно себе представить, что из этого получилось. Не пропускались некоторые мои статьи, чисто литературные, и даже... какие-то стихотворения Сологуба. К счастью, секретарь нашего журнала (он же секретарь и Собраний) человек энергичный, даже грубоватый, и никакого к религии отношения не имеющий (из старых «интеллигентов», но без всякого уже интеллигентского «фанатизма»),

сдружился с лаврскими монахами из не имевших ni foi, ni loi и ездил к ним с переговорами, часто «выторговывая» у них то или другое.

Но наконец... случилось неизбежное: 5 апреля (1903 г.) светская (синодальная) власть запретила наши Собрания, вопреки, будто бы доброй воле митр. Антония. Говорили, что поводом был «донос» одного из сотрудников «Нового Времени», Суворинской реакционной газеты. Но, думается, просто иссякло терпение Победоносцева и он сказал «довольно».

Запрещены были, конечно, и недопечатанные отчеты Собраний — отчеты последней зимы. Запрещены были даже (молчаливо) и новые хлопоты. Да и так сразу было видно, что они бесполезны. Не могу сказать наверное, к этому ли времени, или более позднему, относится свиданье Дм. С-ча со всесильным обер-прокурором синода Победоносцевым, когда этот крепкий человек сказал ему знаменитую фразу: «Да знаете ли вы что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек». Кажется Д. С. возразил ему тогда, довольно смело, что не он ли, не они ли сами устраивают эту ледяную пустыню из России... во всяком случае что-то в подобном роде.

Так окончилась для нас зима 1902 - 1903 годов. Журнал еще продолжался. С лицами из духовного мира, с некоторыми (между прочим с двумя профессорами Дух. Академии, Карташевым и Вас. Успенским) мы не порывали отношений. Иные (под страшной тайной и под непроницаемыми псевдонимами) еще писали в нашем журнале.

С Дягилевским кружком было хуже. Да еще ранее запрещений Собраний, Дягилев с Философовым уехали в Италию.

Мы, я и Д. С., на это лето уехали опять под Лугу, но опять на другую, довольно неприятную дачу. Моя семья за эти годы очень уменьшилась. Ба-

бушка умерла, когда мы вернулись из одного из наших путешествий в Италию, на дачу на Сиверской, (там жил с нами и с моей семьей и брат Д. С-ча, Сергей, бактериолог), в то же лето умерла и незамужняя сестра моей матери, которая всегда жила у нее.

В 1903 году, под Лугой, кроме моей матери и второй сестры, Анны, готовившейся к выпускным экзаменам из Медицинского Института, не было никого: две младшие сестры, которые теперь обе были в Академии, уехали в Пятигорск, вернулись только на дачу в августе.

Хотя вблизи жила Поликсена Соловьева, с которой мы были дружны, и на дачу часто приезжали друзья — духовные профессора Карташев и Успенский, мое лето было грустное. Чувствовалось, что журнал, в котором я столько работала, недолговечен. Чувствовалось, что вокруг, в России, назревает что-то неблагополучное. Дм. Серг. целиком ушел в работу над «Петром и Алексеем». Но роман еще далеко не был готов.

По поводу этого романа у нас опять явились споры, наши «супружеские сцены», вроде первых, насчет «Леонардо» и «небо вверху — и небо внизу». Но тут дело уж не шло о «двойственности». В этом, конечно, страшном, столкновении отца с сыном, Дм. Серг. — мне казалось — все больше и больше берет сторону Алексея. Замечалось это главным образом, когда он рисовал фигуру Петра. Да, отчасти и Алексея, который, мечтал, сделавшись царем, Петербург покинуть, переселиться в Москву, где и жить потихоньку, по старинке, Богу молиться — (бороду, конечно, отрастить...) Я понимала, что сам-то нежный, бедный, слабый Алексей может больше привлекать к себе, нежели грубый, даже для своего времени, неугомонный Петр. Но ведь дело не в симпатии, а в правде. Я протестовала против неумеренного подчеркивания грубости Петра.

Я уже не плакала, как в юности, а потому споры наши были горячее и длиннее. Никто из нас не же-

лал сдаваться: Дм. С., — никогда сразу не сдавался в подобных наших спорах; но через некоторое время, если я была права, конечно,— не боялся согласиться, что неправ он. И тогда тоже так вышло, и сцены с Петром он переделал.

Мне хочется сказать здесь вот что: моя запись имела бы мало цены, еслиб она сплошь была одним дифирамбом Д. С. Мережковскому. Наша нерушимая взаимная привязанность (чтобы не сказать лишний раз слова «любовь») — была слишком истинной, имела другие основы, чем какая-нибудь ослепляющая страсть или бездумное благоговение перед знаменитым супругом (у меня). Я хочу дать возможно полный образ человека со всеми его чертами, а там пусть другие разбирают, какие из них положительные, какие отрицательные.

Я за него, за этот образ, не боюсь: мне-то, действительно (и кажется, единственно) знавшей и видевшей человека, со всем, что другим в нем было неприметно, — слишком ясно, что левая чашка, даже человеческих весов никогда не перевесит в нем правой.

Я сказала раньше, что у него никогда не было «друга», — как это слово понимается вообще. Отчасти (я стараюсь быть точной) это шло и от него самого. Он был не то что «скрытен», но как-то естественно закрыт в себе, и даже для меня то, что лежало у него на большой глубине, приоткрывалось лишь в редкие моменты. Его всегда занимало что-нибудь большее, чем он сам, и я не могу представить себе его, говорящего с кем-нибудь «по душам», интимно, — о себе самом. Или даже выслушивающим такие откровенности или жалобы от другого о себе. Это было ему совершенно несвойственно, и как-то чувствовалось, должно быть, и принималось за холодность, безучастие, невнимание или недоверие. Иногда за недоброту. Но я-то знала его к людям доверчивость, а что касается доброты, то она, уже совершенно никому неизвестная, кроме меня, да и со

мной бессловная почти, — нередко возбуждала во мне, как и доверчивость, — то зависть, а то досаду, ибо я этими свойствами в такой мере совсем не обладала. В нелюбви говорить о себе когда бы то ни было, интимно с кем-нибудь, или при каких-нибудь условиях, печатно, — мы с ним совпадали. Но вести интимную беседу с другим — об этом другом, — я все-таки могла и умела, тогда как ему и это не было по природе свойственно. Мне кажется, что вообще нежелание говорить о себе обусловлено известной скромностью, или чем-то вроде, противоположном suffisance. Более далекого от всякой suffisance, более скромного человека-писателя, чем Д. С. Мережковский, я никогда не встречала. Но он слишком громко и смело говорил всегда о «своем» (как и я), т. е. о том, что считал верным и нужным знать другим, что, обычно, никто о его этой «скромности» не подозревал, — или просто не думал. Он очень радовался когда удавалось пристроить ту или другую книгу в какой-нибудь стране, радовался и тому, если за нее хорошо было заплочено (постоянной нашей бедностью он очень тяготился, выдавать его за особого героя, или святого, довольного своей нищетой, я вовсе не намерена), по детски радовался, когда человек, ему приятный, хвалил что-либо, им написанное, на меня сердился, когда я недостаточно пространно говорила с ним о только что написанной вещи, или долго спорил, если я с чем-нибудь не соглашалась, — но о своей, в последние десятилетия «знаменитости» не только никогда не думал, — просто ею не интересовался. Частные письма со всякими hommages даже не сохранял, да и рукописей своих не сохранял. Если кто-нибудь писал ему, что он его «ученик» — он почти сердился, говорил, что никаких «учеников» не желает иметь и роли «учителя» разыгрывать не хочет.

Может быть, я не спорю, в этой небрежности к собственным работам, когда они были уже кончены, в неответности людям, подходившим к нему издале-

ка, было преувеличение (не искусственное). Было и невнимание к отдельным, неизвестным, лицам, искренно к нему обращавшимся; но так оно было и так оставалось; я могла лишь кое что подправлять, кое что сохраняя, иногда отвечая от его имени людям, которым мне нравилось. Особенно не терпел он «поклонниц». Да их имелось у него не особенно много.

Вообще я нередко играла роль моста для кого нибудь к Мережковскому - писателю. Не буду скрывать, что мосты часто проваливались. По моей вине, или по вине по мосту идущего, — но никогда, кажется, не по вине — его.

Однако, мне надо вернуться к 1903 гоу.

———————

Когда моя мать, в августе, вернулась на дачу с «девочками» (младшими сестрами), которых она, будто бы, ездила встречать в Петербург, оказалось, что ездила они туда не только для этого, а посоветоваться с докторами. Мы узнали впервые, что у нее этим летом было несколько сердечных припадков. Доктора нашли у нее, кроме того, начало сахарной болезни, назначили режим, и скрывать свое нездоровье она больше уже не могла. Но она так говорила о нем, с такой почти веселой простотой, что мы, все четыре сестры, любившие ее страстно, всегда в тревоге при ее малейшем гриппе, на этот раз поверили, что это временное недомоганье, которое скоро пройдет. Несмотря на то, что она всегда старалась держаться «старухой» (мой отец умер когда ей было всего 32 года, и с того дня она не выходила из черного платья, даже летом), она казалась моложе своих 54 лет (говорю об этом годе).

Успокоенные ее уверениями, мы все провели конец дачи даже веселее. Сестры рассказывали о Пятигорске, приехали, кстати, и наши «профессора» — они давно знали мою семью и всех сестер.

Дмитрий С. чаще спускался вниз из своего ра-

бочего кабинета и гулял даже вместе со всеми. Его «Петр» в это время уже близился к концу.

Однако, в сентябре мы все двинулись в город. Дела с журналом было плохи, надо было что-то придумать, или его закрывать.

«Мир Искусства» больше не выходил, Дягилев начинал свои другие дела; они с Д. В. Философовым вернулись из-за границы; с последним мы изредка встречались, но о начинавшейся близости уже не было и речи. Его мать, известная «общественная деятельница», была теперь ярая «теософка». Она приезжала к нам, часто звала к себе и мы, хотя оба и тогда к теософии относились крайне отрицательно, бывали у нее, где раз даже видели (и слушали) знаменитую Анни Безант, беловолосую и сухую старуху (она скоро потом умерла).

По возвращении в Петербург, с дачи, мы позвали к моей матери нашего всегдашнего доктора, Ч.*), которому верили. Он тоже не нашел, как будто, положение серьезным, хотя уложил ее в постель. Ее и сестер квартира была тогда в нескольких шагах от нашей, в переулке близ соборной площади, на которой находился наш вечный «дом Мурузи». Только мы жили теперь не в пятом, а в т р е т ь е м э т а ж е. Я заходила к маме по несколько раз в день, конечно, — по дороге из редакции, где было столько дела. Заходил со мной, а иногда и один, — Дм. Серг. Он очень любил мою мать (впрочем, ее все любили, и родные и сторонние, и даже не могу назвать, кто любил «особенно» — все, кажется, «особенно»).

«Девочки» ухаживали за ней ночью (когда повторялись ее припадки), днем они уходили в Академию, но дома была старшая, Анна, готовясь к экзаменам.

---

*) Чигаева. — В. З.

9 октября моя мать так же спокойно, почти весело, разговаривала со мной, с улыбкой жаловалась, что недавно выкурила свою последнюю папироску — «больше не позволяют» (она курила — со смерти отца — крошечные, тоненькие папироски, спокойно бросила курить, но потом, видя, что она делается немного нервна, мы же сами ей эти папироски делали.)

Утром 10 октября наша няня (она теперь жила у нас) быстро вошла ко мне в комнату и, закрывая окно (я всегда, и зимой спала с открытым окном), проговорила: «Маме дурно! Маме дурно!»

Через пять минут я была уже там.

Она умерла.

Я через сорок лет помню каждую подробность, как будто это было вчера, или сегодня утром. Но не в них дело. И они принадлежат только нам, сестрам, из которых одной уже нет, а другие...

Важно здесь вот что: в эти незабвенные, до дна страшные минуты — часы — дни — недели — только он, Дмитрий С-ч, мог нам, всем четырем, помочь их выдержать достойно и светло. Только он сделал это, положив всю силу духа, и это была, действительно, громадная сила. Как он это сделал — не буду говорить, но я поняла. конечно, что с ним была как будто, и собственная его мать (она, впрочем, и никогда его не покидала).

Достаточно, если я скажу, что на монастырском кладбище, когда зарыли могилу, мы все друг с другом поцеловались, как на Пасхе. со словами: Христос Воскрес.

Но не мы одни, сестры, — почувствовали, узнали эту помощь: то же и другие, скоро приехавшие; московская кузина наша, которую мы любили, племянница моего отца; она, не зная матери, любила мою горячо. И другая «счастливая молодая Соня» — и она приехала с Кавказа... да я не помню всех. кто был тогда близко-близко около нас пятерых.

И неожиданно — Д. В. Философов, нас покинувший, — его помню вблизи все время.

Жизнь перевернулась.

Две младшие сестры мои переселились к нам, в нашу, пока маленькую, квартиру. Третья, наиболее бурно любившая мать, и самая из нас более нервная — оказалась такой сильной, что выдержала свои медицинские экзамены и уехала на время в Пятигорск, к Сониной семье. Эта сестра моя всегда была одиночкой, а две младшие — всегда неразлучно вместе.

Жизнь перевернулась — но все-таки требовала своего. Мы все это знали, однако сразу вернуться к повседневности, к начатому — неконченному, было трудно. Даже Дм. С-чу, и ему особенно, так много потратившему душевных сил. Он был измучен, почти болен. И мы вчетвером уехали отдохнуть в финляндские снега — на Иматру. Д. Философов нас провожал, он же встретил, когда мы вернулись... Именно тогда почувствовалось, что он уже больше нас не покинет. Дм. С. очень этому радовался. Но чувствовал также, что он, Д. Ф-в, переживает и свою какую-то трагедию, — мы о ней не говорили, конечно, ни о чем его не спрашивали.

Скажу тут, кстати о нем. Ведь он был спутником нашей жизни и наших дел в течение пятнадцати лет, вместе с нами бежал из России в Польшу в 20-м году, и если остался в Варшаве, когда мы, ввиду заключения Польшей мира с большевиками, уехали в Париж и наша «тройственность» была разрушена, то отчасти, косвенно, посодействовала тому я, а главная причина лежала, конечно, в его природе и склонности — к деятельности общественно-политической. Еще один из членов «дягилевского» кружка, очень горячо к нему относившийся, сказал мне однажды, что у «Димы»-то натура Анны Павловны, и наследственность когда-нибудь скажется. Анна Павловна, его мать, была (как уже сказано) очень известной «общественной деятельницей», и лишь в последние годы своей жизни увлеклась теософией.

Познакомились мы с Д. В-чем очень давно, у известного профессора Максима Ковалевского, на Ривьере, когда Д. В. был еще студентом, но потом почти не встречались до «Мира Иск.», до «дягилевского» кружка, где он играл такую роль и был уже «эстетом».

Очень высокий, стройный, замечательно красивый, — он, казалось, весь, до кончика своих изящных пальцев, и рожден, чтобы быть и пребыть «эстетом» до конца дней. Его барские манеры не совсем походили на дягилевские: даже в них чувствовался его капризный, упрямый, малоактивный характер, а подчас какая-то презрительность. Но он был очень глубок, к несчастью вечно в себе неуверенный и склонный приуменьшать свои силы в любой области. Очень культурный, широко образованный, он и на писанье свое смотрел, не доверяя себе, хотя умел писать свои статьи смело и резко (особенно в последнее время, в Варшаве, где у него всегда имелся свой собственный журнал или газета). Он был не наносно, а природно религиозен, хотя очень целомудрен в этом отношении. Дм. Серг.-ча, как мыслителя и писателя, он сразу понял, его идеи не могли его не пленять. В то время, как один из дягилевского кружка сказал мне раз, очень серьезно: «Нет, Розанов наш учитель, вот кого мы должны слушать!» — Д. В., очень Розанова ценивший, никогда не признавал и не мог бы признать такого «учителя». Он, впрочем, знал, что Д. С. и себя не считал чьим бы то ни было «учителем», а хотел видеть в каждом близком — равного.

Но самый фон души у Дм. Вл-ча Ф. был мрачный, пессимистический (в общем) и в конце жизни в нем появилось даже какое-то ожесточение.

Он подошел к Д. С. ближе чем кто-либо и любил его, конечно, более нежели меня. Ко мне он относился всегда с недоверием — к моим «выдумкам», как он говорил, называя так разные мои внезапные «догадки», которые, однако, нередко и Д. С. принимал, как свое.

Его привязанность к Д. С-чу, была, однако, такого рода, что мне понятно теперь, почему, впоследствии, она, временами, как бы падала: он подходил к нему, человеку, со слишком большой требовательностью, не считаясь с ним, какой он был, не довольствуясь тем большим, что он имел, не прощая ему ни малейшей слабости, или даже просто какого-нибудь личного свойства, которое, по его мнению, Мережковский не должен был иметь. Я напрасно старалась тогда объяснить нашему другу, что если принимаешь человека — то надо принимать его в с е г о, и видеть тоже его всего, как он есть, хотя бы он и не во всем был с тобою схож. Иногда он меня понимал, иногда нет...

Впрочем, я не сомневаюсь и теперь, что Д. С-ча любил он искренно, и даже нас обоих. Как и мы его. За пятнадцать лет совместной жизни можно было в этом убедиться.

Конец 1903 года. Дягилевского кружка,— (Мира Иск-ва) — в прежнем виде больше не существовало. Наш журнал тоже грозил кончиться: с запрещением Собраний Перцов от редакторства отказывался, да и последние средства иссякли. Чтобы продолжать — нужен был новый редактор (подписывающий журнал и в наших идеях, конечно). Кроме того нужна была какая-нибудь серьезная вещь для напечатания, более или менее заменяющая отчеты о Собраниях. Сотрудники же наши все были молодые, начинающие, и нам сочувствующие, во всяком случае — без имен. И все они (как и мы) писали без гонорара. Платили мы только действительно нуждающимся — и в наших грошах. Да и с гонораром тогдашние «имена» к нам не пошли бы, а, главное, мы и сами бы их не взяли. Это, ведь, были — во-первых Горький и подгорьковцы, а затем Л. Андреев... и т. д. «Горькиада» расцвела в этих годах особенно. Моя статья о Горьком в «Нов. Пути» так характерна, и так тщательно и точ-

но предсказывает в 1904 г. его роль в грядущем царстве большевизма, что я даже сделаю из нее краткие выписки, говоря о Горьком.

Много сказать о нем, как о Розанове, Блоке, Брюсове и др. я не могу. Этот человек встречался нам не часто, хотя и редких встреч с ним было довольно, чтоб понять его в полноте. Да имелась его «литература», а, главное, шум и крики вокруг него, даже вопли — его последователей. Они встречались и по улицам ввиде пьяных оборванцев, протягивающих теперь руку не как «студента» или «офицера в несчастьи», а на каждом шагу, как «па-а-следователи Максима Горького». Но о Горьком скажу дальше (а пока отмечу, что дело наше с журналом устроилось — благодаря, конечно, Д. С-чу: он уже имел теперь «имя» (не горьковское, конечно, куда-там!), он мог бы пристроить свой роман «Петр и Алексей» где-нибудь весьма недурно, но он решил отдать его целиком «Новому Пути», — просто подарить. Роман этот («Петр и Алексей», третья часть трилогии «Христос и Антихрист») должен был начаться в первой январской книжке журнала 1904 г.

Но Д. С. сделал для «Н. Пути» и больше. Анна Григорьевна Достоевская дала ему ненапечатанные заметки из записной книжки Феодора Михайловича (они тоже пошли в январской книжке, — увы, с цензурными пропусками, с целыми строками точек!) И, наконец, Д. С. сделал усилие, которое, к общему нашему изумлению, увенчалось совершенно неожиданным успехом: было позволено допечатать оставшиеся отчеты запрещенных Собраний. Вот тогда-то очевидно и был Д. С. у грозного Победоносцева.

Журнал свой год начинал прекрасно, объявление было пышное. Перцов, при этих условиях, согласился остаться редактором еще на полгода. Январская книжка, действительно, вышла с начала до конца, очень интересной.

Кроме прочего, там я начала печатанием свой

дневник — «Путешествие к невидимому граду Китежу», а в хронике как раз и была статья о Горьком, — о нем и о ней я и хочу сказать сейчас два слова.

Горький (Пешков) появился в Петербурге и в литературе еще в бытность «Северного Вестника» с Флексером (Волынским) и Гуревич. Там он напечатал свой первый рассказ «Мальва», который, м. б., и не обратил бы на себя особого внимания, если б сразу не стало известно, что это человек «из народа», из «страдающих низов», и «что он с детства пережил!» и «как он выбился!». Ну и все прочее. «Мальву» нашли «кишащей блестками гения» (тогдашний язык журналистов) и с непонятным упоением повторяли начальную фразу: «море смеялось...»

Однажды редакцией «Северного Вестника» был устроен пышный обед, или ужин — не знаю, по поводу чего, — но превратился он в первое громкое чествование молодого Горького. Я даже не помню хорошенько, где это происходило, в частной чьей-то квартире, в угрюмой, очень большой зале на пятом этаже. Народу было множество, всякие маленькие и средние писатели «честного» лагеря (интеллигенция, стоявшая «на посту», ягоды и тогда уже не нашего поля) — Флексер еще не начинал свою негативную кампанию против застарелых традиций.

Герой дня (или вечера) был высокий, сутуловатый, некрасивый малый в синей косоворотке с пиджаком поверх (эта его косоворотка кого не умиляла долгие годы), держался он мешковато и скорее скромно. Он такого торжества, очевидно, не ждал. Но начались речи, одна за другой, и все, точно по сговору, о новоявленном таланте, о Горьком. Когда мы увидели, что всех ораторов не переслушаешь (да уж и поздно было, давно кончился обед, сидели кое-как, вольно) мы с Д. С., воспользовавшись перерывом, потихоньку прошли в переднюю и спустились по бес-

конечной лестнице в швейцарскую. Вдруг слышим чьи-то скорые, скорые шаги по лестнице-вниз. Горький! И сразу к нам (почему — до сих пор не понимаю). Лицо растерянное, потное, волосы взлохмаченные и уж тогда — его отрывистый, как бы лающий говор: «Что же это? Неужели я... и правда... так... такой талантливый?..»

Не помню, что мы ему ответили, может быть даже ничего не ответили от неожиданности.

В последующие годы мы с ним, м. б., случайно встречались, а м. б. и нет (не в «Мире же Иск.» его можно было встретить). Но все, что он далее писал (очень много) мы читали и за его ростом и всей его деятельностью следили, что было и не трудно, так она была на виду. К 1904 г. уже имелось, для него созданное, издательство альманахов, шли его пьесы, каждая его строчка вызывала восторг в прессе. Одно время другой писатель, Л. Андреев, стал, было, оспаривать его лавры, но, после первого рассказа, который был прост и талантлив, ушел в опасную сторону, и хотя тоже пользовался популярностью не меренной, но до горьковской не дошел. Был он очень безвкусен, безвкуснее даже самого Горького, а в общем был в той же линии. (Сейчас его уже и читать нельзя.)

Очень хорошо знали мы, через одного близкого ему друга, и жизнь М. Горького. Писатели (м. б. только русские, не знаю), имеющие головокружительный успех, живут, обычно, окруженные «свитой» — поклонников, поклонниц, или просто приживальщиков всякого рода. Со свитой жил и Л. Андреев, не мог без нее обойтись, — как и Горький, конечно, — где бы он и когда ни находился. Оба они очень следили за ростом своего успеха, выписывали все, что о них появлялось в печати; совершенно естественно, что те, кто осмеливались их критиковать, считались личными врагами. Мы, с нашим религиозным уклоном, считались врагами и без того. В «Нов. Пути» мы оставляли обычно их в покое, — с литературно-эсте-

тической стороны, просто не имея к Горькому, до поры до времени, интереса.

Но интерес он имел, или возымел, когда, к началу столетия, уже заслонен был, в России, как писатель — Горький — деятелем Горьким. Наши критики и читатели, потерявшие, в огне общественных страстей, всякое представление о литературной перспективе, привыкли говорить: Горький и Толстой, Горький и Гете... и т. п. Но не это важно. И в январской книжке Нов. Пути 1904 года я очень серьезно занялась Горьким. Разобрав, с возможным беспристрастием, всю горьковскую литературу, отметив наблюдательность и талантливость, среднюю, писателя, я говорю далее:

... Горький любопытен не как писатель, «горкиада» — не как литературная эпоха. Он важен как *пророк* нашего времени, и важна его *проповедь*, его и его учеников*).

Далее я говорю о европейской культуре, которая выросла, исторически, на почве христианства (чего никто из культурных людей никогда и не оспаривал), подчеркивая, во что теперь превратился этот первоначальный исток:

..... «но жить еще можно, человек еще человек. Нужен резкий толчок, чтобы выкинуть людей сразу в безвоздушное пространство... Этот толчок, этот несущий *человеку* окончательное, смертное освобождение фонтан углекислоты — проповедь Максима Горького и его учеников. Она освобождает человека от всего, что он когда-либо имел: от любви, от нравственности, от имущества, от знания, от красоты, от долга, от семьи, от всякого духовного или даже телесного устремления и наконец от всякой активной воли. Она не освобождает лишь от *инстинкта* жить. Что остается после всех этих освобождений? Не человек, конечно. Зверь? Даже и не зверь. От зверя — потенция движения вверх. А

---

*) Курсив везде первоначального текста.

тут, в истории, уже поднявшись вверх — волна упадет от человека в кого-то, вернее — во что-то слепое, глухое, немое, только мычащее и смердящее...»

«Всякая проповедь судится в своих крайних точках, в том, к чему приводит, если итти до конца. Вот я и указываю эти последние точки, цель пророка Горького и его учеников. Уклон же крут, цель, пожалуй, и не далека. Полчища освобождающихся, полуосвобожденных, бывших людей все увеличиваются. Мы доживем, пожалуй, что дети, юноши, отцы начнут сдирать с себя одежду, полезут в грязь, станут резать и подкалывать любого, даже без нужды и смысла... плоскость слишком наклонна. Человек потеряет себя, — ничего не останется от человека... От человечества?»

«Таковы цели, к которым стремятся наши общественники, провозгласившие Горького своим пророком «Есть ничто, nihil, и Горький его пророк!», кричат они в ярости...»

Дм. Серг. находил тогда мою статью преувеличивающей — не смысл проповеди, но самого «пророка», который — говорил он — хоть и многих «малых сих» соблазнил, но не так силен, чтобы соблазнить всех. С этим нельзя было не согласиться, ведь, действительно, не он один «со учениками» творцы русской катастрофы. Но все же катастрофе этой весьма посодействовал.

Притом Горький имел одну несчастную любовь: он безнадежно воздыхал по..... культуре. Безнадежно, потому что как раз эта Прекрасная Дама ему не отвечала взаимностью. И, кажется, он это чувствовал. Мы, иногда называли его голым дикарем, надевшим, однако, цилиндр. Для этого у нас было не мало оснований.

Но о том, как мы, через несколько лет снова с Горьким встретились, и не раз, я скажу впоследствии.

Весной 1904 г. мы оба, очень усталые, решили поехать отдохнуть в Германию, в Гомбург или куда нибудь поблизости. Младшие сестры мои, жившие с нами, уезжали в Пятигорск, в семью кузины. Вернуться хотели к августу, чтобы пожить еще с нами на даче, какой-нибудь близкой, в Гатчине, например.

Мы поехали заграницу через Москву, так как было условлено ранее, с молодыми родственниками Льва Толстого, что мы из Москвы поедем в Ясную Поляну. Д. С. не хотел являться неожиданно, нужно было узнать сначала, как и когда можно, и можно ли. Я забыла фамилию этих родственников, — один из них приходил к нам и все было заранее условлено.

Эта наша поездка в Ясную Поляну тоже подробно мною описана, так что повторяться не буду. Отмечу только одно, что, кажется, в книге не записано.

Утром, в день нашего отъезда (мы пробыли там только сутки) Л. Толстой поднимаясь по внутренной лесенке в столовую, к чаю, вместе с Дм. С-чем, сказал ему:

— Как я рад, что вы ко мне приехали. А то мне казалось, что вы против меня что-то имеете.

«И он удивительно хорошо, — рассказывал мне потом Д. С. — посмотрел на меня своими серыми, уже с голубизной, как у стариков и маленьких детей, глазами».

Л. Толстой, оказывается, читал все, — не только о себе, но вообще все, что тогда писалось и печаталось. Даже и наш «Новый Путь» читал. Наверно знал он и дебаты в Собраниях по поводу его «отлучения», знал и книгу Д. С-ча «Л. Толстой и Достоевский».

Скажу по поводу этой книги: конечно, Достоевский должен был быть и был ближе ему, нежели Толстой. Поэтому, вероятно, он и перегнул немного в его сторону, и сказал кое-что несправедливо насчет Толстого. Это было давно, и с тех пор, не меняя своего мнения о «религии» Толстого, Д. С. немножко иначе стал видеть его, как человека с его трагедией.

Он много писал о нем отдельных статей после его смерти, одна, помнится была о нем и о его тетке-матери и называлась «Святой Лев».

Бодрая, живая, энергичная Софья Андреевна тоже нам очень понравилась. Она была человек недюжиный, и когда разыгралась между ними известная трагедия, мы не удивились: иначе и быть не могло. Особенно это становилось ясно, если увидеть знаменитого Черткова, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Этот «подколодный ягненок», как мы его называли, был у нас однажды, в Петербурге, во время первой войны, с каким-то еще толстовцем. Очень неприятная фигура был этот «любимый» ученик Толстого.

Из Ясной Поляны мы, опять через Москву, уехали заграницу на Вену, да в Австрии и остались, пленившись прелестным местечком, полугорным, близь германской границы, которое называлось Берхтесгаден.

Среди цветущих полей, — они почему-то назывались «епископскими» — стоял красивый белый дом. Он оказался пансионом, очень тихим, и там мы очень хорошо, гуляя, провели время до августа, когда вернулись в Россию. На даче, в Гатчине, долго жить не пришлось: осень началась хмурая, дождливая. Да в городе ждало дело: журнал. Сестры вернулись еще на дачу. Мы переехали с ними на новую квартиру, в том же доме Мурузи, но более просторную, т. к. «девочкам» нужна была мастерская. В Гатчину к нам приезжал гостить Д. В. Философов, — он все ближе сходился с нами и с моими сестрами. Японская война очень мало занимала русское общество. Обычно не сомневались, что громадная Россия не может же не победить крошечную Японию. Лишь с началом зимы (1904-1905) кое-где возникли сомнения, а кроме того — пошли слухи, что где-то что-то готовится и что в Петербурге, в низах, — неспокойно.

Тернавцев, продолжавший нас посещать, рассказывал о каком-то священнике Гапоне, читающем,

вернее — говорящем речи среди рабочих, хвалил его уменье себя поставить, но в общем не был от него в восторге. Рассказывал, что появился, кроме того, полицейский — не помню точно — но какой-то правительственный чиновник, или служащий, Зубатов, который пытается создать свое движение среди рабочих, против Гапона, что рабочим и с этой стороны что-то обещают... Я всего не припомню, знаю лишь, что была как раз в это время, так называемая, «зубатовщина».

Журнал наш продолжался. В Москве в это время появился журнал «Весы» с поэтом Брюсовым во главе, и там многие из нас были объявлены сотрудниками. С Брюсовым, недурным поэтом, которого потом включили в число символистов, хотя он был прямой эстет новой формации, с тягой в европеизму, мы были тогда в хороших отношениях*).

В наш журнал мы включили новый отдел — «Из частной переписки» — и он оказался очень интересным: много писало нам писем духовенство, из тех, что были взбудоражены Собраниями и не успели сказать на них всего, что накопилось у них за годы мертвого молчания.

Из Москвы часто наезжал Боря Бугаев (Андрей Белый), сделавшийся нашим другом (насколько он мог быть чьим-нибудь «другом») — и обычно останавливался у нас; «дружил» тогда с Блоком, а с Блоком мы в это время уже были в дружбе настоящей. Моя сестра (Татьяна) написала его портрет (он приложен к советскому изданию «Судьба Блока»). Бакст, тоже у нас, написал — очень характерный — портрет Андрея Белого для ближайшей выставки.

Дм. Серг. в это время, задумывая новую трилогию, занимался эпохой Екатерины-Павла-Александра I. Два последние его особенно интересовали.

Он вел все тот же свой образ жизни: утром — работа, прогулка, после завтрака — отдых с книгой

*) О Брюсове у меня тоже есть специальный очерк, а потому здесь я о нем говорю лишь мельком.

на кушетке, в кабинете, еще прогулка — в Летний сад, который был от нас очень близко... Зима стояла морозная и снежная.

Порядочный мороз стоял и в день знаменитого 9/22 Января. Сквозь пушисто-белые деревья Летнего Сада, Дм. С. видел большой красный круг солнца — без лучей. Бывают такие морозные дни, когда нет облаков, но тонкий туман обволакивает землю и небо, не съедая солнце, а только его лучи.

Это было воскресенье, когда ко мне, обычно, приходил народ, знакомые студенты, барышни... А утром, как раз, приехал и Боря (Андрей Белый) из Москвы.

Однако, сейчас после завтрака, в этот день, всякие наши приятели стали приходить в непривычном множестве, и даже полузнакомые, помнится, которые у нас раньше не бывали. Приносили самые волнующие рассказы, и разные, так что трудно было разобраться, что же такое случилось.

Выяснилось, наконец, что поп Гапон повел, из-за Нарвской заставы (рабочий квартал, где он и говорил свои речи) большую депутацию рабочих — к Царю, с петицией (требованья, говорили, очень скромные). Что к Царю они, конечно, не дошли (да его и не было в Петербурге), но на Набережной, и еще раньше, кажется, группу стали расстреливать, как преступную демонстрацию, посланные навстречу войска, и что на улицах уже лежат убитые и раненые, даже дети и женщины — депутация, ведь, была мирная, и множество семей рабочих ее сопровождали.

Д. В. Философов тоже пришел к нам, и, хотя сам он, как и большинство рассказчиков, ничего не видал, но что-то знал, из верных источников, и толково все разъяснил.

Можно себе представить, какая у нас началась буча. Все были возмущены. Да и действительно: расстреливать безоружную толпу — просто от слепого страха всякого сборища мирных людей, не узнав даже хорошенько, в чем дело...

Приходили все новые люди, с новыми известиями... Многие остались у нас обедать, а вечером, кажется по мысли Д. Ф-ва (говорю «кажется», ибо не помню точно, чья была эта мысль) мы решились, мы трое, я, Д. С. и Д. В. Ф., да и А. Белый с нами, и еще какой-то малоизвестный, но очень энергичный студент (если не было их два) — отправиться прекращать спектакль в театре, ввиде протеста, уже настоящей «демонстрации».

Сказано — сделано. Мы едем, конечно, в Александровский (Императорский) Театр. Расселись все в разных местах партера. Шла какая-то пьеса Островского, с известным артистом Варламовым.

«Протест» начали наши студенты, мы его поддержали, а за нами и большинство публики. Она стала выходить, и занавес спустили. Говорят, старый Варламов потом плакал: никогда, мол, такого не случалось!

На подъезде театра мы очутились только вчетвером. Наши студенты исчезли.

Куда ж теперь? В другой театр — поздно. Да, поедемте в Вольно-экономическое О-во!

Это было такое «любезное» общество, что при всяких событиях — петербургская интеллигенция там собиралась, и уже это было известно.

Мы туда и направились, и попали верно. Зала довольно большая, с хорами ввиде ряда полузакрытых балконов, была полна. Эстрады не имелось, ряды стульев, на этот раз, были расстроены, почти все стояли, кто как, иногда группами. Мы тотчас же встретили знакомых и нас осведомили: да, много убитых, а Гапон спасся: его скрыли, переодели, остригли, и он здесь. Он сейчас будет говорить. Он наверху, с друзьями.

Кто-то действительно стал говорить с одного из балконов. Рассмотреть говорящего было нельзя, голос незнакомый, с хрипотой. Некоторые влезли на беспорядочно разбросанные в зале стулья. Влез и спутник наш А. Белый. Он, сегодня только приехав-

щий и, главное, москвич, — ровно ничего не понимал. Москва и Петербург — ведь это были разные страны, Андрей же Белый, кроме того, существо и сам по себе оригинальное, казался, несмотря на порядочную свою эрудицию, то ребячливым, то притворяющимся ребенком — «играл мальчика».

Около нас шептали: «это Гапон! Это сам Гапон говорит».

Хриплый голос произносил между тем, довольно рискованную речь. Насколько я помню, говорилось о том, что мирные средства потерпели крушение, что надо перейти к другим. И вот он приглашает к себе всех честных химиков...

Боря (А. Б.) склоняется в эту минуту ко мне со стула и громко:

— Я, ведь, тоже химик... Значит и мне итти?

На него шикают, я его дергаю за рукав...

После Гапона (это действительно был Гапон) еще кто-то говорил, но мы уж не слушали и скоро уехали. Д. В. Ф., кажется, остался.

Если вспомнить, что лишь через несколько лет обнаружилось, что Гапон был купленным полицией агентом, — какой грязно-страшной покажется эта кровавая история! И как легко было дурачить бедную русскую интеллигенцию! Но не менее грязной и страшной кажется мне история конца Гапона. Его заманил в пустую финляндскую дачу один видный член партии социалистов-революционеров*) (Гапон не знал, что он открыт) и там его ночью и убили.

---

9 января не забылось, конечно, но его скоро заслонили японские события, взятие Порт-Артура и наши морские поражения. Адмирал Рождественский, перед своей экспедицией, почему-то был у нас и, полный надежд, рассказывал, как повернет свою эскадру и как при его плане, успех обеспечен.

---

*) Рутенберг. — В. З.

Известна гибель этой несчастной эскадры.

К этой же зиме, кажется, относится наше первое знакомство с Н. А. Бердяевым, известным марксистом, но который, как было слышно, вместе со своими друзьями (С. Булгаковым и др.) начал от марксизма переходить к «идеализму».

Так как, до последнего времени, мы жили в кругу других интересов, не чисто-политических, то с партийными интеллигентами встречались редко и о тогдашних «партиях» в России, о их внутреннем положении, знали мало. Впрочем, мы видались, несколько лет тому назад, с двумя дружественными нам людьми, «марксистами», которых тогда, кажется, и было всего двое (это было давно) и которые, с тех пор, тоже уже от марксизма стали отходить: рыжебородый, приятный и милый, П. Б. Струве, и М. И. Туган-Барановский.

О наших встречах с ними не в эти годы давние, и не в те, о которых пишу сейчас, а в позднейшие, я упомяну впоследствии.

Сближение наше с Ф. продолжалось, он постоянно писал теперь в нашем журнале, и мы оба, я и Д. С., по его предложению перешли с ним на «ты». А весной, в мае, мы поехали втроем в Крым, который так неизменно любил Д. С., и прожили там несколько недель. Потом Ф. уехал в Петербург, но Д. С. не хотел туда возвращаться: у него явилось желание отправиться из Севастополя — в Константинополь, и лишь, оттуда, через Одессу, ехать домой, прямо на дачу, которую мы имѣли ввиду. (Мои сестры должны были, как часто раньше, провести лето у кузины Сони, в Пятигорске).

Хотя проэктированная первая часть новой трилогии не требовала путешествия в Турцию, Д. С. возгорелся желанием взглянуть еще раз на св. Софию. Тогда, давно, мы пробыли в Константинополе всего сутки, и храм этот уже поразил Д. С-ча. И вот, мы отправились в Севастополь. Погода, все время прекрасная, вдруг испортилась. Черные тучи, ветер, —

чуть не шквал. Мне хотелось переждать непогоду, но Д. С., вообще страстно любивший море и морские путешествия, и слышать не хотел ни о чем. Его не остановило даже то, что первый пароход, который отходил прямым рейсом (через Черное море), был худший из всех, старый и малюсенький: «Ольга».

Путешествие до Царь-Града было (для меня) не из приятных: качало невероятно и, хотя морской болезнью я не страдала, — но этот ураган, бесконечные турки на палубе, морской болезни подверженные, крошечная каюта ночью, где каждую минуту ждешь, что тебя выкинет из койки, — все мало доставляло удовольствия. Да, кажется, и самому Д. С-чу, в конце-концов.

Но мы были вознаграждены уже войдя в Золотой Рог — тишиной, теплом, солнцем и ослепительной прелестью этого входа в столицу Турции.

Можно сказать, что мы тогда видели ее в первый раз. Каждый день, конечно, в св. Софии, утром, когда, сквозь купол, из окна в окно пролетают в солнечных лучах белые голуби; видели мы и дервишей, и десятки поразительных мечетей. Мы даже ездили, в известный день, на Eaux douces, излюбленное гулянье турецких семейств, — это оказалось наименее интересным.

Страшен был тогдашний К-ль — ночью, не поздним даже вечером. Хотя мы жили в Европейском квартале, но все же итти почти в темноте, когда навстречу несется с воплем стая голодных собак — жутко. Знаменитые «собаки» эти тогда еще там царствовали. Они людей не трогали, они охотились ночью за отбросами и очищали от них город. Днем, они, все одинаковые, светло-желтые, порядочного роста, спали по улицам, свернувшись. И трудно было пройти, не запнувшись за желтый клубок, так было их много.

Д. С. не утомился нашим двухнедельным пребыванием в Костантинополе. Мы еще поехали на Принцевы Острова, где тоже пробыли несколько време-

ни, — да никакой особой прелести в этих островах мы и не нашли.

Все-таки жалко было оставлять Константинополь. Д. С. не сводил глаз со св. Софии, пока она не исчезла из виду. Мы ехали в Одессу уж не на «Ольге», а на большом, прекрасном пароходе и в самую тихую погоду. Вот это было действительно наслажденье.

В Одессе нас ждала неожиданная встреча. Туда как раз пришел пароход с ранеными из Японии. Из разных мест, а в нашей гостинице, до отправки в госпиталя на север, поместили нескольких офицеров порт-артурских. Были и тяжелые, и всякие недолеченные. С одним, уже безногим, я подружилась и раз даже, когда его сестра милосердия куда-то ушла, а у него начались боли, я вспрыскивала ему морфий. Его, по его словам, «резали, да недорезали».

Но чего мы в их комнатах не насмотрелись! И такое осталось впечатление, что все эти «вернувшиеся» из огня войны — люди уже (или еще) ненормальные.

Д. С. говорил, что это-то и нормально, что они ненормальные. Что иначе и быть не может. Он ненавидел всякую войну всем своим существом... Видел в войнах угрозу гибели человечества. Может быть, он уже тогда провидел свою будущую «Атлантиду» — которую написал тридцать лет спустя.

Наша дача этим летом, небольшой старый дом, уединенный, в имении «Кобрино», была очень приятна. Жили мы там втроем с Ф., потом он уехал в свое именье, к матери, но в августе опять вернулся.

Это лето мне особенно памятно общим поворотом нашим и разговорами о делах общественно-политических. Я уже сказала, что Д. С. этой областью специально не занимался, смотрел на нее и видел ее под одним углом — религиозным, и если возмущался, что церковь находится в таком рабстве у данного, русского режима — то этот режим, сам по себе, как подавляющий свободу во всех других слоях народ-

ной жизни, сверху донизу, подавляющий и свободу личности (я говорю о самодержавии) — как-то ускользал от его внимания и критики. Отчасти потому, должно быть, что самодержавие все-таки было в какой-то мере «теократией», если и номинально, то самый принцип общности, единолично возглавляемой, не мог быть отрицаем на чисто христианских основах. Если даже принять идею «изживания» государства и превращения его в единую христианскую церковь, то оснований против ее единоличного возглавления в христианстве, как таковом, найти трудно. В ортодоксии нет папизма, но есть к нему (или чему-то вроде) тяга, как к патриаршеству, о котором у нас мечтала и стонала старая, единственно религиозная, партия «славянофилов».

Д. С. папизм отрицал, однако без оснований ясных, религиозно-метафизических.

Что касается Ф-ва — у него все было проще: он отрицал самодержавие огулом, как режим, подавляющий общественную и политическую жизнь страны и как виновника и войны, и таких событий и расправ, как 9 Января.

Нельзя сказать, однако, чтобы и у Д. С., при этих русских событиях, не было определенного беспокойства. Он более внимательно, чем когда-либо, был ими занят. А изучение после-екатериненской эпохи, Павла I и т. д., для следующей работы (он еще не знал в какой форме она у него выльется) — усиливали его внимание к современным событиям.

Что касается меня, то я, в это лето, вдруг погрузилась в одну мысль, которая сделалась чем-то у меня вроде idée fixe. Стихийное отношение Ф-ва к самодержавию (отрицательное) и такое же утверждение революции я признать не могла. Но не могла признать и отношение к самодержавию Д. С-ча и вообще к государству — которое, думалось мне, может быть, пока что, и лучше, — и хуже. Но дело не в этом. Я перескочила в какую-то глубь, и моя idée fixe была — «тройственное устройство мира». Я

не понимала, как можно не понимать такую явную, в глаза бросающуюся, вещь, такую реальную притом, отраженную всегда и в нашем мышлении, во всех наших действиях, больших — до повседневных, в наших чувствах и — в нас самих. Мы тогда так и говорили: 1, 2, 3. Не символически, но конкретно, 1 — не есть ли единство нашей личности, нашего «я»? А наша любовь человеческая к другому «я», так что они, эти «я» — уже 2, а не один. (Причем единственность каждого не теряется). И далее — выход во «множественность» (3), где не теряются, в долженствовании ни 1, ни 2 *).

Вот за это 3, за общественную идею, у нас и началась борьба с Дм. С. Меня поддерживал и Ф. со своей стороны, общую мою идею не отрицающий. Я не помню теперь всех аргументов, которые мы тогда приводили против самого единоличия власти ничем не ограниченной, одного над множеством, но в моем дневнике тогдашнем записано: «Сегодня, 29 июля, мы долго спорили с Д. С. в березовой аллее. Очень было интересно. В конце концов он с нами согласился и сказал: «Да, самодержавие — от Антихриста!» Я ж, чтоб он помнил, тотчас, вернувшись, записала это на крышке шоколадной коробки.

Но торопиться записывать не было нужды: Д. С. этого не забыл уж больше никогда. И, как обычно, в подобных случаях, нашел такие основания, такие аргументы, каких, в то время, да и после, мы бы с Философовым не нашли.

Но больше того.

Я, в моих «наитиях» (иногда бесполезных, бесплодных для меня, без него, — всегда) говорила ему часто: «ты слушаешь, но ты извне слушаешь, а ты это п о д к о ж н о пойми, тогда и возражай!»

Так вот, преследовавшую меня идею об «один

---

*) Замечу, что когда, вдолге, я прочла статью Вл. Соловьева «Смысл Любви» — я была поражена, как близок Соловьев этой идее. Хотя конец, мне кажется, не совсем ясно определен.

— два — три», — он так понял подкожно, изнутри, что ясно: она, конечно, и была уже в нем, еще не доходя пока до сознания. Он дал ей всю полноту, преобразил ее в самой глубине сердца и ума, сделав из нее религиозную идею всей своей жизни и веры — идею Троицы, пришествия Духа и Третьего Царства или Завета. Все его работы последних десятилетий имеют эту — и только эту — главную подоснову, главную ведущую идею.

Но вернусь к современности. Мы с Д. С. тогда не пережили еще и первого урока «общественности».

Этот первый урок ждал нас осенью, когда мы вернулись в Петербург.

События лета — известны: наше поражение в Японии, путешествие министра Витте в Америку, заключение с Японией мира, не очень-то почетного. В Петербурге было неспокойно. Ходили всякие слухи. Девятое Января не было забыто, тем менее, что рабочие круги, после этого случая, были довольно стиснуты.

Интеллигенция, напротив, переживала так называемую «весну»: министр, назначенный на место убитого Плеве, Святополк Мирский, оказался на него не похожим: интеллигенция этим воспользовалась, начались «банкеты», ряд банкетов, походящих на митинги. Мы бывали на многих, однажды я сидела за столом рядом с красивой молодой дамой — это была ныне известная Коллонтай, большевицкий посол в Швеции. Говорили на этих банкетах речи самые зажигательные. А скоро начались уже не речи, а манифестации на улицах и первые, там же, выстрелы. Тогда и развешено было знаменитое обращение — Трепова, приказ войскам от полицмейстера: «патронов не жалеть» (для манифестантов, вообще для толпы).

В октябре разразилась, наконец, известная, первая в России, всеобщая забастовка. Погасло электричество, приостановились железные дороги. Помню мерцанье свечей у кого-то в квартире, куда повез нас Тернавцев. Но в общем все наши «духовные» знакомства на это время оборвались, как будто их и не бывало никогда. От всяких же действующих «центров» мы были в дни этой... полуреволюции далеки и не представляли себе, что будет дальше. По несчастной случайности как раз в эти дни отец Д. С. «генерал» возвращался из своего очередного путешествия заграницу. Поезд остановился далеко не доезжая станции Петербург, и старик должен был попасть в город на плечах носильщика. Дома ему тоже не посчастливилось: вышел он, как привык, раз на свою прогулку и попал в манифестацию (он жил на Невском), толпа затеснила, затолкала его, притиснула к киоску... едва он выбрался и в этот день уж гулять не пошел.

Длиннейшие манифестации с флагами, с пением, с криками, мы наблюдали из открытых окон нашей квартиры, когда толпы двигались по широкому Литейному проспекту.

Но вот и манифест 17 Октября о «неслыханной смуте» и о созвании Думы.

Что это? Уступки? Конституция?

Говорили, что когда министр Витте уговаривал Николая II дать России конституцию — тот отвечал: «Я ничего не имею против конституции при условии сохранения самодержавия».

Se non e vero. . . потому, что манифест в этом духе и был написан. И так большинством тогдашних «революционеров» и был понят. Шествия с флагами не прекратились — удвоились, так как явились стоявшие за манифест. Начались «митинги» на улицах. «Обещанные» свободы все спешили взять явочным порядком. А в Москве, по слухам, скоро подтвердившимся, началась целая битва, со стрельбой, с баррикадами. Один из наших студентов видел близко эту

«битву на Пресне», участвовал в ней, но во время удрал в Петербург, где битв таких не было. Полиция и всякая средняя «власть» тоже не разобралась в происшедшем: а вдруг и правда — свобода и ни демонстрациям, ни митингам не мешала.

Розанов, было спрятавшийся в семейное гнездышко, вылез, стал подходить к «митингам», и даже написал целую брошюру (писал он все с необыкновенной быстротой, почти как говорил) под названием «Когда начальство ушло». Брошюра эта, едва начальство «пришло», опомнившись, (что случилось очень невдолге) была запрещена. А когда мы его спрашивали что он слышал на «митингах» — он откровенно признавался, что никаких ораторов не слушал, а смотрел и наблюдал, как «курсисточки слушают» и что есть «прехорошенькие».

Перемены были, однако, порядочные. Ушел знаменитый Победоносцев. Новый синодский обер-прокурор, если не ошибаюсь — Оболенский, был однажды даже у нас, по поводу какого-то воззвания. Синодского, должно быть, которое и вышло, но весьма слабое и еще непонятнее манифеста. (Д. С. тогда сердился, что Оболенский все его вставки почти вычеркнул Но что-то осталось «Утиши сию кровавую бурю...»)

У нас был много беспокойной толчеи в это время. И вдруг... да, почти что вдруг — все утихло. Не совсем, потому, что появилось множество новых газет, и приехало не мало эмигрантов. Среди них — Ленин (мы о нем услышали тогда впервые). Он стал издавать газету «Новая Жизнь». Помню раз Карташев с этой газетой в руках и в восхищении, что там так твердо пишется «социал-демократия». Он, Карташев, ничего, конечно, в этих вещах не понимал, а мы уже порядочно стали разбираться. И немедля эту самую Новую Жизнь возненавидели, вместе с «эс-деками» (социал-демократами) за одну скобку взяв и большевиков, и меньшевиков. (И это было правильно). Старый наш приятель, Н. М. Минский-Виленкин, когда-то «гражданский поэт», потом со-

трудник «Мира Искусства», потом участник Собраний, читавший там реферат о «мистической розе на груди церкви», — он же философ, написавший книгу о «мэонах», он же и сотрудник, недавний, нашего журнала «Новый Путь» — вдруг (на свою беду) сделался сотрудником Ленинской газеты. Когда мы его стали спрашивать — зачем? И что такое с ним случилось? Он объяснил нам, что хочет сделать «надстройку» над марксизмом из собственной, мэонической, религии.

Отлилась ему эта надстройка!

Наши собственные дела, однако, не ждали. Еще с лета, даже летом, началась наша журнальная перестройка. Общее положение было сложно, во-первых — не было средств, и все наши усилия достать где-нибудь денег для продолжения журнала были напрасны. Затем новый наш редактор, Д. Философов, справедливо нашел, что при данных обстоятельствах, журнал должен посвящать больше внимания общественно-политическим вопросам, а для этого у нас не имелось ни сотрудников, ни помощников. Перцов ушел окончательно, даже свое издательство передав некоему Пирожкову (который долго потом издавал все сочинения Д. С-ча). Ушел и секретарь Егоров (бывший секретарь и Собраний, отчеты которых более уже не появлялись). Но тут недавно появился в Петербурге молодой человек, кажется когда-то политический «пострадавший», вряд ли особенно, поэт, т. е. стихотворец, и чрезвычайно бурного темперамента: характерная его строчка была; «Я хочу и я буду кричать!». В моих пародиях он всегда действовал: «рвя на себе волосы». Мы нашли, что какой он ни на есть, в секретари журнала, пожалуй, и пригоден. Он на такое предложение с удовольствием согласился.

Этим, однако, задача не решалась. Где искать людей, которые могли бы поставить и вести журнал в области общественно-политической. Таких притом, с какими наш журнал не утерял бы совершенно и

окончательно первоначального своего облика и главного заданья.

Кроме группы «идеалистов» (бывших марксистов) не было никого. Что они от марксизма отказались, и плотно, это знали все. Даже больше: они явно склонялись к религии.

И Философов придумал послать нового секретаря, Георгия Чулкова, к этой группе для переговоров: не найдут ли они для себя возможным соединиться с нами для общего ведения журнала «Новый Путь»? Они его не могли же не знать, могли, значит, и ответить на это определенно.

Из группы, которую возглавляли тогда С. Булгаков и Н. Бердяев, мы последнего уже знали, но в эти месяцы «идеалисты» находились где-то на юге, куда к ним и отправился Чулков, заранее в отчаянии и сомнении — удастся ли его миссия.

Миссия удалась, и с книжек осенних политическая часть уже находилась в руках С. Булгакова и людей «иже с ним». В редакции Нов. Пути, в Саперном переулке, повеяло иным воздухом, сказать по правде — как-бы чужим, да и люди, которых привели с собой главные «идеалисты» — Щтильман и др. — тоже казались нам чужими. Розанов совсем скис и в редакцию почти не приходил. А раньше — отовсюду забегал, хоть на минутку.

Д. С., мечтавший о «религиозной общественности», тоже перестал понимать проводимую в Н. Пути реформу, и очень охладел к журналу. Уже очень вдолге, когда «идеалисты» обратились в людей «религиозных», я где-то написала статью, что на политике С. Булгакова, горячем поклоннике теперь Вл. Соловьева, никак не видно отражения его религиозности, Д. С. сказал: «Разве ты не помнишь, я тебе говорил это в самом начале!»

Мы все, как новички, скромно отдалились тогда от журнала в его «общественной» части. Нам была предоставлена область литературы и литературной критики. Но скоро и тут начались трения. Из книж-

ки в книжку писала я литературную критику с полной свободой. Бывали статьи резкие (как о Горьком), но это раньше. Для очередной книги, осенней, я написала статью о поэте Блоке, нашем друге и давнем сотруднике (он постоянно писал у нас литературные рецензии). Кажется, эта была первая серьезная статья о его стихах — он только что начинал свой расцвет. Подписана статья была моим привычным, уже известным, псевдонимом. И вдруг... один из наших новых журнальных сотрудников, С. Булгаков, — не пожелал эту статью напечатать. Мы изумились. Почему? Да потому, будто бы, что Блок и его стихи — тема не достаточно значительная. Но я не хотела сдаваться, тем более, что резона такого не признавала, ему не верила, хотя настоящий резон мне так и остался не ясен. На моей статье я решила настаивать, — ведь это все-таки еще был «Новый Путь». В конце-концов, статью я напечатала, но... без моей подписи. Это последнее условие уже совершенно было и осталось необъяснимым.

Такие трения все умножались, и мы стали подумывать просто передать им журнал. У нас, кстати, уже назревали другие планы. С «идеалистами» — видно было — нам, пока что, не по пути.

Между тем, с одним из них, с Н. Бердяевым, мы, лично, очень подружились. Особенно я. Случалось, наши с ним разговоры затягивались «далеко за полночь». Разговоры больше метафизические, т. к. от всякой мистики и религии он был еще на порядочном расстоянии. Мистическое чувство он, по его словам, испытал лишь раз, когда где-то в лесу, за ним молча ходила неизвестная черная собака. А что касается религии... то он, опять по его собственным словам, все время колебался «между идеалом Мадонны и идеалом содомским».

Помню, я однажды вышла из терпения и, уже в передней, поздно, кричала ему: «да вы хотите, чтоб был Бог, или вы не хотите?»

А на следующий вечер он опять приходил, и опять начинались наши дружеские споры.

Минский в это время уже висел на волоске в ленинской газете со своими мэоническими надстройками над марксизмом. Но он утешался устройством у себя каких-то странных сборищ, где, в хитонах, водили, будто бы, хороводы, с песнями, а потом кололи палец невинной еврейке, каплю крови пускали в вино, которое потом и распивали.

Казалось бы, это ему и некстати, и не по годам — такой противный вздор; но он недавно женился на молоденькой еврейке, Бэле Вилькиной. Она, претенциозная и любившая объявлять себя «декаденткой», вероятно и толкнула его на это. Кокетливая, она почти влюбила в себя Розанова. Но Розанову, с его тогдашней тягой к иудаизму, нравилось, главное, что это смазливое существо — еврейка... От нас Минский совершенно отошел, и уж, конечно, давно облетела «мистическая роза», которую он видел «на груди церкви».

Мы все трое, включая и «редактора» Философова, все реже бывали в редакции «нашего» журнала. Однажды мы случайно встретили там, из Москвы приехавшего Фондамиского-Бунакова, члена партии соц.-революционеров (бывшей «народовольческой»), история которой хорошо известна. Она не основана на марксизме и даже марксизму враждебна по существу.

Молодой и живой Бунаков нам очень понравился. Мы видели его тогда незадолго до «успокоения», и до его ареста и «дела» в военном суде, когда он спасся от петли только успев эмигрировать.

Уже в ноябре «успокоение» стало давать себя чувствовать. Эта зима мне памятна общим угнетенным состоянием, арестами, часто глупыми, и... рядом виселиц. Успокоенье — так успокоенье!

Приезжие с-д (марксистская партия соц.-демократы), чуть не тем запахло, сложили чемоданы и ловко опять улизнули в эмиграцию, с Лениным во

главе. Почти все сотрудники «Новой» ленинской «жизни» так исчезли. А Минский, хотя он успел сделать всего две «надстройки» в газете прежде чем Ленин ему твердо отказал, — был арестован. Испугался очень, хотя — напрасно, ничего бы с ним не сделали, таких отпускали с миром; но поклонницы выкупили его (взяли под залог на свободу, до «окончанья следствия»), а он немедленно убежал заграницу, сделавшись вольным и бесцельным эмигрантом.

Русская революция, первой (да, пожалуй и единственной) целью которой было свержение самодержавия — не удалась. Самодержавие осталось во всей силе, — подготовка к Думе его только укрепляла. Всякие «свободы» были пресечены. Общее настроение, как я уже говорила, было подавленное. Д. С. пытался продолжать начатую работу, но атмосфера угнетения плохо действовала и на него. Из нашего сотрудничества с «общественниками»-идеалистами ровно ничего путного не выходило. Д. С. принялся настаивать, чтобы как-нибудь дело выяснить, что журнал, за который в прошлом мы отвечаем, принял какую-то двойственную, неопределенную физиономию, и что если мы и будем далее в нем работать, то уж на других основаниях. К тому же наш секретарь Чулков вполне перешел на сторону новых сотрудников, или новых «редакторов», и наша роль делалась все более и более фальшивой.

Начались длительные переговоры, течения которых я не помню. Булгаков ни на что не соглашался, и дело кончилось тем, что журнал переходит в их полное владение без ссоры с нами (т. е. мы можем числиться там сотрудниками), но, с этим переходом он должен переменить название. Помнится, что это окончательное решение было почему-то принято не в редакции, а в том же Вольно-Экон. О-ве, где мы когда-то слушали Гапона, и где мы разговаривали, в антракте какого-то заседания, с Булгаковым.

Декабрьская книжка 1905 г. была последней книжкой «Нового Пути». В январе 1906 г. вышла

уже книга журнала «Вопросы Жизни». Новый редактор, новые сотрудники, да и новое помещение редакции. Так мы, полюбовно, расстались с «идеалистами». Без всякой, повторяю, ссоры, мы бывали у них на редакционных вечерах, числились сотрудниками — номинально, — потому что я по крайней мере (не знаю писал ли что-нибудь Д. С.) ничего там не писала, перешла больше в брюсовские «Весы» и в Сборники «Северные Цветы», тоже брюсовские, в Москве.

Да в это переходное время никто из нас много не писал, даже Д. С., — он только все еще собирал нужные ему материалы.

Мы были заняты одним личным нашим планом. Дело в том, что еще летом Д. С. высказал раз мысль, что хорошо бы нам троим поехать на год или даже два-три заграницу, где мы могли бы сжиться совместно и кое-что узнать новое, годное потом и для дела в России. Д. С-ча интересовало католичество и не только оно, а еще и движение «модернизма», о котором мы что-то слышали глухо, потому что, из-за цензуры, определенные вести о нем до нас не доходили. В этих «нео-католиках» чуялось нам, однако, что-то интересное. Кроме того, и политическая европейская жизнь Д. С-ча, в последнее время, стала интересовать. Философова тоже (он в последнее время был занят вопросами «цезаре-папизма» и «папо-цезаризма»). Нас всех интересовали и наши русские «революционеры», находящиеся в эмиграции. Это была, однако, лишь наша мечта, которую мы хотели осуществить когда-нибудь». Но вот теперь, когда разрушилось наше единственное дело, — журнал — последнее после разрушения Собраний, и никакого нового, ввиду создавшегося атмосферного удушья, казалось нам, и не предвиделось, — Д. С. сказал, что почему бы нам не совершить задуманного не «когда нибудь» — а теперь. Так как это было не «путешествие», а мы не «туристы» пребывание наше мы давно наметили не в Италии, а в Париже. Там уже был

постоянный издатель Д. С-ча, — Calmann Levy, — там и знали мы кое-кого, бывали раньше, там, кстати, был и русский эмигрантский центр.

Вопрос о моих сестрах, которые не могли, конечно, бросить Академию и ехать с нами, тоже разрешился просто: мы оставляли им нашу квартиру, с вечной нашей няней и всем, что в ней было, а так как для них одних она была слишком велика, то к ним переезжал Карташев, который последнее время очень сблизился с нами и с моими сестрами. Все они трое были вполне в наших с Д. С. идеях. А Карташев, в это время, был на переломе своей карьеры. В Дух. Академии его уже давно едва терпели, он ждал отставки каждый день, но сам уйти все-таки боялся: как это вдруг он останется ни с чем? Что будет делать? В жизни — без привычных помочей? И лишь тогда решил уйти из Дух. Академии (из которой его все равно бы выставили), когда Философов устроил ему службу в Публичной Библиотеке, передав свое же место.

Надо сказать, что Карташева сближало с моими сестрами, кроме общих (наших) идей, еще одно свойство: мои сестры, тогда молодые, и обе очень красивые, были, однако, аскетического типа. Ни одна не помышляла о замужестве, ни в одной не было никогда тени кокетства или чего-нибудь подобного. А тогдашний вид Карташева, похожего, как мы говорили, на Гоголя перед первой панихидой, достаточно свидетельствовал о его монастырской жизни, среди строгих монахов Лавры. Хотя монашеской рясы он не носил, но был даже и у себя в комнате под их контролем. Можно вообразить, как огорчался и возмущался таким уклоном в бессемейность проповедник брака и семьи Розанов! Это о моих сестрах и Карташеве написал он свою длинную статью, — целую, кажется, брошюру — под названием «Люди лунного света».

Таким образом, уезжая втроем заграницу, мы оставляли в России совместную тройку наших еди-

номышленников. Мы уезжали на неопределенное время, возможно — только на год, не больше двух лет во всяком случае.

«Подождем до ранней весны, сказал Д. С.. Может быть увидим еще какие-нибудь перемены. Тогда отложим на следующий год».

Но все шло так же. Вечера в «Вопросах Жизни», бесцельная, утомительная суета дома, мои разговоры с Бердяевым... Воскресенья у Розанова потухли. Приехал из Москвы Андрей Белый со своими капризами и новой любовью — к молодой жене Блока, тогда, действительно, прелестной, статной, розовой Любовь Дмитриевне.

Мы стали готовиться к отъезду.

Д. С. заботился о нужных ему книгах — а вдруг не достанешь в Париже? Впрочем, до «Павла I» у него еще было намечено несколько работ, для которых он все заранее приготовил.

Философов уехал раньше нас, в Швейцарию, кажется, где были тогда его мать и сестры, — и раньше на теософский съезд... Матери он уже сказал, что будет жить с нами, и сначала в Париже, откуда в Россию вернется не скоро.

Мы с Д. С. выехали из Петербурга 14 марта. Мало кто знал, что мы уезжаем. Был серенький день с мягким снежком. Помню на платформе розовые, огорченные лица моих сестер, косящие голубые глаза Бори Бугаева (Андрея Белого), да шапку пышных черных волос Бердяева.

Через день мы были в Париже, где уже встретил нас Дима Философов, приготовивший нам помещение около Etoile.

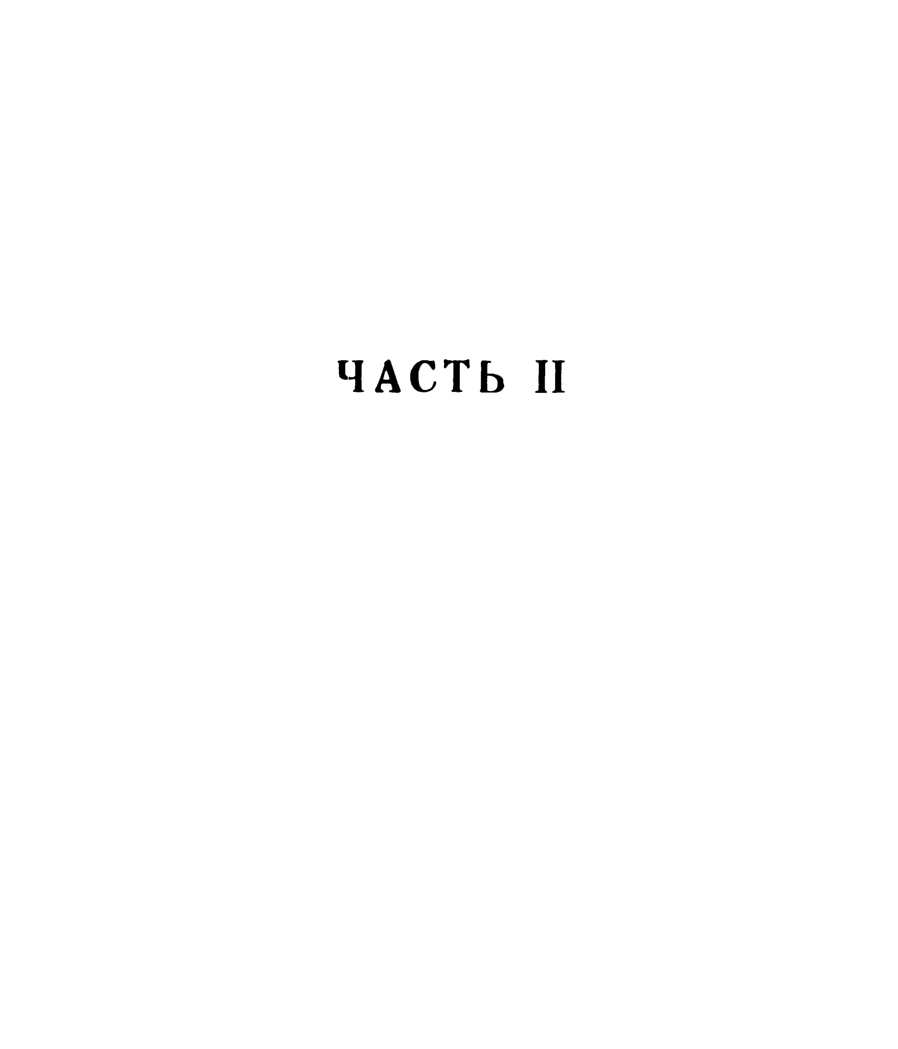
Отсюда начинается особый период нашей жизни, втроем, в Париже.

Он длился, с краткими отлучками из Парижа, — в Бретань, в Нормандию, на Ривьеру или в Германию — около двух с половиной лет, до нашего возвращения в Петербург в июле 1908 года.

Мне хотелось бы скользнуть быстрее по этим го-

дам, но жаль: ведь это был Париж, совсем почти незнакомый нынешним парижанам, да наше, русское, в нем положение было совсем другое, даже эмигрантов, не говоря уже о нас, независимых, не «приютских», какими мы сделались всего 14 лет спустя и поняли, каково жить людям в чужой стране и, главное, своей уже не имеющим.

Тот, давний Париж и наше в нем житье — это будет II часть моей записи.



ЧАСТЬ II

ПАРИЖ

1906 — 1914

1

Какая весна! Нет, пред-весна, это часто в Париже. Кажется, что с зимой покончено, вот-вот начнутся летние жары. Но это обман: деревья еще голы, и фиакры не меняют кареток на открытые пролетки. Еще вернутся холода и — «жибулэ».

Помню темные, желтые ночи на балконе нашего отеля на Елисейских Полях. Вверху — ясное, бархатное небо в звездах; внизу — вся Avenue сверкает огнями и полна нежным переливчатым звуком бубенчиков бесконечных фиакров. Как пахнет весенний воздух! А ведь там, где мы были почти что третьего дня... Там «мороз на берегах Невы!»

Париж, хотя мы, послѣ первого путешествия, к Плещееву, видели его много раз, в эти дни кажется нам новым: ведь мы не путешествуем, мы приехали сюда «жить!»

Очень скоро нашли мы и квартиру. Мечтая о Париже, мы ее почему-то воображали в Пасси. Но наша новая квартира оказалось в Auteuil, на тихой улице Théophile Gautier, в самом начале этой, тогда новой улицы, в только что отстроенном доме. Квартира хорошая, большая, с балконами на все стороны: на улицу, прямо на деревья и на пустырь, отделявший нас от улицы La Fontaine, а из holl — на парижский простор с Эйфелевой башней и с громадным, поднебесным колесом, оставшимся от последней выставки.

Просторность квартиры нас прельщала, каждый

мог жить, насколько хотел, отдельно, а цена ее показалась нам, привыкшим считать на рубли, совсем подходящей: 1200 р. в год. Положим рублей то у нас, в этот первый год, было не много. Ведь в Петербурге оставались мои сестры, другая квартира... Мы бы, конечно, не могли и думать о поездке, еслиб работы и книги Д. С-ча последних годов не дали нам такой возможности: за годы 1903-04 Д. С. выпустил у Перцова, у Пирожкова и в некоторых других издательствах несколько сборников статей, — он их писал во время приготовления к большой работе. Иные книги имели — сравнительный — успех, Пирожков платил исправно (впоследствии выяснилось, что он еще и обманул Д. С-ча на много тысяч, издав тройное количество экземпляров). Я тоже издала несколько книг и много писала в московском издательстве.

Д. С-ча теперь печатали в журналах чаще, имя его понемногу росло, хотя он все таки шел против общего течения (или стояния), и его статьи вроде «Грядущего хама», вызывали самые разнородные отклики.

Недостаток рублей дал себя знать, когда обширную нашу квартиру, пустую, пришлось чем-то заполнить. Но мы не смутились. Прежде всего купили три письменных стола. Затем уж постели. А затем... ну, затем остальное можно было приобретать понемногу, постепенно, и самое дешевое. Так появилась у нас соломенная мебель, стоившая тогда гроши. Сколько книг перечитал Д. С. на своей «дачной» кушетке! А сколько написал на письменном столе, том самом на котором я сейчас пишу эти строки!

Остальное обзаведенье — под стать. Пришлось еще заказать большой деревянный стол для громадного нашего салона, совсем уж пустого. Но все было новенькое, чистое, приятное, о роскоши же мы не заботились.

Устроившись, мы уехали на Ривьеру, в St-Raphaël и в Канны. Там была уже настоящая весна. К 1 мая мы вернулись в Париж, и началось наше там житье.

2.

Говорить об этом нашем, почти трехлетнем, житье в Париже так, как раньше писала я о жизни с Дм. С. в Петербурге, т. е. хронологически, — невозможно, по многим причинам. Главное потому, что, благодаря разнообразию наших интересов, нельзя определить, в каком, собственно, обществе мы находились. В один и тот же период времени мы сталкивались с людьми разных кругов, между собой мало сообщавшихся, и мы виделись с ними отдельно, не стараясь их смешивать. Поэтому мне придется сделать скорее общий очерк этих трех парижских лет, с отдельными, часто любопытными, встречами. Кратковременные летние из Парижа отлучки, — в Бретань, в Германию, и т. д. — общей картины не нарушали. Мои «Agenda», здесь сохранившиеся, (1907-1908 г. г.), только подчеркивают трудность последовательного рассказа. Я буду, однако, пользоваться этими отрывочными записями ввиду их интереса, и для восстановленья некоторых дат.

Я уже упоминала, что у нас было три главных интереса: во-первых католичество и модернизм (о нем мы смутно слышали в России), во-вторых Европейская политическая жизнь, французы у себя дома. И наконец — серьезная русская политическая эмиграция, революционная и партийная. Эти интересы были у нас общие, но естественно, что Дм. С-ча больше интересовала первая область, меня русские революционеры, а Д. Ф. увлекся политическим синдикализмом, ради которого ездил однажды в Амьен; бывал он и в Палате Депутатов.

Но так как все три области интересовали и нас троих, то мы большею частью виделись с людьми этих разнообразных кругов все трое. (Дальше всего стояли мы от чисто-политических французов того времени).

Была у нас и какая-то полудомашняя, смешанная среда. Для нее явились (сами собой образова-

лись) наши «субботы». Русские, — а французы на них не бывали, их мы приглашали отдельно, большею частью вечером. Субботы же днем — это — старые наши друзья-писатели, конечно, неудачные эмигранты, поэт Минский, поселившийся здесь после бегства с «порук» от страха за две свои «мэонические надстройки» в газете Ленина в 1905 году, и Бальмонт с одной из очередных своих жен (которой по счету не помню), пышной и красивой москвичкой Андреевой. Бальмонт тогда быстро уехал из России после своего стихотворения «Кинжал», за которое, как его пугали, его могли арестовать. Бывали и просто русские интеллигенты, давно почему-нибудь в Париже застрявшие. А главное — приходили, часто незнакомые, люди новой эмиграции, какой не было ни прежде, ни потом. 1905 год, неудавшаяся революция, выкинула толпу рабочих, солдат, матросов, совершенно не способных к жизни вне России. Они работы и не искали и ничего не понимали. Эмиграция настоящая, политическая партийная, о них мало заботилась, мало и знала их. Устраивались, будто бы, какие-то «балы» или вечера в их пользу, но в общем они умирали с голоду или сходили с ума. Один, полуинтеллигент, или мнящий себя таковым, по фамилии Помпер, пресерьезно уверял, что он «дух святой». Другие просто врали, несли чепуху и просили Мережковского объяснить, кто такой «хамовина», о котором он писал («Грядущий хам»).

Были и русские богатые, жившие, даже порой совсем прижившиеся, в Париже. Не старого типа «прожигатели жизни»; — если они еще водились — мы их не знали; — но другие, скептики, случайные европеисты, неудачники на родине, коллекционеры, меценаты... Одного из сыновей московского миллионера Щукина мы хорошо знали.

Жена профессора Аничкова жила здесь с дочерьми постоянно. Написала даже французский роман под именем «Ivan Strannik». У нее мы познакомились с Анатолем Франс и м-ме Caillavet, его вечной

спутницей... Но не у нее, а самостоятельно сблизились мы с тогдашним «Mercure de France», я даже писала там ежемесячно о русской литературе — «Lettres russes».

M-lle Васильевой, первой переводчицы Д. С-ча у Calmann Levy, мы не встречали. Должно быть ни ее, ни ее отца, священника на rue Daru, уже не было тогда в Париже. Кто переводил, после нее, вещи Д. С-ча? «Лев Толстой и Достоевский» был издан у Perrin. Переводил эту книгу (не всю) наш давний друг, граф Прозор. Мы его знали еще по Петербургу и часто встречали у него Влад. Соловьева.

Кстати: в Париже, в это время, жила старшая сестра Вл. Соловьева, Марья Серг. Безобразова. (Я дружила в СПБ с младшей, Поликсеной). Безобразова нередко бывала у нас со своей родственницей, у которой тогда жила. А родственница эта оказалась никем иным, как известной когда-то красавицей, на которую даже обратил внимание Александр Второй (она была сестрой милосердия в войну 1877 г.) и невестой, да, пожалуй, и единственной любовью Влад. Соловьева. Свадьба расстроилась (насколько можно судить по недавно напечатанным его письмам к ней) из-за капризов и непостоянства невесты. По капризу она вышла потом за какого-то Селевина, с которым прожила недолго. Что за странные клубки разматывает жизнь! Граф Прозор встретил у нас однажды обеих старух. Узнав потом, кто вот эта маленькая, сухенькая старушонка с поджатыми губами — признался, — что и он в свое время был страстно влюблен в «ослепительную Катю».

3.

С французами вначале мы виделись все-таки меньше. Увлеченье Д. Ф. синдикализмом послужило нам к знакомству с Г. Лагарделем, очень известным тогда синдикалистом. Молодой, статный, чернокуд-

рый и чернобородый, он был очень приятен особой живостью и своими зажигательными речами. Мы нередко ездили все трое к нему, бывал и он у нас, — и по субботам, конечно, со сборными русскими*).

Доступ в круги католические, куда стремился Дм. С., особенно же доступ в круг модернистского движенья, был очень не легок. Однако и то, что мы понемногу узнавали, было для нас ново и чрезвычайно интересно. Напоминаю, что в эти годы (1906-1907-1908) движенье еще далеко не закончилось; за дальнейшим его развитием мы следили уже издали, не переставая удивляться равнодушию французов и Франции к явлению такому значительному и важному для ее судеб.

Некоторому контакту с ортодоксальным католицизмом помогла нам близкая приятельница наша, светлейшая княжна Анаст. Грузинская, очень милая девушка, жившая тогда в Париже. Она имела там связи, так как уже склонялась сама, в это время, к переходу в католичество**).

Что касается движения модернистов, то, как я сказала, узнавать о нем, знакомиться с молодыми, примыкающими к нему, было особенно трудно. Я скажу ниже, кого из них мы знали.

---

*) Не так давно, в 36 или 37 г., Дм. С. и я встретились с ним вновь в Риме, за завтраком у тогдашнего франц. посла Chambrun, а потом даже были в его чудесной, стильной вилле в римской Кампанье. Сначала мы его не узнали: не было уже ни длинной черной бороды, ни прежнего молодого огня. Он первый вспомнил наше давнее парижское знакомство и тотчас же стал для нас как бы тем же, столь же приятным, как тогда.

**) С ней мы впоследствии часто встречались в СПБ-те, потом она уехала в Польшу, и в последний раз мы видели ее в 20-м году, в Вильне, когда бежали из Советской России. Она была тогда уже в одной полумонашеской, католической общине (монахиней в миру). В Минске пережила большевистское нашествие, была арестована и долго сидела в тюрьме с уголовными и проститутками, не теряя мужества и светлого настроения. Кажется, через два года, в той же общине, в Вильне, она умерла — еще совсем молодая.

Сразу по приезде в Париж, у Д. С-ча возникла мысль издать здесь французский сборник, статей нас троих, касающийся России, самодержавия и недавней, ничем неокончившейся, революции. Издателя не было. Calmann Levy — мы понимали — для этого не годился. Но Д. С. до такой степени был убежден, что сборник мы должны выпустить, что он будет издан, что мы с Д. Ф. уступили его настояниям немедленно приняться за работу. Не знаю, тотчас ли начал писать свою статью Д. Ф., но я начала свою — первую — сразу, кстати и тема у меня уже была, я все равно ее написала бы. Называлась она по-русски, — «В чем сила самодержавия». Я не умею писать длинно, и статья скоро, готовая, была предложена Д. С-чу и Д. Ф. на обсужденье. После некоторых споров, — с Д. Ф., главным образом, — статья, моими содеятелями, была одобрена, а тут, кстати, решилось и дело сборника: его согласился издать дружественный нам «Mercure de France».

Сам Д. С. к своей статье еще не приступал. Она должна была называться «Революция и религия». Написал он ее не скоро (почему и сборник замедлил выходом), но, в конце-концов она вышла такой удачной, почти пророческой по отношению к революции большевицкой, что цитаты из нее, приводимые теперь во французской печати, кажутся современными. Весь сборник должен был называться «Le Tzar et la Révolution».

В это время случилось, что в нашу орбиту вошел тот самый И. Бунаков, которого однажды встретили мы в редакции «Нов. Пути», — видный член партии социалистов-революционеров (эсеров, не марксистской, в 1905 году чудом спасшийся от петли). Мы с ним сразу сблизились, да и не с ним одним, а с ближайшими к нему партийцами (что входило в одну из трех наших задач). Бун-в, прежде всего, познакомил нас со своим другом, известным террористом Борисом Савинковым. Как могли столь тесно дружить два человека, по природе абсолютно

несхожие? Бу-в был добр, мягок, почти нежен; Савинков — резок, дерзок, самолюбив, упрям, казался человеком волевым и умным. Не думаю, впрочем, чтобы кто-нибудь из нас мог правильно видеть и понимать Савинкова тогда: слишком он был для нас нов, слишком хорошо знали мы его биографию. Он принадлежал ко внутри-партийной группе с-ров, так называемой «боевой организации». Напоминаю, что с-ры — партия старая, когда-то мирная, — «народовольцев». Она проповедовала известное «хождение в народ», когда барышни-курсистки, студенты, делались сельскими учителями и учительницами, идеалистически борясь за «народную волю» и «черный передел» (земля — народу). Так было; но ряд правительственных разгромов изменил дух партии, вызвав, в 70-х годах прошлого столетия, появление в ней новых людей. Эта новая молодежь была так же фанатична, как и первая, с ее «хожденьем в народ» и неумелой пропагандой, так же, в сущности, мало народ знала, но прежнего идеализма в ней не было. Общая программа партии (явившейся вследствие неудовлетворения реформами Александра II) осталась неизменной, со всеми даже своими неясностями и противоречиями, — но она включила в себя вот эту особую группу, — «боевую организацию», т. е. признала одним из средств борьбы — террор. Заметим, что партия социал-демократов, с марксистской базой, в программе своей террора не признавала, ни до, ни после ее разделения на большевиков и меньшевиков. Но она его, конечно, благодаря своей базе, постулировала. Близорукие меньшевики, верные букве программы, от этой верности все сплошь и пострадали. Даже такой видный партиец, как Плеханов, вернувшийся в Россию после мартовской революции и немедля после октябрьской большевиками умученный, — со-патрийцами, т. к. они тогда еще «коммунистами» себя не называли, а по прежнему — «социал-демократами».

Нельзя себе вообразить революции более не

подходящей, более несвойственной России, нежели революция марксистская. Достаточно самого поверхностного взгляда на Россию, не говоря уже о ее знании внутреннем, знании духа ее народа, — чтобы не сомневаться, что такая революция не могла в ней даже произойти. Она и не произошла. Не все европейцы забыли, что большевики революции и не сделали, они явились на «готовенькое», когда революция уже совершилась, и были только ее «захватчиками». Вот всякие захваты — это, к сожалению, России свойственно; а уж в том положении, в каком она (при войне!) находилась в 1917 году — с захватчиками, да еще подобного сорта, бороться ей было не по силам.

Есть еще одно свойство у русского человека, у русского народа, у России: будучи кем-нибудь, чем-нибудь захвачена — она идет в этом до конца, не зная и не умея себя ограничить, найти предел. Вот об этом свойстве беспредельности и говорит Мережковский в «Le Tzar et la Révolution» : автор как будто предчувствовал безмерность русского пожара, предупреждая, что от него может сгореть и Европа.

Не о таком, конечно, пожаре, не о такой революции мечтал тогда Дм. С. (и мы с ним). Да и не о такой даже, на какую надеялся Б-в и его партия... Но она, по существу, была нам все-таки ближе всякой другой, особенно марксистской, как более русская, более народная, отрицающая, в России, «диктатуру пролетариата» и признающая «роль личности в истории». В ней, кстати сказать, евреи хотя и были — но как исключение; в с-д. напротив: Ленин и Плеханов — исключение: большинство состояло из евреев.

Говорю все попутно, чтобы притти к теме наших разговоров с Бунаковым, когда мы поняли общее положение партии и когда появился у нас Борис Савинков.

Мы знали, конечно, и раньше о «боевой организации». Кто из русских не слышал имен Перовской,

Желябова и др., совершивших в 1881 году убийство Александра II-го (и в такой неудачный для своих интересов момент!) Или имен лишь косвенно к терроризму причастных и заточенных на всю жизнь в Шлиссельбургскую крепость, — имя Веры Фигнер, например? (Оставшиеся к 1905 г. в живых были освобождены и тотчас уехали заграницу. Веру Фигнер мы, в Париже, часто видали, и раз даже в очень интересной обстановке, — (какой — скажу ниже).

Все это мы знали; но знать, что были и есть где-то террористы — одно, а видет воочию, в собственной комнате, главу «боевой организации», подготовившего и совершившего несколько убийств почти вчера — это совсем другое. Савинков принимал ближайшее участие в убийстве Плеве, вел. князя Сергея в Москве и еще кого-то. Был недавно арестован на юге, бежал из тюрьмы и тотчас перешел границу. Просвет 1905 года не мог ему, конечно, быть полезен.

Лицо — интересное, немного ассиметричное, светлые волосы. Говорил он осторожно и очень не глупо.

Совершенно естественно, что темой наших разговоров сделался вопрос «о насилии». В моей «ажанда» несколько кратких об этом заметок. Вот одна: «Вечером Б. с Сав. Тяжелый и страшный разговор. Д. Ф. против — но и я говорю абсолютное «нет». Нельзя передать режущего впечатления, которое теперь нами владеет. Да? Нет? Нельзя? Надо? Или «нельзя», но еще «надо»?...

Главная тяжесть был в том, что Савинков сам как будто чувствовал себя убиваемым — убивая. Говорил, что кровь убитых давит его своей тяжестью. И подходил к Дм. С. не то с надеждой оправданья революционного террора, не то за окончательным ему — и себе в этом случае, — приговором. Уклониться от вопроса о насилии мы не могли, — ведь мы же были за революцию? Против самодержавия? Легко сказать насилию абсолютное «нет». В идеях

Дм. С. не могло не быть такого отрицания. Не толстовского, конечно, ведь Толстой не сгонял мух, облеплявших его лицо во время работы (пример русской без-мерности). Но тут дело шло не о принципах, не об абсолютах: перед нами был живой человек и живая, еще очень далекая всем абсолютам — жизнь.

И наши тяжелые разговоры с Савинковым ничем не кончались. После — мы говорили о нем, и о том же, втроем. Но ни к какому нужному для С-ва решению не приходили. Нам прежде всего хотелось вытащить его из террора. Как это сделать?

Для Бунакова все было проще. Но он и сам был проще. Повторяю, однако, что никто из нас, ни Дм. С., к которому С-в, главным образом, и обращался, его, как человека, вполне не видел и не понимал. А, пожалуй и Бунакова.

Разговоры наши, к счастью, на некоторое время тогда прекратились. Пришел Бунаков, один, и сказал, что занят сейчас личными савинковскими делами, которые через несколько дней должен и нам рассказать.

Я знала, что Дм. С-ча это мало заинтересует и заранее решила, что рассказы Бунакова, если уж нужно, будем слушать мы вдвоем с Д. Ф. Д. С. был в это время особенно занят «Павлом I» и писал он первую часть своей трилогии в новой для него форме, — драматической. Для сборника его статья была еще не готова, и я предложила, что напишу вторую статью «О насилии», — сводку некоторых наших недавних разговоров. Конечно, прочту им обоим раньше Д. Ф. отнесся скептически, а Д. С-ч обрадовался, и я принялась за работу.

Надо сказать, что в эти парижские годы мы все много работали. Д. С., который всегда писал много, даже он за это время написал больше, чем, пожалуй, написал бы в России. Да ведь связь наша с нею, с русскими газетами и журналами не только не прерывалась, а стала даже теснее. Книги Д. С-ча, старые

и новые, продолжали там выходить и тотчас нами получались (как и мои). Уж не говорю о количестве писем, которые мы постоянно получали. Было впечатление, что мы Россию и не покидали, и не потому, что мы были не эмигранты, могли в любой день сесть в Nord-Express и почти на следующий быть в Петербурге. Нет, связь с Россией тогда не терял н и к т о из русских. Самые серьезные политические эмигранты, помимо постоянной связи письменной и газетно-журнальной, имели возможность поехать в Россию немедленно и благополучно вернуться. Даже Савинков, в предвоенные годы, был в России несколько раз, поездки же людей менее известных совершались постоянно, на наших глазах. Что это, слабость русского правительства, или ловкость эмигрантов? Ни то, ни другое. При любом правительстве (кроме большевицкого) это обстояло бы также. Россия тогда б ы л а. Какая — другой вопрос, но была. И связь с ней не мог терять никто.

4.

Разнообразные наши работы не мешали нам знакомиться с разнообразными людьми и стараться узнавать то, что нас интересовало. По совету и рекомендации милой Стази Грузинской отправились мы однажды, все трое, к ректору парижской семинарии, abbé Portal'ю. Присутствовало там не мало других аббатов и, кажется, эвэков. Дм. С. со свойственным ему увлечением, стал тотчас же говорить о своих идеях, о вселенской церкви, о том, что христианство должно войти в мир, о неправде папизма...

Замечу, что тогда о модернизме мы еще не знали всего, что узнали после, и что на Порталя и его гостей мы смотрели как на верных Риму. Они, однако, во всем с Дм. С. вежливо соглашались. Говорили только, что вот, мы и есть представители вселенской церкви, и все чувствуем себя равными друг

другу... А как же римский первосвященник, как же папа и папизм? На это последовал странный ответ, неожиданный, но все мы его слышали: «Le Pape? C'est un abus».

Может быть, это не были ортодоксы? Мы этого так и не узнали. Вдолге потом стало известно, что аббат Порталь написал какую-то книгу, с которой поехал в Рим, получил от Святейшего Отца много ей комплиментов, полное одобрение, но... с прибавкой, что завтра же книга будет под index' ом. Почему? А потому, что Церковь должна двигаться вперед вся вместе, и пока последний верующий не догонит идущего впереди — движенье не может быть одобрено Римом.

Имя аббата Порталя ни разу не упомянуто среди модернистов. Однако то, что эти аббаты нам сказали, — «Le Pape c'est un abus», и «мы все равны», — очень похоже на слова нео-католиков. Впрочем, общее движение было широко и сложно, а в эти годы, уже гонимое Римом, оно, в лице своих адептов, естественно, не желало открываться каким-то иностранцам, да еще схизматикам (православие). Лишь мало-помалу мы кое в чем разобрались. Дм. С-ча поразила близость некоторых идей к его собственным, а также странная близость, несмотря и на большую разницу, этой борьбы за христианство с исторической церковью — к тому, что происходило у нас, в Петербурге, на наших Р. Ф. собраниях. Масштаб был, конечно, другой. Зато уклонения, здесь скоро обозначившиеся, оказывались довольно странными... Начало движения — это Поль Дежарден, преподаватель коллежа Stanislas, написавший в 1890 году «Union pour l'action morale», успех его начинание имело такой, что в 1906 году Desjardin приобретает старое аббатство Pontigny (Cocnobium) для «Entretien d'été». Однако, он же, начинатель, уже тогда настоящему нео-католичеству изменяет, хотя P. Sabatier (о котором Léon Chaine сказал, что он духовно принадлежит к церкви вселенской) еще с им. С ним же и

Père Laberthonnière, и его всемогущий секретарь, Louis Canet, в редакции «Annales de philosophie chrétienne».

Père Laberthonnière'а мы хорошо знали, бывали у него, и он у нас. Мы знали, что он принадлежит к движению; но он был очень осторожен, никогда до конца не высказывался. Может быть, потому, что уже был тогда в опале и под угрозой разделить судьбу аббата Loisy, как известно из церкви изверженного. Этот, насколько мы о нем слышали и его читали, извержения и был достоин.

Интересно, что Рим в общем движении не разобрался, не увидел, что оно разделилось на два течения; Дежарденовское, второе, смешал с подлинно нео-религиозным, с нео-католиками. И, главное, тогда, когда Дежарденовское уже перешло к «ультрахристианству», к «религии Будущего», где не только Христа, но и Бога уже не оказывалось (Marcel Hebert объявил личного Бога идолом, другие говорили, что Бог еще не проявился, а только будет). Нео-католики же утверждали, что, хотя религия и находится в церкви, но клерикализм еще не религиозность (Beranger, Jean Honcey и др.), что догматы подлежат раскрытию, движению (3 заседания были посвящены этому в СПБ-ских Собраниях), хотели, наконец, «омирщить» христианство, возвратив ему первичную силу и правду. И вот, они, как бы притянутые вначале Дежарденом, начинают спрашивать себя, как же отнесется к их чаяньям католичество? Их взоры обращены к Риму, они внимательно следят за молодым католичеством во Франции.

Папский «bref» к епископу Гренобльскому после конгресса католич. молодежи в Гренобле окрылил их, вызвав надежды на отклик Рима (движение в церкви, le renouveau). Но это было лишь осторожное выжиданье. Между тем, движенье разросталось, подготовка к парижскому конгрессу 1900 года была поставлена широко. Тут-то и разразилась римская гроза над правыми и виноватыми. Конгресс все же состоялся, но... без католического духовенства (кроме

троих смельчаков). Это было начало разгрома Римом всего нового, несмотря на то, что и французская элита того времени была за движение модернистов: оно захватило Ecole Normale и Сорбонну.

Наше русское религиозное движенье, наши Собранья и разговоры с православной церковью, кажутся перед всем этим каким-то «захолустьем»... Но Дм. С. все-таки утверждал, что церковь православная, — насколько она, внутренно свободнее! Если разговоры, — такие же, если не более смелые, — запретила светская власть, — это лишь внешнее насилие. Сама же церковь никого не осудила, никто из духовенства не пострадал...

Это, конечно, верно. Жаль только, что ни у нас, ни в Европе, из движения новых идей ничего не вышло. У нас, впрочем, есть оправдание: неслыханная революция, в которой пострадала, в первую голову, вся православная церковь, — с поголовным физическим истреблением духовенства.

Замечу, что когда мы вернулись в Петербург, у нас было, в годы перед войной, что-то вроде Дежарденовского движенья в обществе, в карикатурном виде, — такого, каким оно явилось потом, т. е. с «будущим» Богом (богостроительство), с гуманизмом и т. д. Мы много еще чего узнали после о модернизме, но это движение достойно было-бы особого описания.

Тогда, в Париже, кроме abbé Laberthonnière'a, маленького, черненького, живого и скромного, мы знали, из примыкавших так или иначе к модернистическому движению, очень немногих: Le Roy, Бергсон... один пастор, не помню имени. С Бергсоном, звезда которого быстро восходила, был хорош граф Прозор; а на блестящих лекциях его, всегда переполненных, католическое духовенство часто преобладало. Все, что я пишу здесь о французском модернизме так бегло (иногда м. б. не точно), я пишу лишь попутно, и для тех, кто его не знал или о

нем забыл. Сомневаюсь, впрочем, чтобы для большинства французов современных это могло иметь какой-нибудь интерес.

Во французском кружке, который тогда у нас собирался, мы на такие темы разговоров не вели. Но после наших «суббот» со странной смешанностью русских, эти французские собрания были отдохновенны. В моей ажанде записано: «Сегодня вечером — любопытно; Дитль Dumur, Severac, V. Bach, Лагардель (какой он приятный!) гр. Прозор, А. Бенуа (случайно), Оливье, Баруцци... два юноши, — не помню фамилий. Интересные для их изученья разговоры (философия и социализм). Только Баша я не люблю».

К этому Виктору Башу и Дм. С. не питал большой симпатии, но Баш к нему особенно тяготел тогда. Мы (опять по ажанде) у Баша однажды обедали, встретили там декана Круазье и какую-то M-lle Дикмэ (?). Ее Дм. С. нашел «страшной».

Кто такой Оливье и почему он у нас появился, — решительно не могу вспомнить. В ажанде моей от 10 дек. 07 нахожу: «Были на лекции Лагарделя. Оттуда — в кафе с Берт, О л и в ь е и др. Дм. С. протестовал и удивлялся, что Лагардель объявил Маркса — синдикалистом».

Может быть, Оливье был синдикалист, как Лагардель. Прежде чем вернуться к нашим встречам с русскими революционерами и к другим эпизодам нашей парижской жизни — к лекциям Дм. С-ча, между прочим, хочу рассказать об одном вечере, не знаю кем устроенном, в пользу русских безработных. Я и Дм. Серг. в нем участвовали вместе с Верой Фигнер и... с Анатолем Франс.

Вероятно, устроила его М-ме Аничкова, — Ivan Strannik — потому что именно у нее мы раньше видели, и не раз, Ан. Франса. Видели... и слушали, ибо там, где он бывал только и можно было, что — не говорить с Ан. Франс, а его слушать. В обычной позе, облокотясь на камин, он говорил, говорил...

очень приятно, остроумно, обо всем и ни о чем; остальные, сколько бы их и кого тут ни было, имели свое определенное дело: молчать и слушать мэтра. M-me de Caillavet, вечная его спутница (и, кажется, крест его жизни), как будто что-то говорила иногда, а может быть и нет.

Не помню, к сожалению, в какой зале был вечер (тогда, ведь, были другие залы в Париже для лекций и вечеров), но зала большая — и полным-полна, — какой публикой? Всякой, главным образом русской. Ведь Вера Фигнер и мы с Дм. С. читали по русски...

Ан. Франс на эстраде не выигрывал: около камина, в интимной обстановке, он казался и стройнее, и увереннее, и голос его звучал мягче. Вера Фигнер, немолодая, с длинным (когда-то красивым) лицом, неловкая и застенчивая, в белом платье, читала какие-то замысловатые вирши. Да ведь не в поэзии была ее слава! Мне помнится, главное, артистическая комната: длинный стол с угощеньем и Вера Фигнер рядом с M-me de Caillavet: она (раз тут Анатоль!) разыгрывала хозяйку. Ей было, конечно, известно, что эта неловкая дама провела 12 лет в заточении, — — dans une forteresse! Она решила ее ободрить, быть любезной, и ничего не нашла лучше, как приняться к ней приставать:

— Vous êtes une héroïne, madame, n'est-ce-pas? Vous êtes une héroïne?

Что могла ей ответить бедная Фигнер?

— «Да, мадам, я героиня?», или «нет. не героиня, оставьте меня в покое?»

Кажется, она не ответила ровно ничего. Во всяком случае, M-me de Caillavet осталась недовольна.

5.

Дмитрий Серг. был при конце своей трудной работы — трагедии Павла I, — когда моя статья «О насилии», предназначенная для сборника и бывшая

как бы сводкой наших разговоров между собой, была кончена. Я ее прочла обоим, Д. С-чу и Д. Ф., ожидая возражений, главным образом от последнего. У нас были разные методы писанья, его природная стихийность протестовала против моей методичности. Возражений от Д. С-ча я не ожидала: ведь это было, в главных чертах, то, к чему, в наших общих разговорах, пришел, наконец, и он.

Мои догадки оказались верны. Д. С. принял статью полностью, как еслиб сказанное в ней было и его собственное. Д. Ф. возражал, но, не имея своего положения, чтобы противоставить нашему, принял, в конце-концов, наше. А Д. С. даже решил сделать из этой статьи свою лекцию, первую в Париже. Лекция и его собственное. Д. Ф. возражал, но, не имея своего не состоялась. Прибегаю опять для точности к моей ажанде:

> «16 февраля, Пятница. Лекция Дмитрия (мое «насилие») не состоялась. Толпы, толпы народа. Гвалт и лом, улица запружена. Дмитрия стиснули темном кольцом. Кажется, дрались, наконец, выбили стекла — и все кончилось. Полицейские очистили залу. Мы едва вылезли. Пошли по запруженной улице в кафе с Кричевским (будущий оппонент Дм., соц. демократ, еврей, будто бы философ.) Были еще два «эмигранта», солдат и матрос. Лекцию решили перенести в какую-нибудь другую, громадную залу».

Через пять дней, 21 февраля, эта лекция и состоялась... в гигантской Salle d'Orient. Дикая масонская зала, вся красная с золотом. (Очевидно, в те годы она сдавалась всем желающим). Сошло все хорошо. Было чуть не 1000 человек. А возражения пришлось перенести еще на другой вечер.

Среди оппонентов был незадолго до того неожиданно явившийся к нам и Андрей Белый — (Боря Бугаев). Тот самый молодой московский поэт и писатель, что жил у нас в Петербурге, наезжая из

Москвы, и слушал с нами Гапона 9 января в Вольно-Эконом. О-ве. Мы и не знали, что он заграницей. Явился он в Париж после шатанья по Германии, — с трубкой, в пелерине и в гетрах. Оказывается — на смерть поссорился с первым своим другом, поэтом Блоком, в жену которого был влюблен. Но поссорился не из-за жены, а из-за пасквиля, который сам же на Блока, ни с того, ни с сего, написал. Удивительное это было существо, Боря Бугаев! Вечное «игранье мальчика», скошенные глаза, танцующая походка, бурный водопад слов, на все «да-да-да», но вечное вранье и постоянная измена. Очень при этом симпатичен и мил; надо было только знать его природу, ничему в нем не удивляться и ничем не возмущаться. Прибавлю, чтобы дорисовать его, что он обладал громадной эрудицией, которой пользовался довольно нелепо. Слово «талант» к нему как-то мало приложимо. Но в неимоверной куче его бесконечных писаний есть, кое-где, проблески гениальности.

Если я отмечаю его приезд в Париж, то вот для чего: он поселился недалеко от нас, в маленьком пансиончике около rue (тогда «rue») Mozart, ежедневно приходил к нам на целый день, но завтракал у себя, и — за одним столом с Жоресом. О Жоресе он нам постоянно твердил, рассказывал, что ведет с ним длинные разговоры, хотя и тогда, да и сейчас трудно себе представить, о чем мог «длинно» разговаривать Жорес с таким абсолютно ему чуждым существом, как Боря Бугаев. Наконец, Боря объявил, что Жорес хочет, будто-бы, с нами познакомиться и просил нас притти в его пансиончик в таком-то часу, сейчас после завтрака. Д. Фил., очень Жоресом интересовавшийся, тотчас же согласился. Дм. С. тоже (Мы знали Жореса только по его публичным выступлениям. Оратор он был, надо сказать, огненный).

И вот характерная черта Бори Бугаева — Андрея Белого: через долгие годы, в толстом томе своих «воспоминаний», он с мельчайшими подроб-

ностями описывает это наше, им устроенное свиданье с Жоресом, что сказал Дм. С., как он Жоресу не понравился, что именно говорила я, как смотрела на Жореса в лорнет, в каком даже была платье... между тем меня в этот день в пансиончике — совсем *и не было*. Больная очередным бронхитом, я осталась дома, ходили только Д. С. и Д. Ф. Что они потом мне рассказывали, — я хорошо не помню, но наверно не то, что так образно и подробно описал Боря через 25 лет, в течение которых мы с ним и не встречались. В одном из своих сборников статей Дм. С. очень интересно описывает эти свои 2 кратких знакомства: с Жоресом и Ан. Франсом. После большевицкой революции Боря был некоторое время в Берлине (где, говорят много пил и танцовал), но потом добровольно вернулся к Советам. Было не разобрать, предан им или нет, да это все равно: уж как был предан поэт Валерий Брюсов, и как эту преданность не выказывал, — им то большевикам, ни он, ни Андрей Белый, были ненужны. И бедный Боря там умер — в ропоте и нищете.

В последний раз мы его видели в 1917 году, во дни мартовской революции у нас. Он тогда только что приехал в Россию после четырех лет пребывания, с женою, в Дорнах, у Штейнера, как самый преданный его ученик. Но вернулся тогда уж с дикими своему «учителю» проклятиями (вместо недавних дифирамбов), — что нас, при знании Бугаева, и не удивило. Кстати: Herr Doktor Штейнер приезжал однажды в Париж, когда мы там жили, как-то поздней весной. Мы пошли на одну из его лекций — в частном доме, на rue Raynouard, в rez de chaussée небольшого особняка. Темноватая зала, переполненная пожилыми дамами, замирающими от благоговения перед «пророком». Высокий, жилистый, бритый, говорил он уверенно и красноречиво, если не вдохновенно. Мы пошли потом запивать эту лекцию кассисом в соседнее кафе, вместе с извест-

ным тогда Шюрэ и нашим другом, художником Алкс. Бенуа.

А через несколько дней мы встретились со Штейнером вечером, у русского поэта Макса Волошина, тогдашняя жена которого была ярая штейнерианка. Мне помнится это свиданье спором, который возгорелся между Дм. С-чем и Штейнером. Спор, на немецком языке, шел о Евангелии, и, конечно, добром кончиться не мог, ввиду глубоко отрицательного отношения Дм. Серг. и к теософии, и к ее западной форме — антропософии.

***

Здесь я хочу упомянуть об одном нашем частном парижском знакомстве, которое имело для Дм. С-ча большое значение и оставило след на всю его жизнь.

Как-то у M-me Ivan Strannik, жены проф. Аничкова и приятельницы Анатоля Франса, днем, мы встретили одну русскую даму, М. Н. Д., еще довольно красивую, необыкновенно живую и остроумную. Мы были там вдвоем с Дм. С., без Д Ф. Когда мы вышли, вместе с этой дамой, М. Н. Д., оказалось, что мы живем в двух шагах друг от друга, в Auteuil. На фиакре с зеленым фонарем (зеленые фонари обслуживали наш quartier) мы отправились отвозить нашу новую знакомую. Она попросила нас зайти к ней, но было поздно, и мы зашли только в сад ее виллы. В саду нас встретила ее дочь, с которой мы тут же познакомились. Это была высокая, совсем молодая девушка, с таким прелестным, нежным, чисто-русским лицом, что мне подумалось невольно: «Вот такой была, верно, Маша, капитанская дочка — у Пушкина». Мать и дочь жили в этой вилле вдвоем. Жили они в Париже подолгу, но не постоянно. За время нашего пребыванья они уезжали в Петербург и возвращались несколько раз. После случайного нашего знакомства, мы все стали часто посещать близ-

кую виллу. По соседски, приходили постоянно и они к нам. Княжна Грузинская оказалась их приятельницей.

«Пушкинская Маша» (мать звала ее Марусей), своей тихой, полу-женственной, полу-детской прелестью очаровала нас всех. Скоро мы поняли, как разнится ее характер от материнского. Г-жа М. Н. любила свою единственную дочь по своему, — властно, ревниво и деспотически. В таких живых натурах черты деспотические не редкость. Дочь любила ее нежно и была мягким воском в ее руках, постоянной маленькой девочкой. Такой она и осталась на всю жизнь, несмотря на свое замужество и троих детей. С ними и опять вместе с матерью, но без мужа, она впоследствии жила в Париже и в эмиграции. Ревнуя дочь к мужу (хотя брак был и не против ее воли), она не то что их поссорила, но разлучила, и муж остался в другой стране. Когда обе дочери ее вышли замуж, а сын уехал служить, она все-таки осталась одна с матерью, до самой ее смерти.

Я говорю об этом прелестном существе потому, что моя «капитанская дочка» была *голубой* любовью Дм. С-ча. В ней было для этого все: нежная женственность, покорная беспомощность и даже какое-то вечное «девичество». Я думаю, Д. С. и чисто-русскую душу ее ощущал.

Он любил в жизни не многих людей. Но к кому бы и какая бы у него не являлась любовь сердца, она никогда больше его не покидала. Я уже не говорю о его любви к матери. Ни ко мне. Но и к Философову, расставшемуся с нами после 15-тилетней совместной жизни, его чувство до конца оставалось прежним. Прелестную же девушку с круглым милым личиком он не забывал никогда. Мы мало встречались в Петербурге, после ее замужества, — мы жили в разных кругах общества. И здесь, в эмиграции, он не видел ее иногда год, два, потом опять встречались, она приходила к нам, или мы шли к ней и к ее матери, когда мать еще была жива.

Она, конечно, чувствовала его отношение и встречалась с ним всегда радостно... как теперь я с ней — и она со мной.

6.

К концу второго года нашего пребыванья в Париже «Павел I» Дм. С-ча был окончен, и он писал уже статьи для будущего сборника «Не мир, но меч». И готовил в окончательной редакции свою статью для сборника французского (он набирался). Но почему-то Д. С. находил эту статью не подходящей для публичного чтенья по-русски, среди русской аудитории, а потому для второй своей лекции выбрал опять мою первую о самодержавии.

Лекция прошла, судя по моей тогдашней записи, удачно, особенно удачно было заключительное слово Дм. С-ча. У меня не отмечено, в какой зале это происходило, но не в Orient, а вероятно в обычной зале-бараке на Choisy, где тогда читалось большинство русских лекций. Два раза читал и Д. Ф., а както раз — Минский, со скандалом.

Минскому вообще не везло. На одном стихотворном благотворительном вечере он решился прочесть свое стихотворенье, написанное еще в России, должно быть в то время, когда он старался удержаться в Ленинской газете, отчасти написанное и так, по озорству. Даже просто как стихи — это была дрянь. Первая строчка:

«Пролетарии всех стран — соединяйтесь!»

И далее, по трафарету, тем же танцующим ритмом, над которым мы издевались. Он — ничего, не обижался. Но публичное чтение вызвало решительный скандал. На лекции же его попросту началась драка, кто-то крикнул из задних рядов: «Г-н лектор, тут бьют!» И лектор, схватив со стола бумаги, удрал че-

рез заднюю дверь. Не забудем, что среди тогдашней русской публики много было солдат, матросов и, если угодно, пролетариев, но коммунистами они не были и о марксизме понятия не имели.

Был ли Минский большевиком? Ничуть. Большевицкой России он не видал, неудавшийся его газетный марьяж с Лениным в 1905 году мало чему его выучил. А все-таки к большевизму его как-то тянуло...

А что же наше сближенье с политическими эмигрантами, революционерами-народниками?

Относительно Савинкова — неприятный дивертисмент. Бунаков, придя, с сокрушением стал рассказывать вот об этих савинковских «личных делах». Бунаков был по природе добродушный всепримиритель, не всегда успешный, но старательный: уж очень огорчался, когда в его «хозяйстве» (в партии) начинались семейные истории, некрасивые нелады. А тут вышло дело особенное. Савинков был женат на дочери очень известного в России, старого писателя-народника, Глеба Успенского. (В юности, когда Д. С. народничеством увлекался, он даже к этому Глебу Успенскому специально ездил, чуть ли не в новгородскую губернию).

Савинков женат был давно, жена его, с двумя детьми, сыном и дочерью, мирно жила в Петербурге, их не беспокоили (правительство, ведь, было не большевицкое!). Но в последний год, когда Савинков бежал из тюрьмы и поселился в Париже, и близкой «работы» для него не предвиделось, он решил выписать семью к себе. Жена с детьми приехала, и они поселились в небольшой квартирке на rue La Fontaine, в доме как раз против нашего, окна в окна, через пустырь, который тогда отделял улицу Théophile Gautier от параллельной — La Fontaine. Оттуда из пустыря, только и слышно было, что пели петухи.

Все шло по хорошему, пока Савинков вдруг не влюбился. И обернулось это весьма серьезно. Наив-

ный в своем добродушии Бунаков, давно к тому же знавший и любивший Веру Глебовну, жену С-ва, стал умолять друга оставить новую любовь, сохранить семью. И пришел нас просить его поддержать.

Напрасно мы с Д. Ф. уверяли его, что лучше никому в такие дела не входить, Б. настаивал. Сказал, что Савинков сам придет говорить с нами об этом.

Мы Веру Гл. знали. У нее было измученное, трагическое лицо, со следами прежней красоты. Конечно, ее было жалко, но все же эти интимные дела нас не касались.

Савинков, однако, пришел, и разговоры начались. Пишу об этом ради одного обстоятельства, которое отчасти рисует образ этого человека.

Слушая долго, молча, его разговор с Д. Ф. (Д. С-ча не было), я, наконец, заметила, — без упрека, равнодушно: «Однако, я вижу, вы довольно слабый человек». Он побледнел, как смерть, так что Д. Ф. испугался, вызвал его в другую комнату, где — рассказывал он мне потом — стал его успокаивать, уверять, что я сказала такие слова, не думая, случайно, и т. д. А после — Д. Ф. меня же стал упрекать в неосторожности и в незнании чужой психологии.

Но я Савинкова давно перестала бояться, история была мне противна, раскаянья я не почувствовала. И с глубоким недоверием отнеслась к сообщению Бунакова, когда, через два дня, он пришел, радостный, объявить, что друг от новой любви отказался, жену не покидает.

Прошло некоторое время. Савинков пригласил нас всех к себе, чтобы прочесть нам свои «воспоминания» о Каляеве (член «боевой организации», исполнитель «дела Плеве» и вел. кн. Сергия, друг ближайшего участника в этом «деле» — Савинкова).

Факты, приводимые в «воспоминаниях» — потрясающи. А как это было написано! Не то, что не-

умело, пусть бы! Но с оскорбительным, для фактов, и для памяти этого человека, безвкусием, с пошлой претенциозностью, с подражанием — неизвестно кому, Пшебышевскому, что ли. Я знала, что Д. С. и Д. Ф. это видят, и, превратившись в литературного критика, всю правду автору серьезно высказала. Он также серьезно меня выслушал, без всякой обиды, — что меня даже удивило; но мы не знали тогда, что этот человек обладал одной способностью... не умею ее назвать: не «мимикрией», ибо это была не чистая, голая подражательность, а скорее способностью схватывать на лету и усвоять все, что он только мог сделать своим и что могло, думал он, ему пригодиться. Суть моей критики была такая: «если хотите писать, — пишите *проще*, до последней возможности просто, думая лишь о том, *что* вы хотите сказать, а не *как* вы это скажете».

Не всем можно было дать такой совет, но ему — следовало.

7.

Как ни близка была наша связь с Россией, — мы, в начале третьего парижского года, серьезно стали подумывать о возвращеньи. Отчасти и потому, может быть, что связь была так близка: каждый по своему — мы чувствовали, что в России творится неладное, тосковали.

Первая Дума, когда интеллигенция в Думу, было, поверила, — оказалась тотчас разогнанной; вторую разогнали еще скорей; третья была уж откровенно-комедийной. Сестра моя Татьяна писала об усилении репрессий. Она же рассказывала, что в литературных и политических кругах происходят какие-то нелепые и кощунственные сборища, вообще какой-то болезненный хаос.

Нас задерживало в Париже кое-что внешнее — и кое-что внутреннее. Внешнее — это, во-первых, на-

меченная французская лекция Дм. С-ча в Ecole des Hautes Etudes. (О ней, когда она состоялась, у меня записано только, что Дм. С. читал очень хорошо, а председательствовал V. Bach). Во-вторых, — задерживал нас «Павел I», его перевод и предполагавшееся французское издание (по-русски он еще не вышел, да Д. С. хотел и напечатать его раньше в русских журналах). Кроме того, появились разные соблазнители, уверявшие Дм. С-ча, что возможна постановка драмы на какой-нибудь парижской сцене, и устраивавшие для того наши свиданья с будто бы полезными людьми. Д. С. и сам не очень-то в это верил, но так как в России ни о чем подобном нечего было и мечтать, то, когда перевод был готов, не отказывался читать отрывки в тех или других местах. Между прочим, не знаю как, но именно благодаря вопросу о «Павле», кто-то нас познакомил... с Léon Blum'ом. Кажется, Блюм тогда и депутатом еще не был, а какую связь имел он с театром — неизвестно. Было лишь известно, что он очень богат и где-то имеет фабрику шелковых лент.

Мне помнится только наш у него завтрак. Пышная вилла, кажется, — недалеко от парка Monceau (точно не знаю). Великолепно сервированный стол, цветы, хрусталь, куча незнакомых нам французов. Жена (которая была у него в тот год), изящно одетая и все-таки незаметная. Я бы наверно помнила, о чем шли разговоры, если бы они были интересны, или если бы сам Блюм меня заинтересовал. Но даже характерная наружность его показалась мне ничтожной. Его кот был интереснее. Громадный ангорский, он появился при конце завтрака, тотчас же властно вскочил на стол и стал медленно прохаживаться между хрустальными рюмками с такой ловкостью, что ни до одного стакана не дотронулся, ни одна рюмка не зазвенела. Мне почему-то подумалось, что если б Леон Блюм родился котом, он наверно с такой же ласковой ловкостью прохаживался бы по чужим столам.

А внутренняя задержка в Париже — это наши

друзья — революционеры. Дм. Серг. не сомневался, что революция в России будет, что сделают ее, может быть, вот эти самые революционеры-народники, но что им не хватает религиозного, христианского самосознанья, хотя по существу они к христианству близки. Бунаков, пожалуй, к христианству и был по природе склонен (или к христианской морали), несмотря на свое еврейство. В Савинкове же, как и в других, начиная с Веры Фигнер, ни малейшего христианства пока не замечалось. Мы с В. Фигнер, когда она приходила к нам, ни о чем «божественном» и не заикались. Но вот явится к Дм. С-чу Савинков, скажет с пышностью, что ему — «либо ко Христу, либо в тартарары», и Д. С. верит, идет, глядишь, к нему вечером один, на что-то в нем, на какое-то просветление надеется...

Конечно, и Дм. С-чу было неприятно (хотя не очень в С-ве разочаровало), когда в один прекрасный вечер, явилась Вера Глебовна, жена, с особенно измученным лицом и сказала, что больше не может, уезжает с детьми в Россию, оставляя «его» новой жене, с которой он и не думал порывать. Нас с Д. Ф. это ничуть не удивило. Но казалось (мне, по крайней мере), что это просто эпизод дурного тона, и если слабость, то именно в известном отношении, в любовном, — где все бывают слабы. В революционную же силу воли Савинкова и я тогда верила. Вообще он мне казался человеком интересным и значительным, интереснее Бунакова. Д. Ф. симпатизировал больше Бунакову, а С-ва как то сторонился. Впрочем, все мы тогда воображали, что можем им в чем то идейно помочь, и когда они нас уговаривали еще остаться, не уезжать, мы на эти уговоры поддавались и все время отъезд откладывали.

Я могла бы нарисовать несколько портретов других тогдашних революционеров-эмигрантов, как Книжник-Ветров (считался анархистом) или старушка Ков-ская, «экс» (участвовавшая в экспроприациях) — да мало ли! Но это не так интересно. Отмечу

только, что мы бывали у «вдов» казненных, — они жили тогда вместе, мирно и как-то благородно. Прелестна была одна, не вдова, а невеста не казненного, но погибшего на каторге Сазонова (убийцы Плеве?) Мария Прокофьева. Хрупкая, нежная, тихоня, — «чистейшей прелести чистейший образец», как мы ее называли. Она тоже была в Сибири, — по «царскому делу», — и оттуда бежала. У нее глаза смотрели как-то «по нездешнему». Напомнили мне глаза Марии Добролюбовой, сестры того старинного, яростного «декабриста», который вдруг, всего «совлекшись», скрылся в русском море сектантства. Та Мария тоже была революционерка, после тюрьмы заболела и рано умерла.

Мог ли Дм. С., и как, идейно помочь революционерам — это остается под вопросом. Но что я помогла Савинкову, его писаньям, своей резкой критикой его дебюта — это скоро выяснилось. Он на лету схватил мои внешние советы и принялся, им следуя, писать роман. С самого начала это было уже сделано иначе и лучше, нежели его «Воспоминанья». Скажу кратко: писал он, конечно, себя, свою революционную жизнь, а идея всего романа — взята из тезисов Дм. С-ча к его лекции «О насилии» (текст тезисов недавно нашелся здесь). Герой романа, несмотря на давящую тяжесть крови, которую проливает, не погиб, пока проливал ее не ради себя, а «во имя» чего-то высшего. И тотчас погиб, духовно и физически, когда убил на дуэли какого-то офицера ради личного интереса, для себя. Роман читался нам по частям, и автор чудесно понимал и воспринимал всякое замечанье. Заглавие, довольно нелепое, я ему переменила, назвав роман «Конь бледный» (с эпиграфом из апокалипсиса), а псевдоним, тоже неинтересный, предложила заменить одним из своих, под которым недавно написала статью в «Полярной звезде», журнал, уже прекратившийся. Все это он с радостью принял. Роман мы увезли в Россию и напечатали его в Русской Мысли. Так родился писатель

В. Ропшин... к радости многих злых критиков, но к своей собственной, главным образом*).

8.

В самом начале этого года (1908) Дм. С. несколько раз читал отрывки из своего «Павла» у молодого мецената Щукина, который часто бывал у нас. Дм. Ф. говорил иногда, что завидует ему: «простая жизнь простого человека», без запросов, довольного немногим. И нас, — от неожиданности, вероятно, — очень поразило, что он вдруг отравился цианистым калием. Да и гражданские похороны, на автомобиле, мы видели в первый раз. Д. Ф. был, кажется, и в крематории, что произвело на него особенно угнетающее впечатление.

В эти, как раз, дни из Петербурга приехал Н. Бердяев, тот самый бывший марксист, с которым я провела в разговорах столько петербургских поздних вечеров, слобом — один из «идеалистов», которым мы передали «Новый Путь», превращенный ими в «Вопросы Жизни».

«Новый Путь», как никак, просуществовал три полных года. А «Вопросы Жизни» не протянули и несколько месяцев. Когда Бердяев приехал в Париж, журнала уж давно не было. Это понятно, и не внешние причины виной. Нас соединяла общность идей, — все равно, каких, — а в новом журнале каждый оставался как бы сам по себе.

«Идеализм» был для них лишь этапом, переходной ступенью к религии (которая была тоже переходной ступенью — к церкви). В марксизме — и в церкви только и могли быть соединены такие разные

---

*) Дальнейшую судьбу этого «писателя» (да и человека) я отмечу впоследствии. Здесь скажу только, что он пытался после подражать себе же романисту. Написал «Конь вороной» (так был, очевидно, ушиблен первым «Конем»), но это было уже слабо и ненужно.

по природе и темпераменту люди, как, например, Булгаков и Бердяев. Пока же шли они по «ступеням» — общности в деле не получилось. Еще до отъезда в Париж оба мы с Д. С. об этом где-то писали. После прекращения журнала и с переходом к «религии» у них вышло несколько сборников. В предисловии к одному из них, последнему, было сказано, что участники объединены «христианским миропониманьем», но по «вопросам второстепенным свободны держаться личных мнений». На деле оказалось, — как я это подчеркнула в обстоятельной статье, что именно в «христианском миропонимании» все участники сборника не только рознятся между собой, но прямо стоят на противоположных позициях: каждая статья противоречит каждой. Точно они друг друга не слышат и друг на друга не смотрят. Опять и это было естественно, пока они не вошли, наконец, в Православную Церковь, где уж разногласиям ни по каким вопросам места нет.

Бердяев, когда, в январе 1908 года приехал в Париж, еще не «вошел» в Церковь, но уже не «колебался между идеалом Мадонны и идеалом содомским», как недавно, объявлял себя «христианином», чему мы, за него, очень были рады. Мы стали ежедневно видаться, — у нас или у него. Сестра жены его (он приехал с женой) давно жила в Париже. Мы ее знали, она была замужем за Раппом, русским адвокатом, — эмигрантом ли — не помню.

Однако, наши свиданья и новые разговоры с Бердяевым не ладились, и чем дальше — тем меньше. Всех лучше, добрее, я бы сказала — нежнее, — относился к нему Дм. С. Дм. Ф. ему почему то не доверял, а может быть его отталкивала неудержимая страсть Бердяева к полемике, даже в тех случаях, когда она не была неуместна.

С женой Бердяева, Лидией Юдифовной, мы тоже часто видались, ее настроение я не понимала, слишком было оно у нее мрачное.

Так все и шло; понемногу подготовляли мы наш

отъезд в Россию, решив быть там не позже лета. Семнадцатого марта я получила письмо от моей сестры с известием, что С. Ив. Мережковский, отец Дм. С-ча, очень болен; а на другой день — телеграмму, что он скончался. Умер через 19 лет день в день, после смерти жены, матери Дм. С-ча. Мы в Париже имели о нем сведения только от моих сестер, продолжавших сношения с ним и с братом Сергеем. От самого ж Сергея, да и не от кого из своей семьи, Д. С. никаких писем не получал.

Я никогда толком не знала, но мне помнится, что за несколько лет до смерти. С. Ив. Мережковский отделил детей, положив в банке на имя каждого сына по 80, кажется тысяч (дочерям он, очевидно, дал что-то раньше, ввиде приданного), но с каким то условием, чуть ли не сохранение капитала неприкосновенным до его смерти. Повторяю, что в точности мне это неизвестно. Знаю только, что в России, в годы после нашего возвращения из Парижа, у Д. С. были деньги в банке, он их не трогал (т. к. мы хорошо зарабатывали именно в эти годы) и лишь малую часть истратил на покупку какого-то куска земли в любимом своем Крыму, но где не было еще ни дома, ничего. Все лишь предполагалось. Во время мартовской революции 17-го года кто-то посоветовал Дм. С-чу перевести деньги заграницу. Против этого восстал Д. Ф., считая такое дело не патриотичным и Д. С-ча недостойным. Больше речь об этом не поднималась, а в октябре банки были реквизированы и все навсегда пропало.

9.

Подробностей о кончине Сергея Ивановича мы узнали немного. Умер он от ран на ногах (вероятно, воспаление вен). При кончине был только Сергей. Вот и все. Похоронен в Ново-Девичьем, рядом с женой, — давно купил себе это место. Смерть отца,

несмотря на коренную и давнюю между ними далекость, произвела на Дмитрия Сергеевича тяжелое впечатление (которое он, конечно, не выказывал). Ведь все-таки умер тот, кто всю жизнь любил (пусть по своему) ее, — дорогую и милую навсегда — его мать. Что-то старое, близкое ему, оборвалось со смертью отца — окончательно.

Мне то Сергей Ив. был уж совсем чужой. Когда получилась телеграмма, утром, мы с Д. С. прочли ее спокойно. Но за завтраком я, без всякой причины, вдруг заплакала (я тогда еще умела плакать). Д. С. удивился: «Что с тобой?» и сейчас же прибавил: «ах, ты это, верно, об отце...»

Март кончался. В апреле мы с печалью покинули нашу просторную квартиру, отдав в склад незамысловатую мебель, книги, бумаги, кое какие письма, и уехали из Парижа. Сначала, ненадолго, на берег океана, потом, через Германию, в Россию. Грустно было оставлять наших политических друзей: «Вы нас покидаете на перекрестке!» говорили они. Но кто нам мешал вернуться, хоть ненадолго, на следующий год, и потом опять и опять? Весной, конечно. Очаровательны парижские весны. Незнавший Париж до войны 14-го года, не видал его настоящего, живого, веселого, главное — веселого, в каждом гаврошe, насвистывающем все один и тот же мотив (тогда — кэк-уок), в мягком звоне бубенчиков, в пеньи соловьев в густом тогда парке Muette, веселого даже в нелепом Трокадеро с его водопадами и каменными животными, в незамысловатых «девочках» на Boule-Miche и в Rat Mort, веселого в разнообразных уличных запахах и переливных огнях.

Поезд уносил нас на север, мы смотрели в окна, и Дм. С. грустно сказал: «La douce France!...»

Мои сестры уже наняли дачу, где мы хотели провести конец лета с ними и с Карташевым.

В Петербурге мы жили всего несколько дней, никого не видали (летний Петербург!) и тотчас же отправились на дачу.

Осенью мы должны были переехать на нашу старую квартиру, но без сестер: они, с Карташевым взяли себе другую, отдельную. С ними вскоре поселилась и сестра Карташева, кончившая медицинский институт. Третья моя сестра (умершая впоследствии в эмиграции) была в то время земским врачем на Украине.

Не скажу, чтобы в эти месяцы настроение у нас было приятное. В Париже наши разговоры с Бердяевым кончились полу-разрывом, а вскоре мы узнали и о полном: получили открытку из Троице-Сергиевской Лавры, где Бердяев извещал нас, что «вошел» с женой, в православную церковь, обличал нас, укорял, что мы еще думаем о борьбе с нею, а не следуем его примеру. Как будто мы когда-нибудь «выходили» из нее, как будто Д. С. боролся с церковью, а не за церковь!! Кроме этой неприятности, Д. С-ча ждала и другая: его «Павел I», тотчас по напечатании, был конфискован. А это могло грозить и худшими последствиями...

С осени, в Петербурге, жизнь пошла как-то суетливо и уж очень «литературно». Мы сравнительно недолго провели в отсутствии; между тем изменилось за это время многое. Изменились, неуловимо, и старые друзья. Дм. С. говорил, что не понимает ничего в этой новой суете. В Москве, куда мы не надолго съездили, суеты было еще больше: неизвестно, кто с кем в дружбе, кто на ножах и почему. В Петербурге мы застали официально-разрешенное Рел.-Фил. Общество. Затеянное Бердяевым, потом им брошенное, оно едва прозябало. Затеяно оно было как бы вроде старых Собраний, но на них не походило. Дм. Серг. в него все-таки вошел (как и я с Д. Ф.), очень поднял его и оживил, внеся вопрос о нео-народничестве и споря с марксистами. Однако, это было не то. Не было настоящих двух сторон. Представители церкви туда не ходили, а просто там шли интеллигентские споры. Марксисты называли себя «богостроителями» (как поздний Desjardin),

а религиозных людей называли «богоискателями», как ни защищались последние от такой нелепой клички.

Розанов как-то совсем стерся, Блок помрачнел, погрузившись в особый патриотизм. Но Блока мы продолжали любить. Из за него у Дм. С-ча вышел частичный конфликт с «Русской Мыслью», куда он, Д. С., был приглашен редактором беллетристики (а я каждый месяц должна была давать крит. статью). Блок написал не то статью, не то поэму в прозе, о России, очень красивую и глубокую. Дм. Серг. прочел ее в Р. Ф. О-ве и затем хотел напечатать в Русской Мысли. Но московским редакторам она пришлась почему-то не по вкусу, (П. Б. Струве и, кажется, Булгакову) и Д. С-чу отказали. Тогда Дм. С. отказался от редактирования и журнальной беллетристики (чему я, признаюсь, была рада, т. к. по своей занятости, Д. С. часто сваливал эту работу на меня). А сотрудниками Р. М., и постоянными, мы остались попрежнему.

Д. С. работал очень много: он теперь писал почти во всех журналах и во многих газетах, как в «Речи» и в московском «Русском Слове». Это писанье коротких и длинных статей, которые он выпускал книгами под разными заглавиями, не мешало ему готовиться к новому, давно задуманному роману «Александр I» Д. Ф. тоже много писал — главным образом в «Речи», органе умеренных ка-дэ (конституционалистов-демократов), к которым он ближе стоял, чем Д. С.

Между прочим: «богостроительство» и «богоискательство» проникло даже в эту твердокаменную редакцию: недаром кто-то назвал эту зиму «сезоном о Боге».

В середине зимы пришла бывшая жена Савинкова, В. Гл., и рассказала историю обличенного оберпровокатора Азефа. Она его знала и, как партийцы, ему верила. Не к чести... если не Савинкова, то его ума, надо заметить, что на каком-то их «суде» он,

уже после разоблачения Бурцева, еще защищал этого «товарища». Тут в первый раз подумалось, что Сав-в не видит, не знает людей...

В эту же зиму впервые выплыло на свет имя Распутина. О его втором, «пролетарском» издании, — Щетинине — я расскажу дальше.

Не так давно вошедший в литературу талантливый писатель Ремизов оказался этой зимой в бедственном положении. Когда-то он был секретарем журнала «идеалистов», жил с женой (большой нашей приятельницей) и новорожденным ребенком в редакции... Но теперь был в нужде, и мы вздумали устроить для него частный вечер. Дм. С. обратился к верному другу — очаровательной баронессе Икскуль,— и, с ее содействием, был устроен единственный в своем роде вечер,— в ее собственном особняке (уж не у Аларчина Моста, а в белом двухэтажном доме, прямо против Кирочной, в двух шагах от нас). Состоялся он 14 декабря. В уютном зале — что-то вроде сцены, с раздвижным занавесом. Известные тогда артисты разыграли 2 действия (или 2 картины) из драмы Дм. С-ча «Павел I». Прошло с интересом, даже внешне, — костюмы были того времени. Павла играл Озаровский, Елизавету с арфой, кажется, его жена. Кто играл Палена — не помню, но все были на своих местах.

Во 2-м отделении читал что-то Ремизов (он хороший чтец) и я, свое стихотворение «14 Декабря» (первое из трех):

Смотрите, первенцы свободы —
Мороз на берегах Невы!

Публика была самая пышная. Между прочим — Шаляпин. Писательница Мария Крестовская, тогда уже смертельно больная, трогательно умоляла его спеть. Но он, конечно, отказал. Даже резко. Суров был на этот счет.

Вечер имел и большой материальный успех. А

вот наша жизнь пошла неудачно. После трехлетней отвычки от Петербурга, Д. С.-ча и меня стали преследовать гриппы. После одного, очень сильного, у Дм. С. начались перебои сердца. И очень уж он заработался, утомился, а тут еще и начинал свой роман «Александр I». Начинать же большую работу, — говорил он, — особенно трудно. Да и все мы, сказать по правде, к весне как-то отупели и развалились. Решили на лето поехать в Германию и Швейцарию. В Шварцвальд, т. к. после моря Д. С. любил больше всего лес.

Однако, во Фрейбурге, несмотря на конец мая, оказался такой холод, что мы переехали в Лугано. Отдохнуть и тут не пришлось. Получили письмо от Савинкова (он знал, где мы, я с ним переписывалась). Он не то что просил — почти требовал, чтоб мы приехали в Париж, что ему необходимо, будто бы, о чем-то очень важном с нами говорить. Это было неприятно, я видела как утомлен, до нездоровья, Дм. С., как ему нужны отдых и спокойствие, хотя бы в течение нескольких недель. Но после наших парижских разговоров, после всего, что писал Дм. С., тут было что-то вроде долга. Д. Ф., я видела, считает это именно долгом Дм. С-ча, и что если он не поедет («ради своих удобств»), долга не исполнить, то Д. Ф., всегда «лойальный» сам и требующий того же от других, затаит вражду к Д. С-чу, от которого он требовал особенно много. Я уже говорила об этой его требовательности к Дм. С-чу. Считала ее неправильной и неправедной (она доказывает высокое мнение о человеке, но не всегда любовь) — однако, я старалась устранять предлоги и случаи для суда над Дм. С-чем, а потому высказалась за поездку в Париж. Мы ехали через всю Швейцарию, а холод был такой, что снег лежал на крыше вагонов.

10.

В Hôtel Iéna, где мы остановились — неделя каж-

додневных разговоров с Савинковым и Бунаковым. Оказывается, они «сочли долгом возродить боевую организацию» после разоблачения Азефа (она была распущена), чтобы «оправдать бывшее». Старую революцию, — смешанную с провокаторской грязью и ложью!

Было мучительно и бесплодно. Они ждали одобрения, чуть не благословенья Дм. С-ча и, конечно, не могли его получить. Савинков ничего не доказывал, да мало и слушал, только упрямо повторял: «Я чувствую, так надо. Так хорошо».

Растревоженный, сугубо утомленный, Дм. С. уехал с нами в Германию — в Гомбург.

И вот — вторая зима в Петербурге, куда мы вернулись, совсем не отдохнув. Этой зимой (1910 - 1911) в России — крепкий сон, морозы и мороз реакции, неслыханное торжество виселиц.

Рел.-Фил. О-во кое-как (с опаской) шло, вокруг образовалось несколько секций, одна — наша, в Народном Университете. Во главе — профессор этого университета, А. А. Мейер, новый наш друг, человек очень интересный.

Не касаюсь истории епископа Михаила, создавшего секту «голгофцев». История интересная, но она длинна, и рассказана у меня в другой книге.

Наши гриппы не щадили нас и этой зимой. Дм. Серг. плохо поправлялся после каждого. Он казался больным еще с прошлой зимы. После одного гриппа, особенно жестокого, у Д. С. начались уже не перебои, а боли в сердце. Я позвала нашего обычного доктора Ч.*). Когда моя мать была смертельно больна, он не нашел у нее ничего сердечного; теперь, боясь, м. б. новой ошибки, он перегнул в другую сторону: объявил мне и самому Д. С-чу, притом весьма неосторожно, что находит органические изменения в сердце, начало склероза, назначил специальное сердечное леченье, с глиной и т. д., запретил вы-

*) Чигаева.

ходить из за лестницы (3-й этаж без лифта), — а не выходить для Д. С., привыкшего к прогулкам, — это много значило! — словом, совершенно перевернул нашу жизнь.

Д. С. никогда не был мнителен, никогда болезней своих не преувеличивал и на них не жаловался; но такой серьезный приговор, да еще нарушающий все течение его жизни, — лежать, не работать, не дышать чистым воздухом — все это привело его в тяжелое, нервно-раздраженное состояние духа. Д. Ф. тоже пришел в раздраженье: ему казалось, что Дм. Серг. весь под страхом возможной смерти, а это, по его мнению, опять было недостойно такого человека... Леченье, между тем, не помогало, да и совсем бросить работу Д. С. не мог; а прогулки я предложила заменить прохаживаньем по комнатам, в шубе, при настеж открытых окнах.

От этих ли «прогулок», когда вся квартира наполнялась морозным воздухом, или от чего другого (от всего вместе, может быть) я в марте заболела «обострением» моего легочного процесса, как нашел тот же доктор Ч. Думаю, и тут он преувеличил, хотя, в Париже, французский доктор, к которому послал меня И. Мечников, заявил, что я не могу жить зимой в Париже, а должна ехать в Малагу. Это петербуржанка-то не может жить в Париже! Но доктор был хороший, я часто потом у него бывала, хотя в Малагу не поехала. Кстати об Илье И. Мечникове, тогда директоре Пастеровского Института. Мы в Париже с ним часто виделись, и в институте, и у него. Он был очень приятен своей живостью, верой в человеческое долголетие и даже верой в магическую силу югурты, горшечки которой он тщательно ставил в кабинете и для коллеги, давно больного доктора Ру. Однако, Ру на много лет Мечникова пережил, этого еще не старого и полного жизни человека, женатого на молоденькой женщине (что, по его убеждению, тоже способствовало долголетию, как и югурта).

Этой весной я была рада своей болезни и предписанью Ч. — ехать на Ривьеру. Мне казалось, что это будет хорошо для Д. С.: надо прервать кошмар. Нам только жаль было расставаться с сестрами, встретить без них Пасху. Им тоже было неприятно отпускать нас обоих такими больными. Тогда Д. С. предложил им приехать на пасхальные каникулы к нам, где мы ни будем, на юге Франции, иль хоть одной сестре, Татьяне, которую он особенно любил (другая была и больше занята). Определенно ничего не решив, мы уехали. Я знала, что против поездки к нам будет Карташев: с ним у сестры велась постоянная, из-за Дм. С. и его идей, борьба.

Мы поселились в прелестной вилле, очень уединенной, между St-Raphäel и Канн, в Булурисе. Сад, полный цветов, совершенно райский, спускался прямо к морю, к плажу, этой же вилле принадлежащему.

Дм. С-чу стало сразу физически гораздо лучше, он мог гулять и работать, хотя настроение еще было подавленное. Он раздражался пустяками, что в свою очередь, раздражало нашего компаньона, Д. Ф., но я была уже спокойнее, хотя не поправлялась. Я все думала, приедет ли сестра, но в письмах не настаивала, желая дать ей свободу.

И вдруг — телеграмма: «приедем все трое». Они и приехали, обе сестры с Карташевым, и мы очень хорошо, в цветах, в ласковой природе, встретили Пасху.

На Фоминой они уехали, а мы, когда я немного отдохнула, отправились в Париж. Там мой французский доктор послал Дм. С-ча к сердечному специалисту Vaquez'у. Тот никакого склероза у Дм. С- не нашел и всякое специфическое сердечное леченье отменил.

Перед возвращеньем в Россию мы на две недели переехали в маленький пансиончик в St-Germain. Я надеялась, что Дм. С. закончит свой отдых и поправление в тишине, увы — не тут-то было! Внезапно явился, на автомобиле, Савинков. Он уж три

раза ездил в Россию и — возвращался цел. Настроение у них было ужасное. Даже в той маленькой организации, которую они наладили, оказался новый провокатор. Опять начались споры, мудрые — но напрасные! — советы Дм. С-ча оставить все, устремиться на медленную работу исканья людей (и себя — в себе...)

Сав. и Бунаков ночевали в нашем пансиончике. Б. уехал в Париж, а Сав. — в неизестном направлении.

И вот — мы снова в России. Лето в пьяной новгородской губернии, большой дом, именье Сменцево. Д. С. усиленно работает над «Александром». Д. Ф. — в именьи матери, Карташева тоже нет, уехал к родным, живущим при каком-то монастыре, около Екатеринбурга. Но к нам приехала Оля Флоренская с мужем. Оля была сестра очень известного в России, умного и жестокого священника Павла Флоренского в Тр. Серг. Лавре, — и большой наш друг. Она только что вышла тогда замуж за бывшего лаврского академиста, однокашника и приятеля брата, — Сережу Троицкого. Он не пожелал сделаться священником, а взял место предподавателя в одной из тифлисских гимназий.

Молодожены были у нас среди лета, а в сентябре Троицкого убил кинжалом, в гимназическом корридоре, какой-то великовозрастный ученик-грузин, не выдержавший переэкзаменовки. Убил случайно, просто первого «учителя», которого встретил после провала.

11.

Весной 12 года, когда мы с Д. С. опять были на Ривьере (ему там хорошо работалось) и поселились вдвоем в маленьком отельчике на выезде из Канн, оказалось, совершенно случайно, что так называемая «боевая организация» тут же, совсем недалеко от

нас: в неуютной, холодной вилле, в Теуле. Мы это узнали, когда приехал Бунаков с женой. Ее он оставил у нас, сказав, что заедет за ней после, и уехал в Париж. Жену его, Амалию, все любили и баловали. Мы тоже дружили с ней, мы все были, даже Д. С., с ней на «ты». Франтиха, из богатой еврейской семьи в Москве, она была «не партийная», но, конечно, друзей мужа близко знала, и в «дела» достаточно была посвящена (никогда о них, впрочем, не говорила). От нас она часто бегала в Теуль просто пешком. По просьбе Савинкова, который скоро к нам явился, были в теульской вилле раза два и мы с Д. С. Он сказал мне после, что ему там не понравилось. Да и мне не понравились люди, окружавшие Савинкова. Все, кроме этой нежной, удивительной Марии Прокофьевой, с ее светлым, каким-то «нездешним», лицом. Уже больная, она куталась в плед. А вокруг, в атмосфере этого «общества», было что-то нелепое и даже... пошлое. — Завтра рожденье Бориса (Савинкова), сказала мне как-то Амалия. Я пойду туда с утра.

— Рожденье? Поздравь его от меня. А что бы ему подарить? Постой, я напишу ему сонет.

Амалия с сонетом отправилась в Теуль, вернулась на другое утро и рассказала:

— Борис, получив твой подарок, бросил всех гостей, карты, заперся у себя, и вот — посылает тебе тоже сонет.

— Какой? Свой? Да он в жизни стихов не писал!

Но Амалия действительно вручила мне сонет, недурной, и по всем правилам сонета написанный. Какая способность схватывать новое и без опыта сейчас же делать то же!

— Теперь, Амалия, я напишу ему стихи самого трудного размера, — терцины. Посмотрим, что будет!

В сонете у него была ошибка в одной только строке (шестистопный ямб), — а в ответных терцинах — уже ни одной! По содержанию они были до-

вольно страшные, все на его же тему: «Душа убита кровью».

Тут вскоре явился Бунаков за Амалией и — с директивой от партии: распустить «боевую организацию», как несвоевременную.

Не знаю, как принял это Савинков. Мы его больше не видели. Приехал из России Д. Ф. и мы, через недолгое время, отправились в Париж.

Там (опять в Iéna) у меня с Д. Ф. возникло соображенье: если мы постоянно возвращаемся и будем, вероятно, возвращаться, — не взять ли нам здесь маленький pied à terre, куда мы и приезжали бы весной на несколько недель? Сейчас ехать в Петербург еще рано, успеем, значит, устроиться, взять из склада наши бумаги, книги, убогую мебель, и вернемся во время.

Д. С., поглощенный работой, мало участвовал в этом решении, но потом согласился, если это не задержит нашего возвращения в Россию.

Квартирка скоро была найдена, — в Пасси, в новом доме, не очень приятная, мало удобная для троих, за то очень дешевая: я даже решила, что буду платить за нее сама (я тогда хорошо зарабатывала в России). Кстати: после войны цена ее возрасла в 14 раз!

Пока мы устраивались, пришло паническое письмо от моей сестры: не возвращайтесь, о Дмитрии идут дурные слухи. Макаров (наш знакомый) арестован за то, что был у Савинкова.

Д. С. очень взволновался, но о невозвращеньи не допускал и мысли. Даже настаивал, чтобы ехать скорее. Я тоже. О Д. Ф. и говорить нечего. Однако, естественное волненье Д. С-ча он опять поставил ему на счет боязни отвечать за свои действия и погрузился в мрачность. Впрочем, это настроение имело и физические причины: у Д. Ф. тогда начиналась болезнь печени.

Мы не задержались в Париже. На этот раз все обошлось благополучно. На вокзале в СПБ нас

встретили сестры и Оля Флоренская: она провела с нами все лето в именьи Подгорном (большой глуши). Кроме нее, долго жил там с нами А. А. Мейер, новый наш друг: очень отвлеченный, умный, бывший соц.-демократ, но потом близкий идеям Д. С-ча. Проф. Народного Университета. Очень хорош был он и с сестрами. Кроме них, уже не первое лето жила с нами сестра Влад. Соловьева, Поликсена (поэтесса «Allegro») Она любила русскую природу, леса, как Дм. С., и только осенью уезжала в Феодосию, к своей приятельнице Манасеиной.

В сентябре Д. С. решил ехать со мной на Украйну. Роман «Александр I» был кончен, только не переписан. Д. С. свою работу, как бы длинна она ни была, переписывал сам, своей рукой, и только это уже отдавал переписывать на машинке для печати. Переписывать свое он и любил, делал все новые поправки, так что в конце и беловая рукопись делалась похожа на черновую.

За переписку «Александра» он еще не принимался, но уже усиленно готовился к «Декабристам». Для них он и хотел поехать на Украйну, которой не знал, — хотя любил поминать, что предок его был «есаул Мережко». На Украйне действовала когда-то «южная организация» декабристов. И Д. С., по своему обычаю, желал видеть украинский пейзаж, глотнуть тамошнего воздуха.

Поездка, увы, не состоялась, благодаря тогдашним в Киеве «торжествам», во время которых, в театре, в присутствии Государя, правительственный же агент убил министра Столыпина.

Может быть, отчасти и поэтому случаю, зимой 1911-1912 г. репрессии в Петербурге так усилились, что выступать общественно, даже в Рел. Ф. О-ве, было почти невозможно.

Друзья звали нас в Париж, но мы медлили, а когда, наконец, собрались — никого, кроме Бунакова, не застали. Да и он скоро уехал с заболевшей Амалией в Давос. Возвращаться в Россию нам было

рано, и мы вздумали поехать недели на 3 в По, где еще никогда не были.

Д. Ф. поехал с неохотой. Он уже несколько раз неохотно покидал Петербург. Мы думали, что ему не хочется оставлять старую мать, но он возражал, что она здорова, а что сидеть около нее — не значит ли это ждать ее смерти? Лишь вдолге узналось, и не от него, что она давно больна; не очень, но так, что конца можно было ждать всегда.

И вот однажды вечером Д. Ф. вошел в наши комнаты отеля (в По) с телеграммой в руках: «Maman apoplexie. Situation grave». Ехать тотчас же он не мог, не было поезда в Париж, где ждал родственник, с которым он должен был сразу отправиться в СПБ. Этот вечер и почти всю ночь, до голубого рассвета, мы провели вместе. Ехать с ним мы не могли. Дм. С. сказал, что мы выедем в Париж на другой день, чтобы оттуда сейчас же в Петербург. Нам было очень тяжело, мы знали, что он ее не застанет в живых, а кто лучше нас с Д. С. понимал, *что такое* смерть матери! И почему то мы оба чувствовали себя виноватыми перед Д. Ф., но сказать это словами было невозможно, ускользало и от разума, и от слов.

Из Берлина, уже в Париж, Д. Ф. телеграфировал, что мать его скончалась, не приходя в сознанье.

Несчастья нашего путешествия не кончились. В Париже, во-первых, мы задержались, из-за билетов, и только 25 марта, в день Благовещенья и в первый день Пасхи, были на границе, в Вержболове. Уже был подан петербургский поезд, когда к нам подошел жандармский полковник и объявил, что, по телеграмме из Петербурга, велено «изъять» у нас все бумаги и рукописи, какие будут найдены. У меня ничего не было, но у Д. С. весь текст его романа «Александр I». К счастью, жандарм оказался не то добродушным, не то небрежным, и взял только часть рукописи. И даже задержал петербургский поезд, чтобы мы могли продолжать путь.

Легко себе представить, в каком состоянии духа

мы приехали в Петербург. Нас встретил Д. Ф., с измученным лицом, окруженный сыщиками. (Это всегда можно было заметить).

Пошли тяжелые дни. Хлопоты насчет отнятой рукописи, газетчики... Д. С. пошел к дежурному департамента полиции. Тот принял его вежливо, но сказал, что все — по закону. «А что за вами следят, так у вас знакомства...»

Хорошо. Но уж стало не до рукописи, когда вдруг объявили Дм. С-чу, по телефону, что он привлекается к суду за «Павла I», он и Пирожков (издатель), суд 16 апреля (т. е. через 10 дней). По 128-й статье: «Дерзостное неуважение к Верх. Власти...» и т. д. Минимум наказанья — год крепости.

Д. С. думал, что суд через 10 дней будет и над ним, но выяснилось, что только над Пирожковым, который уже арестован, дело же Дм. С. выделено «за неразысканьем».

Я думаю теперь, что власти с неохотой начали это дело, ибо какое же «неразысканье», когда и телеграмма на границу, и слежка, и сам Д. С. у директора полиции был. Надеялись, м. б., судить издателя, а Мережковский просто, мол, останется заграницей, и конец.

Но Д. С-ч этого-то и не желал. В крепость садиться удовольствия тоже мало, и вот у нас пошла возня: адвокаты, совещанья, баронесса Икскуль...

В результате Д. С. получил разумный совет: тотчас уехать опять в Париж и оттуда телеграфировать прокурору, что он не скрывается и явится к следователю по прибытии. Расчет был в том, чтоб отложить дело до осени. Пирожкова Д. С. взял на поруки, его выпустили.

И через 4 дня после приезда мы отправились в обратный путь, вдвоем с Д. С., конечно. Жалко нам было оставлять Д. Ф. в такое трудное для него время, но он, окруженный родными, от нас как то отдалился. Был, конечно, против отъезда Д. С. (уклоненье от ответственности), и против меня: я счи-

тала, что надо все сделать, чтобы избежать крепости, только не делаться эмигрантом.

В мае мы получили известие, что дело отложено до сентября, и немедленно вернулись в Петербург. Нас ожидали там хлопоты другого рода: домохозяину понадобилась наша квартира, и мы покинули дом Мурузи, в котором прожили с первого года нашей свадьбы. Взяли квартиру первую попавшуюся: очень большую на Сергиевской, у самой решетки Таврического сада. С моего балкона виден был и соседний Таврический Дворец, — где помещалась Государственная Дума...

Переезд был нелегок: у Д. С-ча имелась громадная библиотека (она вся пропала), у Д. Ф. — тоже, своя. Кончив хлопоты, мы переехали в именье «Верино», недалеко от Ямбурга, где очень недурно провели лето. У нас жила опять Поликсена Соловьева, приезжало много народу, приезжал даже поэт Сологуб с женой и с каким-то человеком из синема, — он снял нас всех на фильму. Дм. Серг. усиленно занимался приведением в порядок разрозненного романа (рукопись ему так и не возвратили), а главное — подготовкой к новому — «Декабристам». Относительно процесса, Д. С., хоть и пугали его разные люди, рисуя жестокого обвинителя-прокурора, — не очень тревожился и работал как нельзя лучше.

Помню, получили мы раз записочку от нашей баронессы В. И. Икскуль с предложеньем побывать у нее и увидаться с Григорием Распутиным. О Распутине уже говорили много, со всех сторон. Самые разнообразные люди стремились, любопытствуя, на него взглянуть, даже литераторы старались залучить его к себе. Сестра Карташева видела его где-то, — достаточно о нем рассказывала. Наша баронесса, — ее салона не избегала ни одна новоявленная петербургская звезда — не могла, конечно, обойти и эту, не рассмотреть ее поближе. Ей это ничем не грозило: поклонницей «пророка» сделаться она не была способна.

Д. С. отнесся к предложению равнодушно. Распутин, лично, его не интересовал. К баронессе он, пожалуй, поехал бы, но я возмутилась и объявила, что никуда «на Гришку» не поеду, и в историческую заслугу себе поставлю потом, что вот, могла его лицезреть, — и не пожелала.

Баронесса после только безграмотные записочки «пророка» показывала, — всем известные, — «Милоя Варя...»

12.

Дело Д. С-ча было назначено 18 сентября. Очень помню этот день, хмурый, сырой, серый, как бывают гнилые осенние дни в Петербурге. Дм. С. и Д. Ф. ушли в суд раньше (суд был недалеко от нас, по Литейной), а за мной зашел верный, вечный наш приятель, Андреевский, — «адвокат-поэт», как его называли. Он неизменно приятельствовал с нами лет 20, и я называла его даже не другом моим, а «подругой», (или себя — его подругой: он поверял мне все свои любовные горести). Он написал, между прочим, замечательную «Книгу о смерти», которую завещал издать только после его собственной смерти. Она и была издана в Берлине, в 20-х годах, его дочерью. Но раньше он читал мне ее по частям. Вот с этим «Сержинькой» и отправились мы в столь ему знакомый Окружной Суд, — серый, темный, особенно в этот темный и серый день.

Защищали Дм. С-ча два адвоката. Два — потому, что один, бывший помощник Андреевского, Гольдштейн, был еврей, и, естественно, не мог касаться, в защите, той части «Павла I», где речь шла о христианстве и хр. церкви. Имя второго защитника, русского, я не помню. — Мы с Андреевским, сидели на скамьях для публики, которой было очень мало. О дне суда почти никто не знал. Как странно было видеть «на скамье подсудимых» Дм. С-ча — с

жандармом за спиной! Почему говорят: на скамье подсудимых? Она так глубока, что Д. С. и Пирожков сидели *в* ней... как в ванне.

Дело слушалось без присяжных, а с «сословными представителями». (Нам говорили, что это хуже). Я их в полутьме плохо разглядела, а лицо прокурора, считающегося «зверем», мне показалось довольно симпатичным. Он заговорил — и ничего «зверского» в его речи не было. Напротив, проскальзывала «мягкость», hommage «знаменитому» писателю... Защитники Д. С-ча говорили очень горячо, пирожковский немного мямлил, но ему не много оставалось и прибавить к сказанному. «Последнее слово» Д. С-ча было кратко и произнесено с большим достоинством. Пирожков от своего отказался. Перерыв. Мы вышли с Анд. в соседнюю залу.

— Поверьте моей опытности, говорит он, их оправдают. Не волнуйтесь.

Но я и не волновалась. Не то, чтобы я верила в оправданье, но на меня нашла спокойная тупость, как всегда, когда остается только ждать, в бездействии, того, что уже не в твоей воле. То же бывает и когда совершилось самое худшее, непоправимое, вне твоей воли лежащее.

Звонок. Председатель что-то читает, что — не могу сразу понять. Но рядом мой Андреевский: «Я вам говорил!»

Обоих оправдали — «за ненахождением состава преступления», и конфискация с книг была снята.

Зиму (1912-1913) мы провели не плохо. Д. С. вплотную занялся декабристами, очень ими восхищался. Уверял, что оправдали его «по случайности», но еслиб не оправдали — он сел бы в крепость хоть на два года, но эмигрантом, как Минский, ни за что бы не сделался.

В промежутках между главной работой, он пи-

сал теперь небольшие полемические статьи в газетах, больше в «Русск. Слове». В «Речи», не совсем ему близкой по направлению, писал реже. У него много было статей о Толстом, после его смерти. Даже говорил, что в его давнишней книге много о Толстом несправедливого, что он потом понял его лучше, и что может быть Толстой ему в чем то ближе Достоевского.

В Рел. Ф. О-ве мы продолжали принимать живое участие. Вот в этом-то Об-ве мы и видели Щетинина «со учениками», того «старца-пророка», (вовсе не старого, как и Распутин), которого с правом можно назвать вторым — демократическим — изданием Григория. Они оба появились в Петербурге одновременно. Но пока Распутин, благодаря невинности и легковерию одного архимандрита, пролез на верх, до царской семьи включительно, — Щетинин пошел по низам и славу свою стал обретать — все большую — в кругах рабочих. Ему в этих кругах покровительствовал некий «писатель» (или вроде) Бонч-Бруевич, впоследствии близкий друг и приспешник Ленина, живший даже в Кремле в соседней с ним комнате (как бы в одной, ибо вместо дверей между двумя «покоями» было проломленное в стене отверстие). Щетинин одевался как Распутин, «по-русски», не столь богато, но те же сапоги бутылками, рубаха на выпуск с пояском и т. д. Держался в своем кружке, между мастеровыми, были около и бабы. Однажды кто-то привел прямо к нам одного из «учеников» Щетинина, вот такого мастерового, вместе с женой, в платочке, тоже его «последовательницей». От них мы узнали не мало любопытного, кстати же они принесли две брошюрки — самого, будто, Щетинина. Вот разница с Распутиным: кроме записочек «Милай Варе» тот ничего не писал; Щетинин же стремился «излагать» свое ученье. Писал ли он сам эти брошюрки, или диктовал, но исходили они явно от него, а не от кого-нибудь, мало-мальски грамотного: большей чепухи, абсолютно невразумительной галиматьи

и представить невозможно: бред сумасшедшего в горячке. На эти «божественные» брошюрки не стоило обращать вниманья, но кое-какими сведениями, полученными от мастерового и бабы, я воспользовалась для очередной моей статьи в «Русской Мысли». Щетининцы о ней прослышали и, будто бы, спрашивали: «Какой это еще на нас лев спущен? (мой псевдоним был «Лев Пущин»). Сведения у меня имелись не полные. А полные я получила позднее, когда кто-то из Временного Правительства принес мне «Дело» Щетинина. Настоящее дело из архивов суда, прошитое шнуром, в синей обложке, с показаниями свидетелей (и свидетельниц). И с портретом Щетинина, — большой фотографией, — где он сидит, окруженный поклонницами, сам в женском платье и шляпке. «Дело» это — нерассказуемый ужас. Хоть и похожи они, как два брата, Щетинин и Распутин, но безобразие и распутство последнего бледнеют перед тем, что выделывал Щетинин в неугасимой, неуемной похоти своей и разврата, граничащей с садизмом. Это, наконец, и довело его до «дела», начатого по жалобе некоторых искалеченных женщин и потерявших терпенье мужей. Но дело «не получило хода». Такие дела, с подкладкой «божественного», в то время заминались. Щетинин только на некоторое время был выслан из Петербурга. Может быть, замолвил за него словечко и Распутин (они знали друг друга). А тот наивный архимандрит, что рекомендовал Царскому Селу Распутина, разгадав его, наконец, и поняв, смело принялся за изобличенья, но не долго: был сослан в дальнюю губернию. Мы этого архимандрита Феофана видали еще в старых Рел.Фил. Собраниях. Скромный, худой, аскетического вида (и жизни, как говорили), он всегда неодобрительно молчал. Гладкие черные волосы лежали у него как приклеенные.

Весной, после нашей деятельной и рабочей зимы, мы уехали в Париж, а оттуда в Ментону. Уехали вдвоем с Д. С., так как Д. Ф-ву надо было кончить

какие-то семейные дела, а кроме того — он был в очень мрачном настроении. Это скоро объяснилось ухудшением его здоровья: — мучительные припадки печени. Узнав об этом в Ментоне, мы с Дм. С. решили вызвать его скорее к нам, и он приехал. Первое время припадки продолжались, но затем он стал поправляться, а с поправлением улучшилось и его душевное состояние.

13.

В Ментоне тогда жил И. Бунаков с женой (и с кучей ее родственников), а Б. Савинков поселился в Сан-Ремо. С ним, кроме новой жены и нового, новорожденного, сына, оставалась и очень больная, почти умирающая, Мария Прокофьевна, «невеста Сазонова», чье «неземное лицо» нам так нравилось. С Бунаковым и его женой, маленькой Амалией, мы постоянно виделись. Намеревались, конечно, поехать и в Сан-Ремо. Теперь, после процесса, Дм. С. был особенно беспечен и отнюдь не думал прекращать «знакомства» с опасными друзьями. Да ведь самые опасные были теперь «безработными», а в Бунакове замечалось даже «поправенье»: уверял, что в партии у них идут теперь толки больше о «культурной» работе.

Поехать из французской Ментоны в итальянское Сан-Ремо не составляло никакого труда: стоило взять автомобиль — и через час или полтора мы на месте, в Италии. До первой войны в Европе границ между государствами почти не существовало. Только и была одна настоящая граница — русская.

Амалия после Дабоса немного поправилась, но была еще слаба и больше лежала на терассе своей виллы. К ней из Москвы приехала ее мать, — младшую дочку она обожала. Толстая еврейка, — таких своеобразных мы еще не видали, — была известная в тех кругах «Мамася». По-русски не говорила, или

так, что понять ее было нельзя. Ее муж, отец Амалии, недавно умерший, был невероятно богат. Правоверный еврей, он звался цадиком, что-ли, не знаю, как это у них считается. И «мамася», по традиции их московского дома, каждую пятницу зажигала и здесь, на бунаковской вилле, длинные свечи на косо-поставленном столе и бормотала бесконечные молитвы. Мимо проходивший Бунаков только заметил: «Мамаша-то как усердно молится!» Нечего говорить, что у них самих ни от каких еврейских обычаев и следа не оставалось. Бунаков по природе был склонен к христианству, у Амалии евангелие на ночном столике даже лежало, но когда являлась «мамася» — они старались старуху ничем не оскорблять. Как-то в субботу я была у них. Амалия получила письмо. Хотела разорвать конверт, но вдруг остановилась и протянула письмо мне. При мамаше, тут же сидевшей, это могла сделать только я, послужив на сей раз «шабес-гойкой».

Мамаша ко мне благоволила, по научению Амалии я, встретив ее в субботу, говорила ей: «гут шабес». Других бесед мы не вели, Д. С. ее даже как то побаивался, и вздрагивал, когда она к нему (бесполезно, ибо непонятно) обращалась.

Б. Савинков скоро приехал к нам, а потом и мы были у него раза два-три, на белой вилле «Vera». Странно там как-то чувствовалось: новая его жена, толстый, орущий младенец — и рядом белоснежная комната, постель, где лежит, вся белая, воздушная Мария Ал., с уже совсем неземным лицом, нездешними глазами и нежной улыбкой.

Раз мы застали у него Плеханова, — того самого видного партийца-меньшевика, о котором я упоминала. Он был такой давнишний эмигрант, что уж и дочери его не знали по-русски, как дочери Герцена (мы одну где-то видели). Он был очень культурен, имел вид европейца и нисколько не походил на революционера. О печальном конце его в России,

едва воцарились большевики, я тоже говорила, кажется.

К Бунакову (он был с нами) и Савинкову относился он тогда с чуть заметной, покровительственной насмешливостью. А Савинков волновался, проводил идею (?) соединения двух партий в одну, с сохранением отдельной «боевой организации на суровых моральных началах».

После нескольких свиданий этой весной с Савинковым, Дм. С. сказал мне как-то:

— Знаешь, Савинков мне кажется более бессознательным, чем я думал. Кроме того — он индивидуалист, и довольно-таки безнадежный. Эти крайние индивидуалисты, не способные даже умом понимать, что такое общность, не видят обычно ничего вокруг себя, видят только свое «я».

Было похоже на правду, но мне еще не хотелось ставить на Савинкове крест. И, хотя я понимала, что Д. С. говорит не об «эгоизме», — хуже, — я пыталась Савинкова защищать.

Вернулись мы в Россию к лету, на дачу, где нас ждали сестры и Оля Флоренская. Дача была, этот год, не очень приятная, в глуши, но мы на ней прожили недолго. Д. Ф. отправился лечить свою печень на кавказские воды, в Ессентуки, а когда курс леченья он кончил — мы съехались с ним в Кисловодске, где провели, очень хорошо, всю осень.

В Петербурге нас ждала довольно бурная и важная зима (1913-1914). Еще осенью мы виделись со старыми друзьями, — которые друзьями уже не были. С Бердяевым, — далеко на сто верст. С Борей Бугаевым (Андр. Белым), — этот еще дальше. Он, ярый штейнерианец, вернулся в Россию в этом году лишь ненадолго, для лекций Штейнера в Гельсингфорсе. Боря и с виду был другой. Наша старая няня его не узнала: «а неужели это Борис Николаевич? Ни волос, ни зубов...» Он действительно, потерял свой золотистый пух на голове, очен к нему, в молодости шедший: точно юный желтенький цыпленок.

За столом, вечером, — бесконечные дифирамбы Штейнеру, споры с Д. С. Видели мы тогда впервые и жену Бугаева, ту, которую он тоже посадил к Штейнеру и там бросил, когда, через два года, бросил, с проклятиями, и Штейнера.

Д. С. кончал в это время «14 Декабря» и подготовлялся к другой большой работе.

С Розановым в эту зиму, мы совсем разошлись. Он, как всегда, писал в «Нов. Времени», но одновременно стал писать статьи в «Русском Слове» под прозрачным псевдонимом «Варварин», притом довольно противные. Статья Дм. С-ча «Свинья-матушка» была ответом на розановскую, где он так называл Россию и русского человека, — без лести... однако, она кончалась:

Но и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне...

Вот это Дм. С. понимал, а не грубую розановскую брань. Даже Струве, в «Русск. Мысли», обличал Розанова, печатая рядом выдержки из статей его, которые друг друга уничтожали.

Когда же началось дело Бейлиса, — (известное обвинение какого-то неимущего еврея, что он, будто бы содействовал убийству маленького Ющинского, чтобы евреи, по своему обряду, могли выпить его кровь) — Розанов принялся писать в «Земщине», самой черной, всеми презираемой, газетке. Редакторы «Земщины» конечно обрадовались, заполучив такого сотрудника. Но, по совершенной своей ископаемости и примитивой грубости, не понимали, что Розанов по существу пишет за евреев, а вовсе не против них, защищает Бейлиса — с еврейской точки зрения. Положим, такая защита, такое «за», было тогда, в реальности, хуже всяких «против»; недаром даже «Новое Время» этих статей не хотело печатать. Да и не одним «архаровцам» из Земщины было трудно понять Розанова: он имел способность

говорить интимно об отвлеченном, что делало его теории убедительными для тех, кто могли их принять, и легко обманывало других, которым и не нужно знать их. Однако, все это создавало отвратительную около Розанову атмосферу, и нам пришлось подумать о публичном исключении Розанова из Рел. Фил. О-ва, где он состоял, по старой памяти, членом учредителем, хотя почти никогда туда не ходил.

— Не уверяла ли ты сама, говорил мне Д. С., что к Розанову обычные мерки неприложимы, что он — особое «явление»? Какой человек мог бы так публично распахиваться, как он в своих последних книгах, в «Уединенном» и «Опавших листьях»? И разве не искренно объявил он: «а нравственность, — не знаю даже, через ѣ или через е это слово пишется? Как же его судить? Я резонно возразила, что его и не судят, но раз он действует в Обществе, где люди живут и действуют по иным правилам, т. е. идет «в монастырь со своим уставом», то его, не судя, просто отвергают. Да ты не думай, — прибавила я, что ему исключение? ему все равно!»

И грандиозное заседание, где Розанова исключили, состоялось. Были у него и защитники, — к удивлению — тот же Струве, который его обличал в «двурушничестве». Карташев, председатель, неожиданно взвился против Розанова, доказыая его антиобщественность.

Вообще зима эта была очень бурная, — и очень странная: как буто что-то висело в воздухе над всеми и над каждым, какие-то «Страхи и ужасы», (по Гоголю) совершенно неопределенные. Люди спешили и метались, не понимая, зачем, и что с ними делается. Блок ходил с трагическим лицом, а когда я его спрашвала в чем дело, — отвечал, что это «несказанно». Посвятил только мне одно из лучших своих стихотворений: «Мы — дети страшных лет России...»

Дм. Серг. спасался работой, но к весне он первый стал стремиться уехать, и мы, на этот раз сразу

втроем, уехали сначала в Париж, потом снова в Ментон.

Там еще жили Бунаковы, а Савинкова в Сан-Ремо не было. Мария Ал. прошлым летом умерла, и он с семьей переехал в Ниццу. В этот наш приезд на Ривьеру, (весной 14-го года) мы его почти не видали. Бунаков рассказывал, что он все время пишет стихи, очень мрачного содержанья, и сам находится в состоянии духа не менее мрачном.

Кстати о Марии Алексеевне: летом, не прошлым, когда она умерла, а позапрошлым, после того, как мы ее видели в последний раз на вилле Vera, к нам на дачу под Петербургом приехал ее отец. В картузе, в синем полукафтанчике каком-то, как мещане одеваются, да он и был мещанин-волжанин, не помню из какого города. Лицо самое простецкое, русское, и говор такой-же. Оказывается, был у нее, сразу увидал, что «не жилица», и стал думать, как бы ее в родной земле схоронить, когда «придет час». Нас все удивило: и как он в Сан-Ремо добрался, и эта мечта (неисполнимая, конечно) тело «домой» перевести, и, главное, что у такого — вдруг такая Марья Алексеевна! Д. С-ч, впрочем, последнему не удивлялся: уверял, что из народа, с Волги, выходят вот эти удивительные девушки, крепкие характером, и сильные душой. Прокофьева к нам, очевидно, Савинков направил, но о Савинкове он ничего не говорил.

Возвращаюсь к весне 14-го года.

Дм. С. в Ментоне и на этот раз хорошо отдохнул, но вдруг, раньше обыкновенного, стал стремиться в Россию. И мы, по его требованью поспешно собравшись, уехали в Париж, а завтра тотчас же в Петербург.

Париж.

19 января 1944 г.



ЧАСТЬ III

ВЕСНА. 1914 г.

1.

Никогда не было у нас такого тяжелого и мрачного возвращения из Парижа, как этой весной. Из-за Д. С-ча, который вдруг стал стремиться в Россию и погрузился в самое неприятное состояние духа. Главное, без всякой причины. Он был здоров, в Ментоне мы жили почти весело, он хорошо работал — и вдруг... Еслиб это было в прошлом году, 13-м. когда в Париже почему-то ждали войны, и мы уж подумывали поскорее домой, — было бы понятно. А этой весной Париж о всякой войне и думать забыл, прошлогодние слухи совсем замерли.

Д. С., между тем, ехал в Россию в таком неприятном настроении, в такой тоске, что всю дорогу с нами даже не разговаривал. Может быть, у него было какое-то предчувствие, — вне сознания, как все предчувствия, — что это его последнее возвращение в Россию... (это было последнее возвращение и Дм. Ф-ва, да, без сомнения, и мое; но мы этого не почувствовали, как Д. С.).

Переехав границу, после Вержболова, он немножко повеселел. Увидев какого-то человека на полустанке — обрадовался «первому русскому человеку». Но мы засмеялись (да и Д. С., приглядевшись, тоже). Этот первый «русский» — был старый еврей с пейсами, в длинном лапсердаке.

В Петербурге сестры, хотя и не ждали нас так рано, уже приглядели дачу около Сиверской, и не-

вдалеке — другую, потому что, как они мне с радостью сообщали, наша двоюродная сестра хотела провести лето с нами и приедет с детьми.

Дача наша оказалась недурной, просторной; мы с Д. С. поместились наверху, внизу — сестры и ожидаемая, как всегда, Поликсена Соловьева. Пока она еще была, с Манасеиной, заграницей, где-то на водах.

Настроение Дм. С., хотя было не такое, как в дороге, но все же непривычно-угрюмое. Впрочем, он с головой ушел в работу, в «14 Декабря», — роман был уже при конце, — и я надеялась, что с удачным концом все пройдет.

Я, кажется, ничего серьезного в то лето не писала, гуляла с Соней и сестрами, по вечерам слушала главы «Декабристов». Д. Ф. жил все время с нами, они, с моей младшей сестрой, увлекались кодаками, проявляли и печатали фотографии. Все шло, как будто тихо и мирно. Мы удивлялись только, что о Поликсене — ни слуху, ни духу. Ведь был уж июль. И вдруг...

Конечно, не вдруг, а были же какие-нибудь предвестия, но мы-то на них не обращали внимания.

Мобилизация! Застаю в нашем саду Соню в разговоре с мужиком, который, махая руками, на что-то жалуется. Кажется, насчет лошадей — лошадей забирают. Но мужик еще плохо понимает в чем дело. Соня понимает. Мужик отошел, Соня обернулась, махнула рукой:

— Ну, словом, беда!

Все решилось в несколько дней, после выстрела Принципа, конечно.

Мои сестры уехали незадолго до этого в Петербург, должны были вернуться с Карташевым, с Мейером, еще с кем-то. И вдруг является одна, старшая.

— А где же другие?

— Я за вами с Дмитрием и за Димой. Война.

Надо быть всем вместе. Патриотический подъем, процессии с флагами...

Тут-то и решилось наше с Д. С. отношение к войне. Оба мы давно всякой войне сказали принципиально: «нет». А эта столь бессмысленная и страшная для России при ее разлагающемся и разлагающем правительстве... Наивность сестры, поверившей в явно подстроенные, патриотические манифестации, удивила нас, как раньше удивляли, приводили в недоумение, петербургские беспорядки в эти последние перед войной дни. Кто-то (будто бы рабочие) останавливали трамваи, валили вагоны на земь, делали из них баррикады... Да в чем дело? Никаких требований никто не предъявлял, никаких лозунгов не было... Да что они, против французских гостей, что ли? (известно, что в эти дни как раз приезжала в Петербург пышная французская делегация, с Poincaré во главе). Это уж было верхом бессмыслицы. Беспорядки так и не объяснились.

Я и Дм. Серг., конечно, в Петербург тогда не поехали. Но оставаться долго в деревне, хотя и не далекой от города, но глухой, становилось все труднее. Кузен Вася, депутат, явился за своей семьей. Явился в полном расстройстве и больной. Сонин муж вызывал ее домой, в Одессу, и она со всеми своими детьми и старой теткой тоже уехала — пока в Петербург, к брату. Мы, однако, досидели на даче до того, что по железной дороге ехать было уже невозможно, так она была забита мобилизованными. Пришлось вызвать из города автомобиль, на котором мы, вчетвером, с Д. Ф. и с сестрой, — она тогда в СПБ не вернулась, — отправились домой.

Дорога эта мне запомнилась во-первых тем, что была ужасна (русские дороги не похожи на «автострады», да тогда автомобили по ним и не ездили), а во-вторых — косяками встречных зеленых лошадей, причем лошади эти дико нашего автомобиля пугались. Зачем с такой усердной быстротой выкрасили их в зеленый цвет, — понять было трудно.

2.

Здесь я прекращаю связный рассказ о годах войны в Петербурге. Потому что с 1 (14-го) августа 1914 г. я начала последовательную запись этих годов, где о жизни нашей с Д. С-чем, о нашем окружении, о жизни петербургской интеллигенции рассказано все с такими подробностями, какие я не могла бы теперь восстановить, да и ненужно: этот петербургский дневник (синяя книга) существует: он издан в 1927 или 28 году в Белграде, по-русски, а в данное время готовится к выходу на французском языке.

Итак — война. Фронт далеко и внешне в Петербурге она почти так же мало чувствуется, как прежде японская. Петербург не изменил своей физиономии, переполнены театры и рестораны, такое же движение на улицах, только на фонарях зачем то налепили синенькие колпачки, да под нашими окнами новобранцы посреди улицы прокалывают штыками соломенные чучела. Писатели пописывают, издатели издали синенькие колпачки, да под нашими окнами новоже — перемен много. Писатели пописывают — о войне; на моих «воскресеньях» молодых поэтов все почти тоже записали о войне, надрываясь в патриотизме. И старые туда же: Сологуб сразу объявил: «Громки будут великие дела!» Куприн решил, что немцы — «гидра», которую нужно «доканать». Во всяких «обществах» доклады тоже все о войне и о «доклананьи» неприятеля. О Карташеве говорить нечего: сразу влип в войну и завился патриотом. Мне пришлось делать доклад в нашем Р.Ф.О-ве, где я доказывала, что всякая война — сниженье с общечеловеческого уровня; — мне два вечера возражали, что нечего теперь ходить по «воздушным ступеням», а Карташев прямо объявил, что войну надо принимать религиозно .. по казенному, словом, трафарету. Левая интеллигенция сходилась, расходилась, бурлила, бесплодно и яростно спорила. Умеренные в Думе, которую то

собирали, то распускали, выкинули лозунг: «все для войны!» и сблокировались с правыми. Министры летели как осенние листья с дерев, по манию Распутина; по его же манию назначались новые: «этот будет ладен». Но и «ладный» летел, если Гришка начинал подозревать его в покушении на его персону. Так, свою же креатуру, Хвостова, он, очень скоро сменив, не иначе называл, как «убивцем». Любил, среди разливанного моря своих попоек, пророчествовать о войне, что она, мол, кончится, когда наши корабли подойдут к Вене.

Нам с Дм. С-чем, с нашим острым ощущением войны-несчастья, все вокруг кажется сумасшедшим домом, а то, что делается беспечно, как будто этого «несчастья» нет, — Фата-Морганой, чем-то неважным до призрачности. Премьера моей пьесы на Александринской сцене с Савиной и Мейерхольдом... Позднее — пьеса «Романтики» Д. С-ча там же... Молодые поэты со своими стихами днем... «Седые и лысые» — вечером с какими-то планами созданья новой «радикальной» партии... Горький тут же, проэкт какого-то Англо-Русского О-ва. Подъем православного патриотизма. В Москве... (Булгаков и др.). Дума, которую то собирают, то разгоняют, и она покорно разгоняется, прокричав «ура»...

Поражения на войне... Царь, по настоянью Распутина и царицы, делается главнокомандующим и каждую минуту из Ставки мчится в Царское, к Распутину... Еще бы Распутину не настаивать на отставке первого главнокомандующего, Вел. Кн. Николая Николаевича, когда тот, на запрос Григория, не может ли он приехать в Ставку, ответил кратко: «Приезжай, повешу». Зима 15-16 года «впятеро тяжелее и дороже прошлой». Но интеллигенция как-то осела, примолкла, точно правительство и впрямь достигло желанного «успокоения». Но в воздухе чувствовалась особенная тяжесть, какая-то «чреватость». У нас бывало много народа, чаще всего бывал Керенский. Мы его знали давно. Он принадлежал к той же партии

революционеров-народников (с-р), как наши заграничные друзья, Бунаков, Савинков и др. С ними он знаком не был. Но в этом, 16-м, году, Д. Ф. отправился в департамент полиции, чтобы добиться разрешения легально приехать в Россию жене Бунакова, маленькой нашей приятельнице — Амалии. (Нелегально — она была здесь раньше несколько раз). Доказывал, что, ведь, она не партийная! Добился, и Амалия приехала. Была в Москве, потом даже съездила в Сибирь, к «друзьям» на каторге, потом жила у нас в Петербурге, перед опасным морским возвращеньем в Париж. Отправляясь с ней утром на генеральную репетицию моей пьесы, мы встретили у нашего подъезда Керенского, идущего из Думы. Взяли его с собой — тогда он и познакомился с энергичной маленькой женщиной, женой Бунакова.

В Керенском было много привлекательного. С виду он напоминал немножко Пьеро, со своими волосами торчком, с большим носом и смешным, выразительным лицом. Главное — в нем была какая-то мальчишеская живость, скорость движений и — кажется, обманчивая — решительность. Но была в нем, увы, и женская истеричность. В его «мальчишестве» мы не ошибались, но оно было особого рода: такое с каким родятся — и умирают. А в иное время, пожалуй, лучше родиться 44-х летним, как родился и умер Чехов, нежели до смерти и при всех обстоятельствах не имет больше 16-17 лет. Но о Керенском достаточно сказано в моем дневнике, да и в эмиграции еще придется к нему вернуться, а потому продолжу мой «конспект» военных годов.

Работа и зима 15-16-го года так утомили Дм. С., что Д. В. предложил мне поехать на весну и начало лета в Кисловодск. Мы туда все трое и отправились. Поздней весной приезжали к нам мои сестры, а мы вернулись только в июне, жарким летом. И тотчас уехали на дачу, самую, кажется, неприятную из всех. По Северной дороге, среди болот, с темно-желтой, ржавой водой в речке и противным, хулиганским насе-

лением вокруг. Впрочем, во время войны деревенское хулиганство стало повсюду расцветать.

Осенью нас встретил в СПБ еще более грозный общий штиль. Притайность какая-то. И на этом фоне разыгрывалась последняя, яркая и уже неприличная правительственная трагикомедия с Распутиным и его конечной креатурой — полусумасшедшим «блаженным» премьером Протопоповым. Писать нигде ничего было нельзя. Атмосфера удушья. И в декабре (16-го г.) мы с Дм. С. опять уехали в Кисловодск. Д. Ф. остался в СПБ., он был нездоров. На Рождество к нам снова приехали сестры. Зима была суровая, весь Кисловодск в сугробах, но дышалось легче вдали от бреда. Дворцовое убийство Распутина как то мало нас поразило. Чувствовалось, что это ничему не поможет, ничего не выяснит и не повернет. Дело в том, что в данное время уже все мы з н а л и, все, кроме тех, кто знать этого не желал (или вообще ни о чем не думал), что война не может так ни кончиться, ни продолжаться, что должно что-то случиться, — но что? Переворот? Революция? Крах? Революция во время войны — как сметь ее желать? Ведь она может обернуться именно крахом, и не военным — не об этом мы думали, — но обратиться в чудовище, в самый страшный хаос без имени, — об этом в 16-м году так много написано в моем дневнике: «Будет... Но будет ли это о н а, революция, или о н о ? (чудовище с неизвестным именем)». К такому вопросу я постоянно возвращалась.

3.

Мы приехали в СПБ из Кисловодска только 25 января (1917). Застали Д. Ф. совсем разболевшегося, на дворе и морозы и сугробы снега. Зима по всей России была исключительно снежная и суровая.

14 февраля разрешено было, наконец, открыть Думу. Поползли слухи, что рабочие пойдут к Думе

чего то требовать. Слухам никто не верил, и действительно, ничего в этот день не случилось. 21 февраля моя запись начинается: «Сегодня беспорядки...» 23-го: «Однако, беспорядки не утихают...» И, наконец, в день 27 февраля, понедельник, запись ведется, начиная с 12 ч. дня, каждые полчаса — до поздней ночи. Это был день, когда революция восторжествовала, решилась бесповоротно. Ясно, что рассказывать своими словами ее течение, такое сложное, нельзя. Выписывать все из Дневника — бесполезно, а у меня и книги моей сейчас нет. Остается отмечать общее, главное, по памяти и кратчайшим образом.

День 1 марта (все по старому стилю) был, собственно, последний день революционной радости: той, что сияла на лице каждой встречной глупой бабы, почти неумеющей читать; недаром одна, увидев плакат: долой монархию! прочла: «монахию». «Давно бы их, монахов, по шапке!» и беззлобно радовалась, сама не зная, почему. Такой был подъем, такая общая атмосфера.

У нас с утра — куча народу: студенты-солдаты студенты-офицеры, высаженные «народом» из автомобилей журналисты, старые знакомые, годами невиданные (Туган-Барановский, например, с маленьким сыном) вплоть до брата Сергея, седого, больного. приведенного своей сиделкой (мы тут видели его в последний раз). Да всех не перечтешь! Мы вместе вышли на улицу, к таврической решетке в толпу. И в толпе все почти знакомые, да и незнакомые улыбались нам как друзьям. Погода была удивительная: легкий мороз и нежная солнечная мятель. Такие бывают летние дожди под солнцем. Снежинки падая, отливали радугой.

Не помню, сколько времени ходили мы под этой белоперистой пургой, пока вернулись домой завтракать — в еще большей компании.

День этот прошел; о последующих, о всей сложности и наростании разнообразных, как будто, со-

бытий, не одна же моя, думаю, есть современная запись; но думаю тоже, что во всякой, самой оптимистичной, если она правдива, есть, как в моей, вот это ощущенье, что перед нами еще неизвестность, что Россия очень, очень больна, опасно больна, кризис еще не пережит... И я, как многие, повторяла: хочу, хочу верить, что все будет хорошо... И каждый день, с каждым новым, даже мелким событием, действием людей, вера убывала, пока не исчезла совсем. Это незаметно, пока записываешь все, даже мелочи, а когда они соберутся в букет — видно, как ядовит этот букет.

Общее известно: «Совет рабочих и солдатских депутатов заседает в Думе», а рядом — думский Комитет, выбравший, с громадными потугами, Временное Правительство. Первый — многотысячная, ревущая толпа, второй — Родзянко, б. председатель Думы, хлопающий себя по бедрам перед французскими делегатами Doumergue и Мильераном: «Voilà, messieurs, nous sommes en pleine revolution!» Тут же фр. посланник Палеолог, звонящий своему attaché, нашему другу, что он «ничего не понимает» и просящий свиданья «с какими-нибудь влиятельными русскими думцами».

Говорили — «двоевластие», но власть была у Советов; правители не успели, задумались, не решились, не посмели подобрать ее, когда она валялась на улице. А она действительно валялась, потому что никакой серьезной борьбы у царского правительства с начавшейся революцией не было. Интеллигенты, болтавшиеся и болтающие до хрипоты в Совете, шли у него на поводу, или беспомощно, или — самые подозрительные — делали вид, что идут, будучи себе на уме. Керенский (часто к нам забегавший) поступил, казалось нам, не глупо: будучи в Совете, вошел и в правительство, причем сумел убедить Совет, который, было, зарычал на него, что это хорошо, что так нужно. Да и действительно: в новом «революционном» русском правительстве не было ни одного

революционера! Только один Керенский, когда он туда вошел.

Вообще он тогда действовал как будто с нашего, интеллигентского, не большевитского, берега. (Было именно два берега).

И его, как нас, раздражало дурацкое поведение Горького со своим большевизанским окружением, вернее — свитой. Горький, на каком-то реквизированном великолепном автомобиле с этой своей свитой разъезжал, стряпая «эстетический Комитет». Случайно попавшие в него безобидные люди, вроде Батюшкова и Бенуа, вырывались оттуда, как с банного полка, ничего не понимая. Помню, как Д. Серг., долго слушая чьи-то об этом рассказы, вдруг закричал: «да выжечь весь такой эстетизм!»

Надо сказать, что Дм. С. изо всех нас, по крайней мере изо всего нашего окруженья (а нас тогда окружало неисчислимое количество всякого народа, очень разнообразного) оказался самым прозорливым. Еще в марте, когда у многих не погасла первая радость, он объявил: «нашу судьбу будет решать Ленин». И так упорно к этому Ленину возвращался, (а Ленина еще и в СПБ-ге не было), что я, смеясь, вспомнила тургеневский «Бежин луг», таинственного «Тришку», прихода которого там все боялись, и стала называть Ленина «Дмитриевым Тришкой». Когда он, с братией, в запломбированном вагоне (или поезде) в Россию был доставлен, я так и отметила: «Приехал, наконец, этот Тришка-Ленин. А какая была и встреча! С криками, с прожекторами! Не то, что бедненькому меньшевику Плеханову».

И все-таки я еще не понимала, как прав Дм. С., хотя уж было однажды: поздний звонок Керенского ко мне, — просьба, чтобы кто-нибудь из нас троих пришел к нему утром в его министерский кабинет, что ему нужно посоветоваться...

Пошел Д. С., я осталась дома (жалела после). По рассказу Д. С-ча — свиданье выходило нелепое. Дело шло о правительственной декларации насчет

войны, Совет уже выпустил свою, а правительство даже не промямлило ничего. Д. С. рассказывал: «Я его пугал Лениным, — ведь он на носу! Приедет, повернет Совет куда хочет, вот тогда вы, правительство запоете! Что ж, что вы тоже и в Совете. С Лениным вы там не справитесь. Керенский меня уверял, что сам Ленин боится, бегал без толку из угла в угол по комнате... Нелепость какая-то!»

«Декларация» потом вышла, но такая же смутная и робкая, как все «действия» тогдашнего, будто бы революционного, правительства.

Я все-таки не хотела еще поддаваться пессимизму, пророчествам нашей «Кассандры» (Д. С-ча) и заставляла себя верить Керенскому. Мне только страшно было, что он там один. А уж остальные... В моем Дневнике перечислены имена первого кабинета Временного Правительства. Особенно ядовитым (лишь по глупости) оказался в дальнейшем Львов, назначенный (или выбранный) обер-прокурором Синода. Но роковая с ним история вышла позднее, когда он был уже в отставке, а обер-прокурором Синода (или как министром религии? Начальником Церкви?) был никто иной, как Карташев.

Итак, Керенский, какой ни на есть, все-таки один. Но вот приедут эмигранты, наши парижские друзья, может быть они...

Между тем, Д. Ф. так разболелся, что его необходимо было увезти. И в тот самый день, когда должны были приехать Бунаковы, Савинков и еще кто-то, мы трое уехали в Кисловодск, предоставив, на первое время, нашу квартиру Бунакову с женой. Савинков должен был жить у своего приятеля Макарова, теперь коммисара по охранению дворцов, или что-то вроде.

Жить на Кавказе было довольно тяжело. Издали все казалось мутнее и страшнее. Помнится — встречались мы там с ген. Рузским, с офицерами... Д. С. читал какую-то лекцию о революции и о Петре I... Хаос там явно наростал. Д. С. волновался, мечтал о

Петербурге... Наконец, 3 или 4 августа (Дм. Ф. тогда уже поправился) мы выехали домой. О первом большевицком выступлении, в июле, мы знали только из писем друзей. Я часто писала Савинкову в это время, ответы его не были особенно ясны, но, кажется, он сделался помощником Керенского.

Можно себе представить, с каким трудом мы добрались до Петербурга. С разрывом поезда, так что Д. Ф., в другом вагоне, приехал раньше нас, с кучей других приключений...

И первое впечатление — страшный, невиданный еще, Петербург. Черный, грязный, усыпанный шелухой подсолнухов, с шатающимися бандами расхлястанных солдат... Было чего испугаться.

В первый же вечер приехал к нам Савинков, — и так все вечера, пока мы оставались в городе. Впрочем, мы все это время, с середины августа до середины сентября, кажется, то уезжали на несколько дней, — в близкое, старое именье Витгенштейна, где жили мои сестры, то возвращались опять, так что у меня осталось впечатление, что мы жили в Петербурге и — в курсе революции.

Савинков сразу нарисовал положение: очень острое. Не говоря о военных потерях — внутренний развал экономический и политический — полный. Действовать надо немедля, это минуты последние, но... Керенского точно подменили, он — боится. По словам и других, с июля, с тех пор, как почти все правительство прежнее ушло, Керенский сделался премьером и какое-то состряпалось «коалиционное правительство» (отчасти из отбросов партии Бунакова и Керенского, как Чернов, о котором и Бунаков иначе не говорил, как о негодяе) — Керенский неузнаваем и — мы увидели это ясно — губит Россию.

Комбинация, которую предложил ему Савинков (с ген. Корниловым), была (я и теперь так думаю) — единственной и последней попыткой, создав твердую власть, удержать страну на краю провала. У

меня подробно рассказаны все перепитии усилий Савинкова и Корнилова убедить Керенского ввести военное положение, создать хоть какой-нибудь minimum огражденья от развала всего и всех. Корнилов представил ему, по этому поводу, записку, которую С-в нам читал. Керенский вихлялся, как трехколесная телега, трусил, что Сав. его убьет (!) — но этого всего я не могу рассказать здесь.

И не один Керенский был в истерике. Что говорил тот же Бунаков! Я отвечаю за верность выписок, — и опять начинаю не верить, что это м о г л о быть.

Партия с-р-ов, благодаря тому, м. б., что к ней принадлежал премьер (Керенский), подняла голову, вся целиком, захватила истерически-трусливого Керенского в свои руки и думала только о своем торжестве на проблематическом «Учредительном Собрании». А что такое была эта партия — послушаем давно известного нам члена центрального комитета, И. Бунакова.

«Чернов — говорил он, — бесчестный негодяй, мы заграницей руки ему не подавали, но... я сижу с ним теперь рядом в Центр. Ком. и партия ультимативно отстаивает его в Правительстве. Громадное большинство в Ц. К. или дрянь, или ничтожество. Все у нас построено на обмане. Масловский — форменный провокатор, но мы его оправдали. Я знаю, у нас многие просто немецкие агенты, получающие большие деньги. Но я молчу. Я стою за Россию, но я дал свое имя максималистской, интернациональной газете. Меня тянет уйти... Но вот Плеханов откололся, ушел из партии. Чистка ее невозможна, кому чистить, когда все такие? Чернов негодяй, но он может 13 речей в один день произнести!»

Это еще не все. Д. С. ужасно кричал на Бунакова, — к чему? Все бред, бред... Или и мы в бреду? Подчеркиваю, что все что тогда говорил и делал Савинков, было разумно и верно. Но не буду больше останавливаться на повторении моей записи, на

кратких неделях, отделявших «дело Корнилова» (предательство Керенского) от 25 Октября. Смольный Иститут давно был центром, как и балкон Дворца Кшесинской, откуда Ленин прозносил речи. Керенский говорил (даже мне здесь, в эмиграции), что Ленин и Троцкий подлежали аресту еще с июля, но он не знал их адреса(!!) Они, между тем, и не скрывались, в с е знали, где они.

Вот холодная, черная ночь 24 - 25 Октября. Я и Д. С., закутанные, стоим на нашем балконе и смотрим на небо. Оно в огнях. Это обстрел Зимнего дворца, где сидят «министры». Те, конечно, кто не успел улизнуть. Все с-р-ы, начиная с Керенского, скрылись. Иные заранее хорошо спрятались. Остальных, когда обстрел (и вся эта позорная битва) кончилась, повели пешком, по грязи, в крепость, где уже сидели арестованные Керенским, непригодные большевикам или им мешавшие люди.

На другой день, — черный, темный, мы вышли с Д. С. на улицу. Как скользко, студено, черно... Подушка навалилась — на город? На Россию?

Хуже......

4.

Достаточно было раз написать об этих противных днях, чтобы еще снова, по памяти... Вот о свиданьи с Горким, когда жены заключенных министров просили его похлопотать... нет, попросить о них своих друзей большевиков.

— Ведь вы же приятель с Лениным...

Горький пролаял:

— Я... с этими мерзавцами... и разговаривать не хочу.

На эту бутаду я, не обратив вниманья, стала его стыдить, что он «с ними», говорила, что ему надо «уйти».

Он опять пролаял:

— А если уйти... с кем быть?...

Тут уж закричал, прямо закричал Дм. Серг.:

— Да с Россией быть, с Россией!

Но разве Горький понимал что-нибудь — когда-нибудь?

* *
*

Наш «революционный министр (исповеданий) Карташев тоже сидел в крепости. Сестры мои посылали ему необходимое через одного общего знакомого, доктора, единственного доктора, которого допускали в крепость большевики,— потому что он был давнишний друг Горького и, в далекой юности (о, не теперь!) «ходил в большевиках», по его выражению.

Этот доктор посещал всех заключенных, говорил нам о них (мы видели его каждый день, жил очень близко), рассказывал, что там неспокойно, иногда врываются солдаты, вытаскивают у заключенных подушки, вообще ведут себя опасно. Лучше бы кой-кого из арестованных перевести в другие места...

Еще были старые газеты (их часто, впрочем, жгли кучами на улицах) — большевики реквизировали прежде всего банки. И действовали они, по началу, так: протянут лапу, пощупают; можно? и захватят.

Играли, между прочим, и на Учр. Собрании: они мол одни только его соберут, а эти социал-предатели, Керенские, обманывают. Между тем выборы уже были закончены, партия с-р. торжествовала, хвасталась громадным большинством еще летом. Пока же — все это «большинство», все центральные комитеты, преловко спрятались. Бунаков с женой еще до 25 Октября уехал в Крым, комиссаром Черноморского флота. То, что он там видел — его, однако, не умудрило...

Толпы солдат продолжали ходить по улицам, часа 2 серым, 22 часа — черным: ведь дни ноябрьские, декабрьские! Грабежи, битье винных погребов, — хозяева! «Народ!» Особенно матросы — каждый

ходил гоголем: это они Зимний Дворец обстреливали, с Крейсера Авроры, — самого «революционного» из крейсеров на свете!

Большевикам Учредительное Собранье было ненужно. Ведь написали же они на плакате «Царствию нашему не будет конца!» Но и вреда это Собранье принести им не могло, опасности никакой от него не предвиделось. И они, с проволочкой, но его назначили (для дураков это лучше).

И тут же, перед Рождеством, стали появляться, там и сям, спрятавшиеся, недавние хозяева положенья, выбранные в Уч. Собранье эс-эры. Вернулся Бунаков. Но теперь и он, как другие его «товарищи» по партии, уже по улицам с торжеством не разгуливал, выходил только затемно, подняв воротник. С гораздо большей опаской, чем в царское время, когда они приезжали в Россию нелегально.

Борис Савинков исчез из Петербурга в самую, кажется ночь на 25 Октября, или накануне. Потому что в эту ночь звонил ко мне Макаров (у которого он жил) и спрашивал, не у нас ли Сав-в, — «нигде не могу его найти». (Мы потом узнали, что он уехал на юг, где уже зарождалась борьба добровольцев. Арестованный Корнилов из тюрьмы в ставке убежал. Духонин был там зверски убит).

Я тогда не могла найти психологического объяснения ни делам Керенского, ни словам Бунакова, ни вообще слепоте и одури с-ров. Не говорю про таких, как Чернов (слава Богу, мы его не знали), но других, честных как будто, — вроде Керенского и Бунакова. Вдолге, разговаривая с Д. С., мы, кажется, психологическое объясненье, жалкое, но верное — нашли. Это было не то, что говорил Савинков, более отвлеченно: «Для Керенского, говорил он, свобода — первое, Россия — второе. Для меня же, — м. б. я ошибаюсь, — они сливаются в одно». (Он ошибался, но, не в том, не так, как думал).

Нет, психология Керенского и проч. была грубее, впадая почти в физиологию; грубее и проще.

Как для мышей все и вся делится органически на них, — мышей, и на кошек, так для этих «революционеров» одно деление: на них, *левых* и — на *правых*. Впустите мышей в подвал, где была кошка, но где ее нет, повешена. Мыши и зная это все равно ее, только ее, будут бояться, о ней одной думать. Мыши, хотя бы сильнее и больше первых, не страшны. Есть надежда, при драке, их победить. Но кошка! Они никогда не могут быть уверены, что ее где нибудь тут нет, — даже когда ее нет.

Все Керенские знали (и это уж в кровь вошло), что они «левые», а враг один — «правые». Революция произошла, хотя не они ее делали (ее никто не «делал»), «левые» восторжествовали. Как раз там, где раньше торжествовали их враги, — «правые». Но, как мыши в подвале, где кошки уже нет, продолжают ее бояться, продолжали именно «правых», — только их, — бояться «левые». Только эту одну «опасность» они и видели. Между тем ее-то как раз и не было, в этом 17-м году. Не было фактически. Но наши революционеры, не-эмигранты и эмигранты (последние в особенности, предреволюционного положения России не знавшие) уже ничего не соображая, смотрели только в одну сторону, боялись только «реакции», — которая тогда, как после, через долгое время, иные из них признали, — была невозможна. Большевиков они не боялись, — ведь это были тоже «левые»; они боялись бороться с ними (как бы такая борьба не показалась «реакцией»). Бунаков, прослушав у нас записку Корнилова с предложением Керенскому серьезных мер, так и вскрикнул: «да ведь это реакция!» Керенский сам, в полусознании, считал для себя позором, «изменой», соединиться... с царским генералом, что бы он ни говорил. Кроме того, вот эта партия «народных» революционеров, вкусив торжества, не верила, что это торжество к ней не вернется, что «марксисты» усидят. Левейшие из них, стараясь вырвать у них (большевиков) победу, незаметно для себя стали им же подражать, не замечая,

что большевики давно у них же взяли их лозунги для победы и гораздо умнее с ними обращались. И «земля народу», и Учр. Собрание, и всеобщий мир, и республика, и всякие свободы...

Они, большевики, тоже боялись «реакции», — в самом начале. Только потому вначале ленинское правительство действовало осторожно, постепенно, с чисто звериной хитростью. И умно поддерживало бунтовщицкое настроение в низах. При всяких слухах о грозящей опасности, — (извне, своего брата, русских «левых», не боялось) — все оно, все главари, готовились к побегу из Петербурга. Мы это знали непосредственно, т. к. гараж их автомобилей был на нашем дворе. Может быть, даже белые генералы, с добровольческой армией, войдя и они в Петербург, очистили бы его от последних большевицких остатков. Но это под сомнением, недаром же они туда не вошли. За то нет никакого сомнения, что несколько англо-французских налетов на Петербург, в конце 17-го года и даже в начале 18-го, с легкостью изменили бы течение русской, — да и европейской, — истории. Чем дальше — тем это делалось все труднее...

Кажется невероятным, а между тем это было, что в самом конце 17-го года, в разгаре ночных грабежей, убийств, и полного торжества Ленина, еще не только существовала газета Горького, но и другие старые, и я еще могла там печатать самые антибольшевицкие стихи. Мало того: мы устроили, в Тенишевской зале, какое-то собрание, или вечер, где Д. С. читал о Достоевском, а я , еще кто-то, и Анна Ахматова — стихи. (Они, впрочем, безобидные). Тут даже вышел курьез: «товарищи» потребовали адреса Достоевского, иначе вечера не разрешали. (Пришли за адресом уже перед началом вечера). Им дали адрес его могилы, но они сконфужены не были*).

---

*) Это было не так (я присутствовал на этом вечере). Сначала читал проф. Сперанский. Потом был перерыв. В перерыве, в артистической, какой-то комиссар объявил, что до-

В это же самое время, на другом вечере, когда какой-то артист прочел стихотворенье Дм. С-ча «Христос Воскрес» (очень старое, но очень сделавшееся тогда актуальным), кто-то из публики, солдат, конечно, — выстрелил в чтеца из револьвера.

Бунаков по вечерам, с поднятым воротником, крался по стенке, чтобы притти к нам, и уже боясь позднее итти домой, оставался ночевать или у нас, или у наших знакомых, живших по той же лестнице. Он положения дел не понимал, не унывал: ведь будет Учредительное Собранье, а у них (у его партии) там большинство! Д. С. уже не спорил с ним, не кричал на него — бесполезно. Д. С. знал и чувствовал то, что происходит, и даже что произойдет, со всей своей предчувственной глубиной. Да впрочем многое было слишком, уж слышком ясно. Даже старый мой знакомый, Ваня Пугачев, солдат, постоянно бывавший у нас на кухне и с первого дня — член Совета Раб. и Солд. депутатов в Думе, говорил: «сдурел народ, теперь не остановитъ». Кухонные наши митинги, с ним и другим Ваней, — Румянцевым, — очень много мне тогда объясняли.

Вот, раз, в светлое морозное утро (было это, кажется, уже в 18-м году) — улыбающийся Бунаков спускался с лестницы после ночевки у наших знакомых; встретил у нашей двери моих сестер (он с ними был хорош). Сестры шли к нам, чтобы передать очередную посылку в крепость, Карташеву. И по дороге узнали новость, которую еще не знали ни мы, ни Бунаков. Новость — убийство солдатами Шингарева и Кокошкина, в Мариинской Больнице, куда их перевели из крепости «для безопасности», после долгих хлопот. Оба они были москвичи, приехавшие в Петербург, как выбранные члены буду-

---

вольно, — вечер отменяется и, обратившись к Сперанскому, спросил: «Адрес Достоевского?» На что Сперанский ответил: «Митрофаньевское кладбище». Этим все кончилось. Ни Д. С., ни (кажется) Сологуб, не читали. Все сейчас же ушли домой.

В. З.

щего Учр. Собрания. Мы их знали мало, один был, кажется, врач, другой — не помню кто. Это чисто звериное убийство подробно описано в пропавшей части моего Дневника. Услышав новость, Бунаков перестал улыбаться. Но... это были члены не его партии, другой, умеренной.

А бедные сестры мои, хлопотавшие о переводе из крепости куда-нибудь Карташева, совсем не знали, желать ли теперь такого перевода....

Но вот близится заветный день Учр. Собрания.

Надо сказать, что во время нашего житья в Париже и потом в месяцы наших туда наездов, мы знавали, из сопартийников Бунакова и Савинкова, двух братьев Моисеенко. Один, Сергей был одно время очень близок Савинкову, но потом с ним разошелся, и во время революции был далеко, на Яве. Другой, Борис, бессменно находился в Париже у Бунаковых, с ними вернулся в Петербург и нередко бывал у меня. Я говорю «у меня», потому что он приходил ко мне, всегда за одним и тем же делом: поправлять какие-то бумажки, партийные воззванья или что-то в этом роде — не помню. Я делала, что могла, но суконный язык оставался суконным. Да и нужен ли другой? — думалось мне иногда.

Перед Учр. Собранием уже не один Моисеенко, а и Б., — принесли мне кучу листков — проэкт декларации, которую их партия намеревалась прочесть в Учр. Собрании. В общем — в ней не было ничего, с чем мы могли бы не согласиться (особенно при данных обстоятельствах) — но написано это было... совсем не написано. Поэтому я сказала, что поправить я ничего не могу, могу только сызнова все переписать.

Труд нелегкий. Над этой «декларацией» я просидела всю ночь. Электричества не было (в это время его уже гасили ранним вечером), но был еще керосин, и я помню красноватый свет лампы на моем столе, смешанный с голубыми тенями рассвета в окнах.

Декларация была моим «заказчиком» одобрена, принята... И, скажу сразу, мои труды пропали даром: на Собрании ее прочесть не успели; как известно, матрос Железняков, пока Ленин с компанией тихонько смеялся в ложе, решил, под утро, что довольно, будя! и властно прекратил — навсегда — многолетнюю мечту русских революционеров — Учредительное Собрание.

В эту ночь я много раз поднимала портьеры, вглядываясь в морозную тьму: нет, еще освещены окна Таврического Дворца, еще сидят... Когда огни потухли, по манию матроса, я уже не видела. В начале вечера мне по телефону звонили каждые полчаса — шла борьба, кому быть председателем: Чернову или Марусе Спиридоновой. (Ох, уж эта Маруся! Она когда-то убила какого-то губернатора, очень самодовольно описывала себя и свой «подвиг», из каторги вернулась при революции). И так была глупа эта борьба между нею и Черновым — оба хороши! — что я сейчас безнадежно забыла, кто победил.

На утро, конечно, слухи, — особенно в кухне: Чернов, мол, в корридоре лежит убитый, да и другие: набили за ночь не мало.

С тех пор я как-то ни Бунакова, ни других из Центрального Комитета, из этого всего «большинства» — у нас не помню. Да, кажется, не одни с-ры партийцы, а все члены — избранники Учр. Собрания исчезли, — разъехались, разбежались кто куда.

И началась наша жизнь, — медленно, постепенно превращавшаяся в «житие».

Было еще одно место как бы жизни (18 г), когда мы трое, знакомая дама с сыном студентом и мои сестры, — вернулись в «Красную дачу», именье Дружноселье, где провели август 17-го года. Там уже был «коммисар», старый дом Витгенштейнов реквизирован, однако жить было можно: мудрая мудрая большевицкая постепеновщина! И осенью в Петербурге, до зимы, еще было похоже на «жизнь» — извне, конечно, а что мы думали, чувствовали,

чем дышали, — об этом говорят мои листки, ибо зима 18-19 г. и весь 19-й год до самого конца — подобны. Разве что конец 19го был холоднее, голоднее и чернее конца 18-го, а обысков было больше, да яснее сделалась гибель России. Обо всем этом написано подробно и в моих «Листках», и в «Записной книжке» Мережковского (изданы в нашем первом заграничном сборнике «Царство Антихриста» — переиздано в Париже в «Europe face à l'U.R.S.S.»). Мне здесь осталось добавить не много.

Министры Вр. Пр-ва были выпущены из крепости (все ли, и когда — не помню с точностью). Выпускали их постепенно, по два и по одному. Карташев убежал тотчас же. Мы его встретили только в Париже, эмигрантом, женатого. Кажется, он бежал через Финляндию.

За церковь большевики принялись сразу еще при нас, и довольно грубо (история с мощами), но потом приостановились. Точно раздумывали, какая тактика выгодна для момента. Летнее письмо патриарха (Вр. Пр-во поспешило учредить патриаршество, чем само было очень довольно) унизительное и заискивающее, обращенное к «Советской Власти, всегда бережно относившейся...» и т. д. — это письмо большевики не преминули напечатать во всех газетах с победно ликующими комментариями. На униженную просьбу «не расстреливать священников» ответили просто ляганьем. Некоторые священники из более интеллигентных от усердия, а м. б. «страха ради иудейска», принялись стряпать «живую революционную церковь». Заводчиком этой «церкви» объявился Александр Введенский. Безвкуснее, оскорбительнее и кощунственнее его надуманных служб трудно что-нибудь вообразить. Говорят, он стихи Надсона в алтаре читал. И ударился чуть ли не в кликушество. Митрополит, — это был тот самый еп. Сергий, когда-то председатель старых наших Собраний, — к этой «живой церкви» на всякий случай

примкнул. А насчет Александра Введенского здесь надо сказать несколько слов.

В 12-м, кажется, году (м. б. раньше) в газете «Речь» неожиданно появилась «религиозная анкета», ввиде письма в редакцию, подписанная очень известным в Петербурге именем «Александр Введенский». Мысль о такой всероссийской религиозной анкете была недурна, но в самой анкете, в постановке вопросов, Д. С. находил много слабого и неверного. Удивила нас и подпись: профессор А. Вееденский меньше всего имел отношение к религии, известно было, что он крайний позитивист*). Прошло не мало времени — и вдруг является к нам незнакомый студент. Рекомендуется: Александр Введенский. Узнаем, что анкету посылал в «Речь» он, а вовсе не известный профессор. Начинаем понимать, почему газета «Речь» ее напечатала: и она тоже думала, что прислал ее профессор. Может быть, студент, который не мог не слышать имени профессора, сыграл и намеренно на совпадении имен. Д. С., который анкету забыл (это было давно) хотел, чтобы студент ее напомнил, тогда можно было бы о ней поговорить. Но студент пришел к нам не для этого: он, оказывается, получил столько ответов, — изо всех концов России, что не знает, что с ними делать: не может их ни прочитать, ни разобрать. И он пришел с надеждой передать Д. С-чу весь этот багаж делайте, мол, с ним что хотите.

Студент нам показался мало симпатичным. Чернявый, заискивающий... Конечно, Д. С. не мог оставить свою работу и приняться за разборку такой кучи ответов на чужую анкету. Но эта куча могла быть интересна, частями. Не пропадать же ей! А студент, видимо, потерял весь интерес и к своей анкете, и к религии, и был готов все это уничтожить.

У нас жила тогда Оля Флоренская. Вот кто мо-

*) Впоследствии, как было слышно, он перешел к религии, но точного о нем ничего не знаю.

жет помочь! И Дм. С. согласился, чтобы А. Введенский свои письма нам переправил. Мы смеялись, что он, пожалуй, их на ломовом к нам привезет... Не знаю как, но привез он, через несколько дней, два громадных тюка, которые и были водворены в комнату Дм. Ф-ва, наиболее просторную. Оля принялась за разборку этой литературы, иногда с моей и с Д. Ф. помощью. Помнится, нашлось там не мало любопытного, особенно несколько писем из дальных концов России. Писали и сектанты. Одно какое-то письмо так понравилось Д. С-чу, что он взял его к себе; говорил, что мы не знаем, в сущности, какие глубоко-религиозные люди есть в России.

К сожалению, разборка была далеко не кончена, Оля уехала, мы переменили квартиру, и куда, в конце-концов, девались оставшиеся бумаги, я не знаю.

Студент Введенский исчез, мы его больше не видали. Выплыл, уже священником про-большевицкой церкви. Скверно, конечно, что он паясничал перед алтарем, стараясь выказать свою «революционность», но еще гораздо хуже, что он предал своего же бывшего наставника еп. Вениамина, первого, кажется, епископа мученика. Еп. Вениамин, исключительно светлой души (он часто бывал в нашем доме), был схвачен, полуголый и обритый везен с солдатами, на грузовике, по улицам, днем (узнал Введенского, стоявшего на тротуаре около Че-ка, говорили очевидцы, но м. б., это последнее — легенда), а за городом, где тогда это производилось бессекретно, — этими же солдатами расстрелян.

«Живая» церковь, большевицкий дивертисмент, очень скоро сделалась самой мертвой. Сергий во время сообразил, куда дело гнет и заранее унес из нее пятки. Неизвестно, так же ли мудр оказался Введенский, — вообще неизвестно, что с ним дальше было и существует ли он где-нибудь теперь.

Мартиролог героических священников, настоящих православных мучеников, тогда только начинался. Он длинен, — да ведь и сейчас не закончен;

новый, Сталиным избранный, патриарх, — все тот же Сергий, — уж, конечно, и просьб «Советской власти» не подает о его сокращении. Он лучше старого знает, «как бережно она относилась всегда» к служителям культа. Он очень многое знает.

К весне 18-го года относится краткая история, или анекдот, с одним из бывших приспешников Б. Савинкова, очень недавним, Филоненко. Это у меня не было записано ни в Дневнике (который я еще хранила, — во II части), — ни потом в листках.

Перед последним крахом Керенского, когда он истеричничал, но держал Савинкова и не решался еще на создание «дела Корнилова», когда Сав. бывал у нас каждый вечер (август 17 г.) — он приезжал к нам раза два с молодым офицером — Филоненко. Офицер этот почему-то Д. С-чу не понравился, и он попросил Бориса его к нам не привозить. Однако, Б. Савинков этому не внял, и еще несколько раз приехал с ним. Мне хотелось понять их отношения, и почему Савинков так за офицера держится, который сам по себе меня не интересовал. Присматриваясь к ним однажды, за чайным столом, и прислушиваясь к тону беседы, я поняла, как будто, нечто достойное вниманья. Во-первых — что офицер этот очень не глуп, а во-вторых — что Савинков его не видит, не знает, почему он ему нужен, а между тем — нужен. Почему же? Да потому, что этот офицер замечательно умно и тонко ему льстит, даже слишком тонко, можно бы и погрубее, результат был бы тот же. Тут я в первый раз поняла, припомнив коекаких прежних «поклоников» Савинкова, что он людей окружающих его видит мало и плохо, а на лесть падок. Офицер совсем не имел вида савинковского «поклонника»; поклонники так умно не льстят. Быть может, он был искренно против большевиков и надеялся на Савинкова в то время?

Прошел почти год. Савинков и Филоненко исчезли из Петербурга давно. Весной 18-го года Дм. Серг. ушел перед завтраком, как всегда, на прогул-

ку. Уже не в Летний Сад, — он теперь от нас далеко! а в Таврический, — он тут же. День был солнечный и ясный. Очень скоро Д. С. возвращается с каким-то незнакомым молодым человеком, блондином.

— Ты не узнаешь? Это Филоненко.

Непонятно, что он с собой сделал: не загримирован, а узнать его было почти невозможно: совсем другой. Д. С. встретил его в Тавр. саду, тоже не узнал сначала, а потом привел к нам. Филоненко спокойно и довольно холодно объяснил, что у него тут недалеко, на Спасской, целая организация, все бывшие офицеры, которых он вербует для борьбы (всесторонней) с большевиками. (Это оказалось правдой). Затем спросил, нет ли у нас знакомого опытного химика, у него проэкт взорвать ближайшее пленарное заседание Совета. Знакомый студент-химик у нас, — у нашего друга М., — оказался, через два дня он у нас же с Филоненко свиделся... Почему-то, однако, их проэкт не был осуществлен. Но надо сказать, что я никогда не видела человека более смелого и бесстрашного. Он потом был у нас еще раза два или три, рассказал, что делается на юге, рассказал, что с Бор. Савинковым он разошелся (из-за чего — было смутно). В общем мы поняли, что он поставил свою карту на Савинкова, а когда карта была бита — ушел, чтобы действовать самостоятельно. В успех вот этих его действий, антибольшевистских, однако, не верилось, хотя несомненно было его бесстрашие, смелость и недюжинный ум. Этим и Д. С-ча он привел тогда в восхищение. Казалось — и воля у него не меньше, если не больше Савинковской. Тогда же, весной 18-го года, когда Милюков, по природе бестактный, внезапно перешел (он был где-то в южном городе) на германскую ориентацию, — Филоненко с необычайной ясностью разумного предвидения, объяснил нам, что надежды на помощь Европы нам — проблематичны, чтобы не сказать более...

После нескольких весенних свиданий мы его

уже не видали. Его организация, кажется, не была открыта до конца, впрочем я тут с уверенностью ничего не могу сказать.

Анти-большевистское, так называемое «белое», движенье тогда едва зарождалось. А чтобы убедиться в безумии Европы, оставляющей большевиков рядом с собой, нам нужен был еще год. В «листках» моих сказано и об этом, и почему не было у нас веры в успех белого движенья, этой надежды последней. О том, что мы все-таки пережили и «пытку надеждой», когда армия Юденича была в Царском Селе, достаточно говорится в «Записной Книжке» Д. Мережковского.

5.

Может показаться, что я здесь, прерывая нить рассказа, отвлекаюсь от моей темы. Но моя тема сама по себе широка. Я пишу о Д. С. Мережковском не для того, чтобы дать библиографический перечень его работ. Я пишу о нем самом, о его жизни во времени, в котором он жил, о воздухе, которым он дышал, — о воздухе тогдашней России.

Нельзя взять человека вне его времени и вне его окруженья: он будет непонятен. И меньше всего можно отделить Дм. С-ча от России. Да, он многим казался, и был действительно, с известных сторон — европеец; но был и до такой степени русский, что сам являлся как бы одним из знаков и доказательств, что русский человек и Россия не Азия, а Европа.

Вот поэтому, думается мне, я от темы не отвлекаюсь, когда описываю жизнь Дм. С-ча, столь богатую встречами и событиями, — нашу общую жизнь, — и порою даже то, что, как-будто, близко в нее не входило.

Чем объяснить, например, что Д. С. с первого мгновенья (как и я) стал на позицию самого резкого отрицания войны? Почему так часто повторял, что

война—«несчастье»? Что это—принцип? Или кровь? Или политика — бессмыслие поводов к войне? Или предвидение, что из этой войны ничего доброго ни для кого не выйдет? Да, конечно, все это было на счету. Но ведь и любовь к России была на счету. Многие, очень многие, тоже войну принципиально отрицавшие, также не видевшие для нее достаточно поводов и даже сомневавшиеся в победе России при ее положении, — все-таки — войну эту из любви к России приняли и о победе мечтали, (как самый близкий друг наш, Д. Философов). Но Дм. С., помимо своего отрицания чувственного и разумного, еще страдал от войны в каком-то особом, тайном уголке души. Он, м. б., и сам не отдавал себе тут ясного отчета, — прямо не говорил об этом во всяком случае; но я-то, разделяя то же ощущенье «несчастья, знала эту боль. Недаром мы оба с одинаковой остротой знали, что такое мать и что сегодня — «самое трудное, невыносимое, — это взглянуть в лицо матери, — у которой убили сына». Но что эти мои стихи, и другие о том же перед некрасовскими «Внимая ужасам войны...» Об этом стихотворении мы с Д. С. особенно часто вспоминали. Я говорила: «мне кажется, что минуты разлуки и ожиданья, когда сын на войне, проходят сквозь душу матери, как шершавая проволка — каждая новая минута ранит эту душу».

А главное — ничего нельзя изменить, раз война. Осуждать сыновей, которые на войну идут? Желать, чтобы они оставались, хотя бы ради матери? Это, во-первых, близко утопическому средству Толстого: «пусть все люди сговорятся...» (тогда бы и войны не было!) А во-вторых — стыдно было бы за Россию, еслиб не оказалось у нее молодежи пылкой, с естественным порывом души идущей на войну, как на святое дело. Вот те молодые, что приходили ко мне по воскресеньям, у них, у большинства, души были уже изъеденные эстетизмом, ранним скепсисом, вроде души несчастного поэта Блока. И хоть являлись иные, в 16-м году, в защитках, — но

их надели они поневоле, отбояриться же всегда были рады. Исключения между ними — это самые юные; их-то надо считать настоящими.

Неудача нашей войны с Германией, неудача нашей войны с красным врагом — понятны. И обе неудачи связаны, хотя причины их различны. Обе — «несчастье» (война!), но еслиб добровольческой войны не было, — вечный стыд лег бы на Россию, сразу нужно было бы оставить надежду на ее воскресенье. И прав Дм. Серг., сказав, что не о прощеньи грехов убитых следует нам молиться, а у них просить прощенья. Ведь если они в чем и виноваты, — они, павшие на поле чести, — живые виноваты перед ними в тысячу тысяч раз больше.

Все знают теперь, почему погибло белое движение. Причин, и сложных, было много. Были и внутри его лежащие. Вожди не учли сил противника. Да. были среди них и такие, на севере, как Деникин и Юденич, — случай неуместного соревнованья — «кто первый войдет в Петербург?» И результат — отступленье обоих, когда разъезды уж достигли Забалканского проспекта. Да, было в некоторых частях опрометчивое, слепое утвержденье старого, тяга к прошлому, непониманье, что бывшее не будет вновь. Два главных вождя, Кутепов и Корнилов, от последней ошибки были свободны, ясность и трезвость ума Корнилова мне особенно хорошо известны, — но большевики, да и часть нашей нераскаянной «левой» интеллигенции, сумели и чужие грехи наложить на них.

А главная причина гибели Добровольческой армии — это ее полная покинутость. И внутренняя и внешняя. Она была покинута не только русскими, но и коварными вчерашними союзниками. Кучка солдат, еще не зараженных (пока!) ядом, который уже заразил большинство народа. Жалкое вооруженье. Отсутствие продовольствия. А у врага, у красных, обученные армии, орудия, захваченные с немецкого

фронта, богатство запасов со всей России, плюс хитрейшая пропаганда. Близорукие союзники, удовлетворенные выигранной (не без помощи России же!) войной, решили «не вмешиваться в ее внутренние дела», т. е. держаться подальше от «азиатской» катавасии, объявив, кстати, выгодный для себя «бойкот». Впрочем, по собственным словам Ленина, Англия сразу же «заговорила» с большевиками. Ведь «торговать можно и с каннибалами», откровенно высказался Ллойд-Джордж. Франция шла у Англии на поводу, поэтому так абсурдны ее словесные «признанья Врангеля» при одновременной посылке делегаций к . . . большевикам.

При этих условиях, какой же успех могла иметь святая белая борьба с зараженным русским народом? Я подчеркиваю «святая», потому что такой она была.

6.

Голод, тьма, постоянные обыски, ледяной холод, тошнотная, грузная атмосфера лжи и смерти, которой мы дышали, — все это было несказанно тяжело. Но еще тяжелее — ощущение полного бессилия, полной невозможности какой бы то ни было борьбы с тем, что вокруг нас происходило; мы все точно лежали где-то, связанные по рукам и ногам, с кляпом во рту, чтоб и голоса нашего не было слышно. Человек может, конечно, и к такому положению привыкнуть, если раньше не умрет. Но привыкший сделается уже полчеловеком, апатичным, механичным, покорным. К этому состоянию стал, мало по малу приближаться Д. Ф., еще не переживший к тому же трагической смерти трех сыновей своей сестры. Дня почти не было; во тьме у нас мерцали кое где ночники. Для Д. С. мы зажигали на полчаса лампу драгоценного керосина, чтобы он мог, лежа в шубе на кушетке, почитать свои книги об Египте (за-

думанная давно работа). Но если бы дана была ему эта возможность и не на полчаса, а на сколько угодно времени, он, по самому характеру своему, с общим состоянием нашего паралочного бездействия и безмолвия не мог бы примириться. Ему казалось, что каждый зрячий и понимающий происходящее — — должен что-то делать, именно д о л ж е н бороться с опутавшей Россию смертной и преступной ложью, как? Это уж как ему дано.

По поводу незначительной одной бумажки, пришел к нам раз молодой человек из Смольного (резиденция большевиков). Одет, как все они тогда одевались: кожаная куртка, галифе, высокие сапоги. Но был он скромен, тих, лицо интересное. И почему-то сразу внушил нам доверие. Оказалось, что он любит Достоевского, хорошо знает Дм. С-ча и даже меня. На вопрос — партиец ли он? Он как то сбоку взглянул на Дм. С-ча, слегка качнул отрицательно головой и сказал только: «я христианин».

Потом, в разговоре, повторил Д. С-чу несколько раз: «Уезжайте отсюда. Вы меня спрашиваете, можно ли здесь что-нибудь делать? Нет, ничего. Если уедете — может быть и найдется».

Эта встреча только укрепила уже существовавшую у Д. С-ча мысль об отъезде. Т. е., о бегстве, — мы знали, что нас не выпустят, знали твердо. Пусть в то же время многие хлопотали о разрешениях, и надеялись... Напрасно, как и показало дальнейшее. И если бы хоть сразу отказывали хлопочущим! Нет, их водили по месяцам, по годам по лестнице просьб и унижений, манили надеждами и бесконечными бумажками... Вот как это было с Сологубом и его женой. Она уже в Париж написала нам радостное письмо — почти все сделано, их выпускают! А когда оказалось, что нет, что, и эта надежда опять обманула, — бросилась с моста в ледяную Малую Невку, — тело нашли только весной. С умирающим Блоком было тоже; просили выпустить его в финляндскую санаторию, по совету врачей. Это длилось почти год. В

последнее утро выяснилось, что какая-то анкета где-то в Москве потеряна, без нее нельзя дать разрешенья, надо ехать в Москву. Одна из преданных поэту близких женщин бросилась на вокзал: «билетов нет — поеду на буферах!» Но ехать не понадобилось, так как в это самое утро Блок умер. Мы, и не зная еще этих несчастий, догадались, что хлопоты начинать бесполезно.

Мысль «уехать» приняла у Д. С-ча сразу особую форму: это не было желание уехать о т чего-то (от тьмы, холода, голода и т. д.) «От» было между прочим; главное же — к чему ехать, куда и д л я ч е г о.

Напоминаю, что мы были крепко и наглухо заперты, как вся Россия была заперта, отделена (или нам казалось) от всего остального мира. Мы то, в Петербурге, не знали, во всяком случае, что делается даже в соседнем городе. Естественно предпологали, что и мир, Европа, не знает, что происходит у нас и с нами. А происходившее так ясно, так несомненно было не-воз-мож-но, что только незнаньем оправдывалась, думали мы, беспечность Европы, не понимающей, что горит дом с о с е д н и й, а пожар такого рода, что не может на одном доме остановиться. Пламя д о л ж н о перекинуться, рано или поздно, и если поздно... то уже будет поздно.

Поведение Англии и Франции (союзники!), мы вот таким не знанием сущности большевизма (интернациональной!) и объясняли (отчасти, ибо не честность Англии и торгашество имели тоже ввиду). Не знанием и тупостью объясняли и доносившиеся к нам изредка слухи о словах некоторых русских, бежавших давно и старо-режимных. Возмущались вредом, который они там приносят.

Отсюда наивные мечты мои, чтобы европейцы прислали сюда честных людей, м. б. из рабочей среды, но инкогнито, т. е. не к большевикам, (которые на наших глазах приезжавших к ним иностранцев, — честных и нечестных, — обманывали наигрубейшим

образом). Отсюда-же, наконец, и не менее наивная мысль наша уехать, добраться до мира, чтобы ему посильно что-то с к а з а т ь. Мы были убеждены что на каждом знающем, кто-бы он ни был, лежит этот долг. Ведь так просто и ясно, что «земля вертится». Однако... В краткие минуты сомненья (или просветленья) особенно тяжелые, и нам, конечно, приходило в голову, что:

Сказать — не поверят,
Кричать — не поймут...
И близится черед,
Свершается суд.

Минуты эти проходили, и опять казалось, что мы можем что-то сделать, — во всяком случае делать — «там». У Д. С.-ча заграницей большое имя... Мы жили во Франции, мы ее знаем... Как сметь отказаться хотя бы от попытки?...

И вот начались всякие планы, сговоры с разными людьми, в которых мы были уверены. Надвигалась грозная, особо суровая, длинная зима. Но это нас не останавливало. Ближе всего было бежать через Финляндию, по льду через Финский залив (пешком). Неимоверная трудность для людей, как мы, слабых, да еще ослабевших от голода. Кроме того, путь этот был особенно опасен и с красной стороны. Несколько примеров трагического окончания таких побегов, как раз в это время, в начале очень рано наступившей зимы 19 года, заставил нас — меня и Д. С-ча, так как Д. Ф. почти не принимал тут участия, — подумать о других путях. Все были опасны, но где-нибудь мог помочь случай. Кто-то, не помню точно, какая-то дама, предлагала нам соединиться с ее компанией — у них был план бегства через Режицу. В конце-концов растроился и этот план. Главное — севернее или южнее переходить западную границу — везде надо было переходить военный фронт: у большевиков тогда шла война с Польшей.

Между тем, положение наше, Д. С-ча в особенности, делалось критическим: ободренные переходом некоторых интеллигентов-писателей на их сторону, большевики не сомневались и в дальнейших успехах. Дм. С-чу уже было сделано предложение прочесть лекцию, — одну или несколько, — о Декабристах. В его «Записной Книжке» это отмечено, как и другие переговоры с «властями», когда он остановился на мысли добиться разрешения... не эмигрировать, а только уехать из Петербурга, лучше всего на юг. Кстати, был и «откровенный», как будто, предлог: подкормиться, — все знали, что там не столь голодно, как в Петербурге. Не мешало тоже намекнуть, что ведь и там, в одном из южных городов, Д. С. может прочесть несколько лекций... Вот поэтому, когда мы пустились в путь, на обложке начатых работ, рукописей Д. С-ча о Египте, было большими буквами написано: «Материалы для лекций в красноармейских частях».

Нас было четверо. Четвертый — это студент, сын той нашей знакомой, которая провела с нами и с ним лето 18-го года, в Дружноселье. Для нас молодой спутник в опасном путешествии мог быть только помощью. И вот Д. С., с большим трудом и даже унижением (потому что через Горького) добыл разрешение сопровождать нас «на юг» и для «Володи», (как мы звали нашего молодого товарища).

Конечным пунктом был у нас намечен Гомель. Имелись сведения, что оттуда «переправляют». Четырехсуточный путь в вагоне, полном до отказа красноармейцами, мешочниками и всяким сбродом, не таков, чтобы его здесь вспоминать. До Гомеля поезд не дошел, и мы вылезли раньше, в Жлобине. Ночь, сугробы снега, мороз в 27°. Об этих днях в корчме у еврея Янкеля, который за одну думскую тысячу в день отдал нам четверым свое «зало», тоже лучше лишний раз не вспоминать. Все время переговоры, то с одним подозрительным контрабандистом, то,

после обмана одного — с другим, переход от надежды — к падению духа, и опять к надежде...

Но вот, наконец, весьма облегченные от наших жалких думских тысяч и кое какого багажа семьею Янкеля, мы на двух санях (я с Д. С., Д. Ф. с Володей) едем, на рассвете, в белую снежную пустыню — в неизвестность. Две ночи. Два дня. «Ледяной ветер, как ножами режущий... Вдруг, на самом краю белой равнины, замелькали черные точки: польский фронт.

Вот солдат, непривычного вида, подтянутый, в шапке с углами. Другой, третий... Поляки, познанцы... «Кто вы? — Русские беженцы. — Откуда? — Из Петрограда. — Куда? — В Варшаву, Париж, Лондон...

Познанский легионер подал знак, ворота открылись, и мы переехали черту, отделяющую тот мир от этого.

Этими словами кончается «Записная Книжка» Дмитр. Серг-ча. О том, как встретила нас Польша, где мы, после побега, прожили около десяти месяцев, — это уж другая, особая часть жизни Дм. С-ча и моей, требующая особого рассказа.

ПОЛЬША 20-го ГОДА

Бобруйск — маленький уездный городок был нашим первым польским этапом. Насколько комендант пункта был любезен и предупредителен, открывая нам границу (у Дмитрия Мережковского была на готове, как удостоверение личности, вместо паспорта, его книга) — настолько грубы и ненавистны ко всяким беженцам из России низшие служащие. В этом мы и после имели случай убедиться. Тут, в Бобруйске, в какой-то контрольной станции, нас продержали на тюках целый день, продержали бы, пожалуй, и ночь, не вызволи нас оттуда молодой бобруец (русский) Иван И. Дудырев, незнакомый нам, но нас знавший. Он нас освободил, устроил, потом даже в Минск с нами поехал.

Устроились мы уж как Бог послал и прожили в Бобруйске дней десять. Из старых газет мы едва начинали понимать, какая чепуха происходит в Европе. Мы, ведь, были совсем дикие. Первые магазины в Бобруйске привели нас в столбняк. Володя З., наш молодой спутник, с открытым ртом остановился перед выставленными в окне чулками и произнес с удивлением:

— Ведь их — можно купить!

Через бобруйскую улицу мы боялись переходить, точно это была Avenue de l'Opéra: лошади, ездят! Дм. Фил-ов (Дима) едва решился отправиться к открытому им парикмахеру и расстаться со своей окладистой бородой, совершенно его менявшей. В офицерском клубе, куда нас пригласили на большой обед, мы с недоверием и почти с ужасом глядели на

белый хлеб и на яблоки, точно это были плоды нового, иного мира. Вообще Бобруйск, после Петербурга, казался нам верхом благоустройства и культурной жизни.

В Минск мы добрались, благодаря любезности польских властей, в воинском поезде. Поселились в гостинице «Париж», довольно-таки разрушенной сначала немцами, а потом, главное, большевиками. Но одно сознанье, что их здесь уже нет, делало для нас этот убогий «Париж» — парадизом.

Общее положенье наше было такое: мы все, преже всего, были заряжены стремлением бороться с большевиками. То, что мы знали о них, поняли, весь наш опыт, вечная мысль об «оставшихся» — это, само по себе, делало невозможным наше молчание. Белые булки, молоко, шеколад, — мы не радовались им, не накидывались на них; мы были к ним или равнодушны, или казались они нам противны и п р е с т у п н ы, если признать, что мы спасли свою шкуру и ничего не делаем против большевиков.

И тут же мы были — нищие. Несколько «думских» тысяч, спасенных от Янкеля и сохранившихся в подкладке чемодана, старое платье, рваное белье, черная тетрадка моего дневника последних месяцев — вот все, что у нас было. К счастью было еще «имя» Д. Мережковского. Мы очень надеялись на него, однако сам Дмитрий понимал, что нам нужны другие помощники, единомышленники. Кто мог быть таким помощником? Вспоминая всех наших друзей, в России, друзей из Вр. Правительства и «революционеров», которые, конечно, были теперь в Европе, вспоминая все пред-большевицкое время с этим страшным делом Корнилова, — на кого мы могли надеяться? Не на Бунакова же с его партией, где он сидел, по его словам, рядом с «негодяем» Черновым. Естественно, что таким единомышленником нашим м о г быть один Савинков. Мы его знали годы, в такое, правда, время, но знали и вот эти месяцы перед самым переворотом, знали близко его роль в деле

«Керенский-Корнилов»... Недаром же за смелое и верное поведение его в этом деле из «негодяйско-черновской» партии его исключили.

А тут, кстати, мы узнали, что в январе Савинков с Чайковским приезжали в Варшаву, уехали в Париж, но весной должны были приехать снова. С Чайковским, старым лондонским эмигрантом, мы знакомы не были, но много о нем слышали. Что он приезжал с Сав., и в Польшу, единственную страну, с большевиками воюющую, был хороший знак. Но сведения о их приезде имелись смутные — какая, все-таки позиция Савинкова? Зачем он приезжал в Варшаву и приедет ли весной? Помня парижский адрес Евг. Ив-ны (его жены) мы послали ему телеграмму. Послали телеграмму молодому Юзефу Чапскому, мы его знали по Петербургу. Высоченный, тонкий юноша, он приходил к нам, в большевицкое уже время, в тулупе, зная Д. С-ча по его книгам. Показался нам очень симпатичным, хотя не очень понятным. Оказывается, он, польский офицер, самовольно, идейно отправился тогда в Петербург, да еще с двумя своими молодыми сестрами, не то исследовать русскую революцию, не то соблазненный ею. Скоро, конечно, опомнился и вернулся в Варшаву. (Мы там его встретили потом, опять в армии, но не офицером, а просто солдатом пока).

От Савинкова получили ответ, мало поясняющий, но с заверением, что в Польшу приедет, и с вопросом о его детях (от первой жены, Веры Глебовны, которая уехала с ними в Россию, когда он влюбился в Евг. Ивановну).

Сына его в России мы не видали, а дочь Таню я помню. Большевики, конечно, не оставили семью Савинкова, хоть и старую, в покое. Эту несчастную Веру Глебовну они арестовали сразу. Таня (ей было уже лет 16) несколько раз приходила к нам. Рассказывала, что всюду толкалась, хлопоча за мать, была у Горького даже, но, хотя сидела долго на ступенях его лестницы, ее не приняли. Просила нас написать

ему письмо. С письмом, может, примет. Так как к Горькому уже с хлопотами за того или другого обращались и Д. С., и Дм. Вл., то теперь пришла моя очередь. Села писать, как мне это было ни трудно. «Алексей Максимович...» ну а дальше как? Дмитрий меня подбодрил: «ничего, все мы теперь на это обречены...» Я вспоминаю, что был слух, что Розанов расстрелян и, хотя я не верю, решаюсь и этот слух кстати, Горькому на вид поставить. Особенно противно писать мне Горькому еще потому (хотя сама не понимаю, какая тут связь), что он бывал у нас во время войны и сказал однажды, что пленен моими стихами и хотел бы их издать. Все равно, письмо было написано, Тане вручено. Слышали потом, что мать ее выпустили (до следующего, вероятно, ареста), а Розанову, находившемуся тогда в последней нищете, Горький даже послал какое-то вспомоществование.

Последнее время Таню мы не видели. Она была очень мила, и в обожании своего отца. Бог весть, что, в конце-концов, с ней случилось. Савинкову мы так неопределенно и ответили, а пока, и в Минске, не пришлось сидеть сложа руки. К нам стали приходить разные люди, и у Дмитрия С-ча явилась мысль устроить здесь ряд лекций о большевизме. Русское минское общество, глубоко провинциальное, поразило не этим, а — ненавистью к полякам! К освободителям Минска! Это было для нас столь дико, что мы не могли опомниться. А когда опомнились — стали в определенную позицию.

Конечно, поляки, особенно низшие служащие, вели себя по отношению к русским — глупо. Ненавидели их наравне с евреями и держали себя, подчас, как завоеватели. Но это была мелочь, это было ничто перед тем ужасом, от которого поляки избавили Минск, взяв его у большевиков. (Теперь, когда я это пишу, когда Минск отдан «Советам»»» и они там по своему распоряжаются, что поделывает, если жив, И. И. Метлин, упрекавший нас в «полонизме»?

Поляки, мол, русского языка лишили! Не лишили ли его теперь большевики — всякого).

Был там и кружок уже совершенно правых «остатков», — и с ним мы меньше сообщались... А епископ Мелхиседек, молодой, болезненный, красивый, был везде центром обожания. Да он и в самом деле не без интереса. Держал себя с польскими властями очень тактично. Приятно удивлял стремлением к «современности». Напомнил мне лучших иерархов Петербурга времени первых Рел. Ф. Собраний. Интеллигентен. И с этим несомненное религиозное мужество при случае — подвижничество. (Наверно его нет уже, после взятия Минска, в живых, но я не сомневаюсь, что он до конца держал себя достойно). К нему я еще вернусь, а пока продолжаю нашу историю.

Очень скоро состоялась наша лекция, всех четверых, в Городском Театре (как раз против нашей гостиницы). Устраивали ее заведующие русской Пушкинской Библиотекой (Д-р Болоховец — очень милый). Наплыв народа был такой, что мы, придя в театр, не могли пробраться и уже хотели итти назад. К толпе у нас остался особый ужас. Но после скандалов, криков полиции — прошли, наконец. Вся снежная, темная площадь была запружена не попавшими. Мы решили эту лекцию повторить.

Среди кучи всяких людей, стремящихся в нашу гостиницу, к Мережковскому, не из последних был редактор местной русской газеты «Минский Курьер», некто Гзовский. Московский поляк, мелкий репортер, помыкавшийся по свету. При большевиках — был в большевицкой газете, возможно — шпионил полякам (мог бы, при случае, и обратно). Громадного роста, с зычным голосом, довольно определенный хам, притом захолустный (уж был ли он в Москве?) Он тотчас сообразил, как выгоден ему приезд литераторов, да еще Мережковского. Решил его использовать, принялся за нами ухаживать, печатать всякие интервью и собственные статьи о Дм. Серг-че,

— презабавные, как например, одна: «Ублюдок и Титан» (Ленин и Мережковский). Мы отлично видели все и смеялись над его грубыми ухаживаниями, которые были бесполезны: и без них мы, одичавшие, оголодавшие без «слова», заряженные Совдепией, пошли бы на буро-желтые страницы его убогого «Курьера». Он сейчас был ярко анти-большевицкий, чего же еще нужно?

Ко второй лекции мы уже не жили в «Париже». Дм. С-ча и меня Мелхисидек устроил в Женском Монастыре, в доме игуменьи. Две комнаты на второй половине домика, уступленные жившей там М. Алекс. Гернгросс (очень милая дама из высшего о-ва, поклонница Мелхисидека). Дима (Дм. В. Фил.) переехал на другой конец города, к Хитрово, а Володя Злобин нашел приют за рекой, у сестры игуменьи, самой простецкой и довольно сварливой бабы.

Совершилось наше первое разделение.

Это, чисто внешнее разделение Д. С-ча и меня с Дим. Ф-м, мне, однако, не нравилось. Дело в том, что крепкое наше содружество, соработничество в единомыслии, с начала войны стало ослабевать. Первая причина — сама война, несходство отношения к ней. Февральская революция (для нас с Д. С. она была неизбежна, мы только боялись, не превратится ли она в какое-нибудь чудовище хаоса), эта революция могла бы нас опять сблизить, но пока и я и Дм. С-ч, видя опасность, до последних дней пытались что-то делать, помогать без разбора всем, кто только был против большевиков (Д. С. — Филоненке, я — манифестами эс-эрам, и оба мы — Савинкову) — Дм. Вл. Ф. сразу погрузился в полное отчаяние.

Большевики, наша общая ненависть к ним (соединяла ли кого-нибудь ненависть?) только углубляла трещину между нами. При каждом наступлении белых генералов, когда мы говорили, что ничего не выйдет, что нужна «третья сила», — начиналось раздражение:

— Ну и создавайте эту «третью силу!» Ее нет

— и пока — молчите, не каркайте, не смейте «о них» говорить.

Мы понимали, что у него было и личное страданье — гибель трех сыновей любимой сестры, — но все же его ожесточение и пассивность казались мне чрезмерными. С пассивным отвращением соглашался он на отъезд. Можно сказать, что Дм. Серг. насильно увез его, так он был инертен и безучастен.

Но с переезда, особенно с Минска, у нас оказалась, как будто, одна и та же «политика». Не сговариваясь, мы одинаково отнеслись к Польше, к полякам. Д. Ф. напечатал у Гзовского, что спор о границах 72 года сейчас спор праздный, абсурдный и преступный, — пусть эти границы только справедливость, — мы оказались на той же позиции. Польша одна боролась против большевиков. Мы должны были быть с Польшей. И были с ней по всей совести.

К приезду Сав-ва Д. Ф. относился теперь тоже положительно. Однако нам всем троим надо было бы чаще видеться, говорить о лекции, об очередных статьях... Вот потому внешнее наше разделение мне и не нравилось, Д. Ф. не мог всякий день приходить в монастырь.

Вторая общая лекция тоже прошла с успехом, — публичным, — ибо минское общество начинало уже коситься на нас за полонофильство. За то было громадное собранье у еп. Мелхисидека, где мы опять все читали. Он очень хорош, Мелхисидек.

Между тем, поползли слухи о мире с большевиками. Потом, к счастию, заговорили о срыве мира. Что за ужас был бы этот мир! Не говоря о нас, но для самой Польши! Но она явно не знает еще этого, не знает и не понимает — большевиков.

Поезда в Варшаву не ходили, мы оставались в Минске. Дмитрий стал готовиться к третьей лекции, уже только своей и чисто-польской — о Мицкевиче.

Помню розовые утренние рассветы в оснеженное окно моей монастырской комнаты. Стена собора,

в саду, вся в заре. Сны, от которых плачешь, просыпаясь. Все то же, все о тех же... Если очень громко плачешь — Дмитрий будит из соседней комнаты.

И опять засыпаешь, пока, совсем утром, не внесет мать Анатолия, самая благообразная из монахинь, самоварчик, не подымется Дм., собираясь итти в холодную ванну — умываться.

Днем — люди. Вот генерал Желиговский. Умный, удивительно приятный, все понимающий. Он первый как-то оформил нашу задачу.

— Поймите, говорил он, здесь нет никого ответственного и разумного из русских людей, с кем поляки могли бы разговаривать и кому могли бы доверять. Отношение к Польше парижских представителей несуществующих русских правительств — вам известно. Если бы они даже были здесь — из этого ничего бы не вышло. Ожесточенье поляков против русских огулом вполне понятно, хотя и не разумно.

«Неудачи русских генералов меня не удивляют. Я сам генерал русской службы, я знал многих, и знаю, почему в борьбе с большевиками они успеха иметь не могут. Генерал должен быть, вы правы, но генерал не может соединять в себе военную и гражданскую власть. Возвращаясь к Польше, которая сейчас одна могла бы серьезно помочь борьбе с большевиками, да фактически одна сейчас и борется с ними, — я повторяю, что таких русских анти-большевиков, с которыми она могла бы соединиться — здесь нет. Н а м н е с к е м р а з г о в а р и в а т ь. Вы первые русские люди, точка зрения которых нам не внушает недоверия. Вы поняли, как болезненно отношение Польши к России. Границы 72 года... Какой разумный поляк будет претендовать на них фактически? Но это вопрос чести. Это — п е ч к а, о т к о т о р о й н а д о т а н ц о в а т ь. Отказ русских от насильственных действий царского правительства против Польши, начиная с 72 года. Момент восстановленья справедливости — честное — от начала разговоров Польши и России на основах

взаимного доверия. В Польше нужно создать русское правительство, которое Польша желала-бы видеть в России у власти, после свержения большевиков».

Вот, собственно, суть наших разговоров с ген. Желиговским. Нечего подчеркивать, что мы отлично понимали друг друга. Мы были еще только в Минске, мы не знали ни варшавских настроений, ни положения Польши и ее правительства, не знали детально ни соотношения сил партий, не уясняли себе, что за личность Пилсудский (не Керенский ли, думалось порою, читая влюбленные письма молодого Чапского), но главная суть дела была ясна. Ген. Желиговский только утвердил общую нашу линию.

Он тогда занимал важный пост в Минске, где сумѐл себя отлично поставить. Бывал на каждой нашей лекции.

Внешним образом тоже помогал нам, во всякой возне с бумагами, с пропусками и т. д. Часто приезжал в монастырь. Иногда присылал рослого своего адъютанта (который потом, при отъезде нашем в Вильно, и провожал нас на вокзал, на автом. Желиговского). О Желиговском, когда мы расстались, осталась у нас память, как о первом польском друге, умном, сильном и надежном.

Лекцию Дм. С. о Мицкевиче Пушк. Библиотека отказалась устраивать, — все из-за полонофобства, — устраивал, частным образом, доктор Болоховец.

Ив. Ал. Дудырев, молодой русский бобруец, (тот, что спасал нас в проклятой «контрольной станции») последовав за нами в Минск, пристроился тоже в монастыре, в передней у «матушки» (вот халда, не тем будь помянута!) и уж стал тихо мечтать о монашестве... Я в шутку звала его «сыном монастыря», — как бывает «дочь полка».

Так мы жили. Утром, бывало, матушка игуменья пронзительным голосом ругается в корридоре, разносить монашенок, а под вечер приезжает Мелхисидек, и начинаются, под его аккомпанимент на фисгармонии, на половине «матушки», акафисты Ии-

сусу Сладчайшему, — длинно-длинно, нежными женскими, будто ангельскими, голосами.

Мы с Дм. С. были на торжественной всенощной накануне престольного праздника нашего монастыря. (Собор сохранился, но был без креста, большевики успели снять).

Я понимаю интуитивное обожанье, которое вызывает к себе Мелхисидек. Его голос, его возгласы напомнили мне очень живо... Андрея Белого, когда он читал — пел свои стихи. Так же поет Мелхисидек, только божественные слова. Служит всенощную, как мистерию. А когда, в конце, вышел в голубой мантии, шлейф которой несли за ним к дверям, было и в самой деле поразительно.

Мурра у них не было, просто деревянное масло, и я, для этой всенощной, отдала матери Анатолии, по ее просьбе, последние капли духов «Cœur de Jeanette».

Болезненный Мелхисидек неутомим: по 6-8 часов на ногах, в долгих службах.

Любит стихи. Очень был тронут, что я ему своей рукой переписала те, которые читала на его вечере. Трогательно боится своего воспитанья, заботится, как бы ему с нами не показаться «кутейником». Но он очень культурен. И религиозно-культурен.

После лекции Дм. С. о Мицкевиче (тоже совершенно полной и в присутствии представителей польской власти), мы решили уезжать. Поляк Ванькович обещал поместить Дм. С-ча и меня у себя. Желиговский устроил удобный проезд.

В поезде мы встретились с французом, полковником Belgrand. Потрясла чуждость европейцев. Мы — еще «оттуда», мы все помним, знаем, а он говорит, как ни в чем не бывало, «Les bolcheviks?» , утешал нас. Ну что ж, вы забудете, peu à peu, le printemps viendra... говорил о Leonard de Vinci...

И ведь милый человек!

В Вильно мы сначала остановились в гостинице, — грязной, разрушенной, как все. Дима и Володя там же, на другом конце корридора.

Тотчас же начались приготовления к лекциям. И прихожденья всяких людей. Явился Ванькович, и дня через три мы с Дм. Серг. переехали к нему на квартиру, в две очень приятные комнаты. Как раз напротив гостиницы, где остались Дима с Володей.

Русских в Вильно мы встречали не много. Главное — польское общество. Наш старый знакомый и друг, Мариан Здеховский, профессор виленского университета, устраивал у себя постоянные, очень интересные, собранья. Собственно только с Вильно мы начали понимать польское общество и польские настроения. Хотя это были круги скорее правые, но их надо было группировать иначе, не по российски, а как то по новому. Приходилось считаться с несколько странной ситуацией. Правительство (Пилсудский) — левое, страна молодая, вдрызг разоренная войной, едва возникающая; традиции старые, дворянство старое; древняя ненависть к России — поработительнице; всеобщий патриотизм и — антисемитизм.

Разобраться было трудно, ибо везде мы наталкивались на противоречия; но раз поняв общее — уже оказывалось просто брать частное.

Тут, у Мар. Здеховского, оказалась и старинная, еще по Парижу, приятельница наша, княжна Стазя Грузинская. Уже католической монахиней (в светском платье). И униат Диодор, тоже ксендз теперь, бритый, с виду мальчик. Стазя долго сидела в большевицкой тюрьме, с проститутками и уголовными, за христианское рабочее братство. Только приход поляков освободил ее.

Наша общая лекция была прочитана в громадной длинной зале с колоннами, при таком стечении публики, что выломали стеклянную дверь, был шум, и полицмейстер выбегал каждую минуту.

Вторая лекция Дм. С-ча о Мицкевиче попала под бойкот евреев. Все билеты в той же гигантской зале были заранее раскуплены, так, что не попало много поляков, а зала была на треть пуста.

Таким образом, Дмитрий уже сделался поводом усиления раздора между евреями и поляками.

Собрания у Здеховского продолжались вплоть до нашего отъезда в Варшаву. Бывало много католиков, ксендзов и прелатов.

Познакомились мы с очень милым благородным французом, членом военной миссии, d'Aubigny, через которого сносились с Парижем. Знали, что Савинков еще и не думает ехать в Варшаву, хотя я часто об этом писала, Дм. С. и Д. Ф. делали к моим письмам свои приписки.

В Вильно Д. Ф. опять погрузился в свое раздраженное уныние, без видимой причины. Мы с Д. С. надеялись, что в Варшаве это опять у него пройдет. Затрудненье было — где жить в Варшаве? Она переполнена. Юзик Чапский писал, что хотел устроить нас в пансионе, но потерял надежду. Наконец Любимова, сестра известного Тугана-Барановского, наша знакомая, бывшая варшавская губернаторша, ныне дама-патронесса разных «Крестов», дала нам знать, что приготовит нам «deux petites chambres mauvaises» в гостинице Краковской.

В Вильно снег уже не лежал, когда мы уезжали. Грязь по колено, ветер, дождь. А ехали мы — в первый раз в почти нормальном Sleeping'е! Удивлялись и даже боялись.

В Варшаве нас встретило солнечное, ветренное, сухое и холодное утро. Была уже половина февраля.

Краковская гостиница на Белянской (еврейский квартал) оказалась не особенно лучшим притоном, нежели корчма Янкеля в Жлобине, где мы ждали переезда границы. Нас и туда долго не хотели пускать; наконец, благодаря еврею, фактору Любимовой, дали комнату для двух, обещая (уклончиво) дать к вечеру

другую. Пока же мы поместились в этой все четверо, в одной (как у Янкеля). К счастью был день.

Дм. Серг. с Володей поехали в Центро-Союз, где, как Дм. С-ча известили в Вильно, были получены деньги от шведского издателя Бонье (он еще в Минске, узнав, что Мережковский в пределах досягаемости, телеграфировал ему, с просьбой прислать текст новой своей работы и обещая спасительный аванс).

Мы с Д. Ф. вышли просто на улицы Варшавы. Снегу не было и помина. Чисто, сухо, довольно холодно. Незнакомая Варшава казалась чужим и неприятным Парижем.

Выйдя на Краковское предместье (главная улица) решили поискать Любимову. Она оказалась тут же, против почты с глобусом наверху.

Ее квартира возбудила во мне зависть. Но какую-то равнодушную. Давно уж стало как-то все равно все внешнее.

Сама Любимова оказалась не той сестрой Тугана-Барановского, которую мы знали ближе, — второй. Полная, довольно красивая, представительная, и, по всем видимостям, очень «деловая»: она и в Комитете, она и в Кресте, она и с американцами, она и с евреями, она — везде. Приглашала нас к себе — знакомить со «всеми».

Сразу почувствовалось, что тут разные сложности и не без чепухи.

К вечеру мы еще были в той же несчастной комнате — вчетвером. Пришел Юзик Чапский, милая, нелепая дылда, — солдат. После своей эскапады в Петербург, он вернулся в собственный полк, но не офицером, а пока-солдатом. Он ребенок-мечтатель, но очень глубокий, кажется. Типичный поляк, с лучшими их чертами. Влюблен в Пилсудского.

Поздно вечером Диме и Володе дали маленький номер в конце холодного и вонючего корридора. Мы с Дм. С. остались в этом, первом номере (42), выходящем на лестницу.

В нем, в комнате с двумя кроватями у двери, с грязным умывальником и единственным столом, с окнами на шумную еврейскую улицу со скрежещущим трамваем, с криками евреев за тонкой стеной в коридоре, где как раз висел телефон, мы прожили с Д. С. больше двух месяцев. Здесь-же мы готовились к нашим лекциям, здесь писали и книгу (поочередно, т. к. стол один), здесь принимал и толпу разнообразного народа, — русских, поляков, интервьюеров, послов, людей всех направлений и всех положений.

Кофе утром варила я, Володя приносил нам хлеб и молоко из нижней еврейской цукерни Студни, где они с Д. Ф. по утрам сидели. В 3 часа бледный наглый кельнер приносил нам обед (Д. Ф. обедал где нибудь в городе), а вечером тот-же Володя опять из Студней — яйца. Когда за стеной утихал наконец телефон, ночью, мыши поедали, с гвалтом, крошки и пытались откупаривать банку с запасным конденсированным молоком.

После обеда Дмитр. Серг. уходил хоть немного отдыхать в номере 35-й (Д. Ф. и Володи), а мы оставались втроем у нас. Это принужденное сиденье без дела и возможности одиночества вспоминается особенно тяжело.

Бесполезно описывать подробно эти месяцы. Важно наметить общую черту и поставить главные вехи наших этапов.

Были, собственно, две линии: русская и польская. В «Русском Комитете» — русский агент Кутепов, (не генерал), ставленник и представитель несуществующего русского правительства — в Париже, Сазонова, ненавистного всем без изъятия, и находившагося накануне исчезновенья. Этот Комитет тоже находился в стадии кризиса. Искрицкий уходил, делами заведывал какой-то Соловьев, сладкая и малоизвестная личность.

Вскоре после нашего приезда, всех нас в Р. Комитет пригласили на торжественное заседанье. Мы там без стесненья гнули свою линию, среди невинной, но

раздражающей чепухи Семенова и еще кого-то вроде. К удивлению, весь Комитет, под председательством Соловьева, присоединился к нам. А старик, генерал Симанский, проявил даже некий пыл.

Мы, однако, старались главным образом выяснить, на какой позиции стоял приезжавший сюда Савинков с Чайковским. Соловьев сказал, указывая на Дм. С-ча и на меня:

— Вот на этом месте сидел Чайковский, на этом Савинков. И говорили они совершенно противоположное тому, что говорите вы.

— Как? закричал Дм. С. Совершенно противоположное? Значит, Комитет был с ними не согласен?

Но Комитет, оказывается был согласен и с ними, как с нами, хотя мы и говорим «противоположное». Не угодно ли понять?

С нашими лекциями мы не торопились. Хотелось сначала присмотреться, уяснить себе расположение шашек.

Отношение к русским, — не к нам лично, а вообще — было, действительно, неважное. Это впрочем, естественно. Не говоря о прошлом, и здешние русские сами были неважные. Да и вели себя из рук вон плохо. О Кутепове оригинальном «представителе», я уж говорила. Польское правительство смотрело на него крайне недоброжелательно, едва его терпело. Он ровно ничего не делал, да был и бессилен.

Имя Дмитрия Серг-ча, кроме всяких интервьюеров, корреспондентов и т. д., скоро привлекло к нам польскую аристократию, всяких контов и контесс,— а также послов и посланниц. Помогали и обрусевшие поляки (сделавшиеся теперь самыми польскими поляками). Милейшее дитя, москвич Оссовецкий (при том ясновидящий) enfant terrible и знающий всю Варшаву, — очень был хорош. Надо сказать, что почин «Русско-Польского О-ва» принадлежит ему.

Положенье было такое, что граф Тышкевич, например, в первые свиданья с нами, не говорил иначе, как по французски; и Дм. С. долго обсуждал с ним,

не читать ли ему свою лекцию о Мицкевиче на французском языке. Этот-же Тышкевич, председатель Русск. Польского О-ва, со смехом вспоминал последнее время сомнения Д. С-ча. Говорит по русски, как русский.

Лекция и была прочитана по русски. Имела громадный успех. Присутствовал весь цвет польского общества, с контессами и — с военными кругами. (Лекции и Д. С-ча, и наши общие были на «Корове», в белой зале Гигиенического О-ва).

Отмечаю, что в Польше нет единства. Аристократические круги, естественно, более правые. Очень сильна партия низов, так называемая П. П. С. Она не правительственная, но полу-правительственная, ибо из ее истоков — Пилсудский. Казалось, однако, что умный молчальник стал от нее уже освобождаться, опираясь на военные круги, на армию, где имел громадное личное обаяние.

Влюбленный в него (издали) Юзик Чапский старался соединить нас с его кругами. Привел к нам Струка, очень приятного, тихого, — но, кажется, хитрого, — польского писателя, друга Пилсудского. Но из двухчасовой беседы с ним нельзя было вынести ничего определенного.

В Польше ощущенье ненадежности, нестроения, раззорения; и все таки есть известная степень устойчивости: надо вспомнить, что перенесла она во время войны, как недавно существует, — да еще в соседстве с большевиками. А они на пропаганду не скупятся.

Но Д. Серг. сказал, после одной беседы с очень умным поляком, что Польша может погибнуть, если: не победит свою вековую ненависть ко в с я к о й России, без разбора, и будет послушным орудием в руках западных держав, которые ее создали, правда, но довольно как-то глупо, и не в ее-же интересах! И мало ли что могут они ей приказат! Но поляки не дальновидны.

А что нас касается — близость большевиков

физически нами ощущалась. Например, непрерывные, иногда совсем неожиданные, забастовки. Раз мы вышли, чтобы итти к Лесневскому (русский поляк, женатый на русской, милый, но неврастеник), была электрическая забастовка, и темная, кишащая темным народом улица производила такое «напоминающее» впечатление, что Дима Ф. внезапно повернул назад: «не могу!» И вернулся бы, если б не уговоры Чапского, да и я чуть не насильно повлекла его вперед.

Когда мы возвращались — огни уже пылали. И странно был освещен внутри — пустой, бескрестный Собор на площади: забыли погасить, и он, запертый, сам зажегся, когда кончилась забастовка.

Хотя ни у кого из нас не было «своего угла» и мы по настоящему редко «виделись», — я не могу сказать, что в это время мы трое не были вместе. Д. Ф. не ходил с нами к послам и контессам, больше был с русскими, но польско-большевицкая линия у нас была общая, и какие-нибудь свиданья более важные происходили в присутствии всех троих.

Бывали мы у профессора Ашкинази, еврея — ассимилятора, близкого к правит. кругам. Надо учитывать силу польского антисемитизма, Ашкинази же и в аристократии — и в народе. Левое правительство, близкое к П. П. С.-а (а в этой соц. партии не мало Перлов и Диамантов, газета же их «Robotnik» то и дело впадает в большевизм), правительство это — единая защита евреев.

У Ашкинази мы видели и директоров театра — и министра Патека, и писателей — и генералов. Сам Ашкинази — его не разберешь, хитрый, должно быть, — защищал нашу позицию, как будто. Яростно против мира Польши с большевиками.

(Между прочим у него оказалось (?) наше письмо Керенскому, после Корниловской истории, где мы убеждаем его «скорее отказаться от престола». Это письмо, моим почерком написанное, запечатан-

ное моей печатью, кто-то привез Ашкинази после разгрома Зимнего Дворца. Кто — он не сказал).

Упорно работая в польских кругах против мира с большевиками, долбя все по тому же месту, — мы ждалиСавинкова. Писали ему. По ответам выходило, будто он все понимает, как мы, но что-то приехать сюда ему мешает. В это время ликвидировался Деникин, что на нас мало производило впечатления: с лета 19-го года, еще в Совдепии, мы видели его гибель. Нужно было другое, совсем другое. И сейчас — отсюда, из Польши.

Каждый день Дм. С-чу носили какие-нибудь карточки, кто-нибудь просил свиданья. Раз слуга из гостинницы сказал, что нас просит о свиданьи генерал Балахович. Проездом остановился в Краковской, хочет дать нам какие-то «документы». Дм. Серг. сомневается, Д. Ф., сочувственник движения «белого», отмахивается от этого «кажется разбойника», но я, вспомнив всякие слухи, проклятия большевиков, Юденича, Псков, все непонятное, темное, — с интеросом настаиваю на Балаховиче.

В сумерки он является.

Мы были сначала все трое. Через час Д. Ф. ушел, а Дм. С. то уходил, то опять приходил, утомленный. Я сидела все время, часа четыре, если не больше.

Небольшой, молодой, черненький, щупленький и очень нервный. Говорит все время. Вскакивает, опять садится.

— Я, ведь, генерал. Я зеленый генерал. Скажут авантюрист? Но борьба с большевиками — по существу авантюра. У меня свои способы...

И его способы, чем дальше он говорил, казались мне недурными, пожалуй и действительными, ибо тоже большевицкими.

— Только мой один отряд Эстония выпустила вооруженным. Мои люди отказались разоружаться. В апреле я с ними опять иду на большевиков. Мне все равно, хоть один — но на них. Поляки возьмут

меня. Отряд уже в Брест-Литовске, я увижусь с Пилсудским и еду тотчас в отряд. Потом опять вернусь. Я белорус, католик, но я сражался за Россию, и я буду делать русское дело...

Да, он может быть нужным, хоть и может оказаться страшным, если на него положиться и оставить его распоряжаться. Он — орудие, он — может, хорошо приспособленный к большевизму, к большевицким лбам, но какая крепкая рука может держать этот молот, где она?

Балахович — интуит, дикарь и своевольник. Ненависть к большевикам — это у него пламенная страсть. Но при том он хитер, самоуверен и самолюбив. Совсем не «умен», но в нем искорки какой-то угадки. Он, конечно, разбойник и убийца, но теперь, по времени, после этих лет сплошной крови, не страшнее ли, не грешнее ли Сережа Попов, смиренно-нежный толстовец?

Во всяком случе, Балахович — генерал с «изюминкой».

Долго и путанно рассказывал, как он арестовывал Юденича. Понять в этом истерическом рассказе — я ничего не поняла или мало, но сознаюсь, что была на стороне Балаховича, а не Юденича.

До мая мы прочли две общие лекции, и две прочел Д. С-ч, не считая сообщений в частных кружках. Все лекции — битком, а настроение очень хорошее. Дима читал наиболее вяло. Он тянулся к русским. И вскоре был выбран председателем Русского Комитета. Это мне не очень нравилось, что я ему и сказала раз — мы ехали вдвоем, в теплый солнечный день, в кружок «мессианистов». Но Дима уверял меня, что это дело его не свяжет, что это работа попутная, и ничего бояться, что он «засосется в русском болоте», в мелочи уйдет, как я его предостерегала. Все мол, это лишь «пока», хорошо, посмотрим. А месианисты... тут много своеобразно-любопытного, но мне некогда останавливаться.

Знакомство с Булановым и Гершельманом... Из русских — единственные, с которыми мы сразу почувствовали схождение и возможность будущей работы.

Мысль о собственной газете уже возникла. Единственная русская газета в Варшаве была «Варшавское Слово». Мы уже в Минске знали, что ее называют «поганкой». Заведывал ею какой-то еврей Горвиц, газета большевичничала во всю, личность Горвица была крайне темная. Мы не могли понять, как ее не пристукнут. Но Горвиц услужил и правой партии, — «страже крессовой», ею был даже субсидируем*).

Горвиц однажды вполз таки к нам в комнату (достаточно взглянуть на него!), начал было ругать Савинкова, а когда мы обошлись с ним как нельзя холоднее, принялся в газете ругать и нас, с некоторой, впрочем, опаской.

Толки о нашей газете с поляками, потом у Оссовецкого... Тут и было зарожденье польско-русского О-ва.

Вендзягольский (адъютант Пилсудского) вернулся из Парижа, привез особое письмо мне (нам) от Савинкова. Писал, что «вполне с нами». Что когда был в Варшаве, то согласился с Пилсудским... (Подчеркнуто, но какого рода было соглашенье не сказано). Далее, что Чайковский поехал к Деникину, и до его возвращения и его информации «ехать в Варшаву нет смысла».

Дм. Серг. удивленно рассердился: какой еще Деникин! Да, тут же, через Вендзягольского же, получили мы и прочли отчаянную информацию с юга Чайковского. Деникин кончался. Чего ждал Савинков?

Наступила, между тем, жара. В нашей грохочущей и вонючей комнате в Краковской, из которой

---

*) Только через несколько лет Горвиц был разоблачен как платный московский агент, и даже судим.

выбраться мы потеряли надежду, становилось жить довольно нестерпимо. На измученные лица Дм. С-ча и Димы жалко было смотреть. Милый Юзя Чапский стал умолять нас поехать отдохнуть в именье Пшеволоцких, его зятя и старшей сестры, — в «Морды». (Семья Чапского, его сестры — это особая прелесть).

Я, конечно, очень хотела увезти обоих, и Д. С-ча, и Диму. Но Дима нервничал и все мрачнел. Чувствовалось, что держится сутолокой, мелкими делами, работой (положим и я тоже) — и что он не поедет. Раз Чапский по детски восторженно описывал, как хорошо в «Мордах», как теперь там цветут сирени... Д. Ф. вдруг вспылив закричал:

— Не могу я, не нужны мне эти графские сирени!

И я поняла, что его нужно оставить.

Все эти две недели в «Мордах» — действительно: сирень, сирень кругом, и днем и ночью пенье соловьев в сиренях. Милая, нежная, сама как сиреневая ветка Рузя Чапская, младшая сестра. Красивая Карла в предчувствии материнства. Помещичий быт польских аристократов.

Но как я понимаю Диму! Разве можно отдыхать, разве можно — нам — «отдохнуть?»

Единственно, что меня поддерживало, — усиленная работа над нашей запроданной книгой о большевизме. В «Мордах» я свое почти кончила. (Совсем кончила в Данциге).

Долго сидеть в «Мордах» не приходилось, уже потому, что готовилось торжественное событие — первый ребенок Карлы. Да мы и так уже назначили день отъезда, ибо Дима писал, что в Варшаву приехал Родичев (умеренный думец, раньше мы его не знали) и затем какой то посланец от Савинкова из Парижа, Деренталь, который должен переговорить с Пилсудским и дать знать Савинкову, когда приехать. Об этом Дерентале мы раньше и не слыхивали. Д. Ф. писал, что это «человек довольно серый».

Ясно, из каких-нибудь Савинковских «поклон-

ников», вроде совершенно идиотического Флегонта Клепикова. Савинков, увы, таких любит, ему все равно кем помыкать... Вот его беда...

С газетой — пишет Д. Ф., — дело на мертвой точке. Две разные группы ее хотят, и не могут сговориться. Горвиц лез и к Диме, держал себя с последним унижением. Конечно и Дима отверг эту «гадину».

Дима звал нас вернуться. Нанял нам две комнаты у евреев, себе — где-то далеко, у немки, Володя должен оставаться один в Краковской. Окончательно мы разделились.

За три дня до нашего отъезда, когда в доме не было ни мужа Карлы, ни Рузи (младшей сестры) — они уехали в Варшаву — Карла внезапно взяла да и родила!

Утром старый слуга нам объявил: родилась девочка. Даже доктор не успел приехать, даже акушерка из Седлеца!

Конечно телефоны, телеграммы, к вечеру прилетел Генрих (муж) с Рузей, скоро и Марыня (средняя сестра), другие родственники... Мы чувствовали себя не у места. К счастью день отъезда скоро пришел, и мы, простившись с хозяевами и с младенцем (его сняли на руках у Дмитрия, который при этом застыл в неловкой позе) — уехали в Варшаву.

Дима нас встретил на нашей новой квартире, на Крулевской 29а, против Саксонского Сада, у евреев Френкелей. Отсюда начинается наша новая варшавская фаза и, кажется, самая важная.

Я — в большой комнате, на улицу, на противоположной стороне густые, душистые купы деревьев Саксонского Сада. (На улице, к сожалению, опять скрежещущий трамвай). Но высоко — ужасная лестница! — а потому не так шумно. Комната — бывшая гостинная бывше-богатых евреев. Ломберный стол

посередине, где еврейская горничная, рыжая Маня, вечером дает нам простоквашу и вареники, а днем я разливаю чай из толстого чайника и умоляю гостей не облакачиваться на стол. (Оссовецкий, в конце-концов, таки свалил все и разбил чайник).

В углу маленькая проваленная кроватка с красной периной, — я ее утром убираю, закрываю ковром, его дала мне дочка, миленькая Мальвина.

Дмитрий — в небольшой комнатке напротив, через переднюю; у него такая же кровать (обе с клопами), оттоманка и... письменный стол. Но темновато, а у меня солнце целый день.

И целый день — люди, люди... Но уже не тот беспорядочный навал случайных, — разных дам, интервьюеров и т. д., как бывало в Краковской: люди начинали группироваться, «повторяться». Буланов, Гершельман (Дима их тоже приспособил к Русскому Комитету) — Родичев, который непреодолимо мил, добр, честен, но глуховат и несколько «сел на ноги», по выраженью Димы. Полонофил, но все же «ка-де», и еще приехавший из оглупевшей Европы. С ним мы все подолгу вели серьезные беседы.

Деренталь? Стертый блондинчик, какой-то «безвидный», он жил бездейственно, дожидаясь возвращенья Пилсудского с фронта (а он вернулся только 2 дня тому назад).

Стало выясняться, что Деренталь, действительно, один из савинковских «пешек», но появившийся в последний период. Сам по себе — он, кажется, что-то пишет, или писал, в русские газеты (прежде) из Испании.

О других его связях с Сав. узналось потом, а пока — он рассказал, что сопровождал его со своей женой по Совдепии весь предпоследний год. Сав. был сначала в Москве, потом проделал ярославское восстанье, потом, в именьи адмирала Одинца чуть не умер от холеры; жена Деренталя («типичная парижанка», по его выраженью) ухаживала за ним; затем они очутились в Сибири; наконец оттуда отпра-

вились вместе морем в Париж, обогнув пол-земного шара.

Деренталь уверяет нас:

— О, вы теперь не узнаете Бориса Викторовича. Он сделался таким дипломатом! Так со всеми любезен. Нет следа его прежней резкости.

Нам хотелось верить. Мы помнили С-ва — одиночку, со слишком явным «сампрандерством», которое всех от него отталкивало, — хорошо, если он сумел приобрести нужную сейчас гибкость.

Однако, мы напрасно пытались узнать, более определенно, кто же за ним, с ним теперь? Оказывалось, что как будто никого. Чайковский? Да, может быть, отчасти. А еще? Неизвестно.

Относительно зимнего приезда С-ва в Польшу и теперешних полномочий Деренталя — не скоро мы все это уразумели, благодаря привычно-конспиративным приемам Деренталя. В конце-концов, оказалось, что у С-ва был письменный проэкт соглашения с Пилсудским, очень выгодный, с пунктом, что Польша обязуется содействовать свержению большевиков «в течение 20-го года».

Если С-в, при этом, и не терял контакта с Пилсудским (как утверждал Деренталь) — чего же он до сих пор не ехал?

Правда, как раз за это время произошла история с Украиной, неожиданное соглашение Пил-го с Петлюрой и взятие поляками Киева. И пока был успех — шипели мало, а чуть дела на юге зашатались — поднялся и в самой Польше гвалт против «украинской авантюры». Я уж не говорю о криках нашей несчастной русской эмиграции против Польши... Но об этом после.

Родичев, и тот вдруг вскипал, начинал тыкать пальцем: ... «а сог-глашение... с этим рразбойником... с-с П-петлюрой... этто што?...»

Через Гершельмана и его друга, графа Пшездецкого, начались хлопоты устройства для Деренталя аудиенции у chef d'Etat. Деренталя было не по-

нят. Уверял, что на его ответственности лежит решить, стоит ли С-ву приезжать, или нет. Решит он лишь после свиданья с П. Даром не будет вызывать. От С-ва шли ему нетерпеливые и довольно странные депеши. (Всегда подписанные «Aimée Derenthal», женой Деренталя).

Наконец, аудиенция была назначена, и даже в один и тот же день, как и Родичеву (в другой час, конечно).

Родичев был с нами в прекрасных отношениях, мы виделись каждый день и уж, конечно, всячески старались его держать на нашей стезе. Он лишь изредка бурлил и порывался к своим «ка-дэ». Помогала его любовь к Польше, а, главное, то, что Родичев сам по себе удивительно ясный и прекрасный человек. К Савинкову относился он и хорошо (а ведь «умеренный»! и большевиков не испытал путем! Да еще из Парижа приехал!) Лишь порою, ни с того, ни с сего, вдруг начинал доказывать, что у С-ва «ничего не выйдет... потому что он... убийца!»

— Вышло же у Пилсудского, возражает Дм. С., а ведь он то же, что С-в, из такой же боевой организации.

Тогда Родичев начинал доказывать, что Пилсудский это свое «убивничество» преодолел, переступил, а С. — нет («Я читал его романы!») и что это лично делает ему честь, но что действия его, С-ва, обречены на неудачу. И прибавлял, смутно, что и Пилсудский — еще неизвестно, м. б. тоже провалится.

Эти родичевские выводы меня, по крайней мере, как то тревожили. И особенно, при сравнении С-ва с П-ким, то, что было так видно: этого обожают целые косяки людей, он, говоря по мещански, «популярен» и в армии. С-в же — потрясающий «личник», точно специализировался по не популярности. Глубок, может быть, но как дыра, проткнутая длинной палкой. Глубок — но узок, темен... Других людей он видит лишь тогда, когда они ему поют ди-

фирамбы... Пожалуй, и тогда не «видит», а только их замечает. Впрочем, Деренталь говорит, что он изменился.

Старика Родичева в Бельведер шапронировал какой-то расторопный малый из Русск. Комитета. К четырем часам.

Свиданье это не могло иметь никакого особого значения и никаких реальных последствий. Да и не стремилось к ним. Просто акт вежливости с обеих сторон, со стороны Родичева — «желанье взглянуть в глаза». Ну да и так, вообще, на всякий случай. Родичев уже имел против П. особый зуб, — Петлюру, Украйну. Уж нет-нет — и зажигался, (минутно, правда) тем огнем лже-патриотизма, негодованья, который разгорался уже среди русского эмигрантства в Париже и в Лондоне.

Ведь ей Богу, — и это стоит отметить, — все оно, вплоть до невинно-безалаберного Бурцева, левое и правое, принялось кричать вместе с большевиками о патриотическом подъеме в Совдепии, в красной армии, против «гнусной Польши», отнимающей у «России» Украйну, объявляющей ее «самостийность».

Орало без различия партий. В глупостях, безумно-фатальных (как «невмешательство в дела»... большевиков, хранящих, мол, «единую-неделимую» и проч.) русское эмигрантство всегда единодушно.

Под вечер пришел Родичев к нам обстоятельно рассказал об аудиенции. Усталый, он как-то размягчился. «Сказал ему прямо, что об Украйне буду молчать». А в общем — доволен. П., очевидно, был с ним мил, осторожно-умен. Спрашиваю о впечатлении от личности.

— Я скажу... да, я скажу, что у него — честные глаза... На другой день явился Деренталь. Были только мы трое и он.

Явился довольный. Говорят, что послал Савинкову благоприятную телеграмму. Путем от Дерента-

ля ничего не узнаешь, но выходило, будто Пилсудский хочет приезда Савинкова. Хочет, однако, чтобы он приехал — один.

Да с кем Савинкову и приехать? полной ясности у нас не было, но выходило все-таки, будто за ним и у него — никого нет.

Это плохо. Перед самым свиданьем Деренталя, от С-ва опять были противоречивые вести: то «не приеду», то «все изменилось, приеду, и sans papa» (Чайковского).

Мы стали ждать. И с большими надеждами. Даже Д. Ф. (сравнительно) весел.

В день приезда Савинкова мы его ждали с утра, у нас, все втроем. Но поезд опоздал, и в 2 часа мы с. Д. С. пошли обедать в наш ресторан, как всегда. Д. Ф. тоже ушел (он обедал в другом месте). Скоро все вернулись. Кто-то из Френкелей, наших хозяев, сказал, что у нас был гость, «кажется, министр», вернется в 5. На карточке Савинкова стояло: «Ancien ministre de la guerre de Russie» и внизу: зайду около 5-ти.

В половине пятого — пришел. Мы с ним все расцеловались.

Мне сразу показалось, что он — неуловимо изменился. Чем? Невозможно определить, но временами я его не узнавала. (Говорю, конечно, только о физике). Между тем, перед свиданьем в Петербурге мы его дольше не видали, и перемены в нем не было, теперь же перемену заметил и Д. С., как потом сказал мне. Постарел? Поплотнел? Полысел? Может быть. Скоро, впрочем, это первое впечатление сгладилось. Столько надо было сказать друг другу! И мы заговорили, пребивая его и самих себя.

Первые дни по приезде Савинкова, случилось, что Пилсудский был не в Варшаве, и решительная аудиенция откладывалась. Это не имело значения, т. к. было известно, приблизительно, чего можно конкретно от нее ожидать. И, конечно, торг с П.

имел свои трудные, даже унизительные, стороны. По крайней мере, так смотрел на него Савинков. Он волновался и мучился. Избегал встречаться даже с лицами официальными, больше сидел у себя в гостинице, и вечно звал меня туда, то чай пить, то даже обедать, и вел со мной длинные разговоры. Я ему никогда не льстила, даже малейших комплиментов избегала, однако, он, м. б. в благодарность за помощь в литературе, ко мне весьма благоволил. Да я, главным образом, и писала ему всегда, а теперь он чувствовал, после корниловской истории, что я на него-то и надеюсь и обоих, Д. С-ча и Д. Ф-ва, в этой надежде поощряю. Кроме того, чем-нибудь в себе похвастаться ему всегда хотелось.

Тут он раз открыл передо мной маленький чемоданчик и вытащил оттуда какие-то длинные цветные ленты, красные, кажется.

— Это мои масонские отличия, сказал он не без гордости. Вы знаете меня даже в гроб клали...

В эту минуту, слабо постучавшись, вошел Деренталь, за какой-то справкой. Савинков, не выпуская лент из рук, наскоро ему ответил, а когда Деренталь исчез, проговорил равнодушно:

— Ах, ведь я не имею права никому этого показывать. А Деренталь видел...

Я подумала, что вряд ли это секрет от Деренталя, который и сам, м. б., масон, но промолчала, только спросила, откуда у него взялся Деренталь. И тут узнала любопытную историю: некий старый русский еврей, давно живущий в Париже, писавший в «Русском Слове» до революции кореспонденции, под псевдонимом «Брут», дружил с Савинковым, который часто бывал у них в семье. Перед войной этот самый Брут вдруг взял да и написал в русскую полицию на Савинкова донос. Это могло иметь неприятные результаты. С. часто бывал нелегально в России. К счастью дело во время узналось, Брут был обличен. — И я — ему простил! торжественно сказал мне Савинков. С тех пор и он, и все они — са-

мые преданные мне люди. Могу во всех случаях рассчитывать на них и полагаться, как на самого себя. Дочь Брута — жена Деренталя. Вы, ведь, слышали о нашем путешествии по России и в Европу через Индийский океан? — Кстати, прибавил он вдруг, Деренталь спрашивал меня, не может ли он выписать жену сюда. Я ему сказал, что это его личное дело, но потом подумал, что если обстоятельства сложатся благоприятно, и начнется работа, — жена Д-ля может быть полезной: она прекрасно знает языки, типичная парижанка, все время работала в нашем Union... Надо только подождать, когда дела выяснятся.

И разговор перешел на дела.

Историю Деренталя, его тестя и великодушного «прощения» Савинкова, для приобретенья преданного семейства, я рассказала Дм. С-чу и Дм. Ф-ву. Последний не обратил на нее вниманья, а Дм. С-чу она так же не понравилась, как и мне, хотя ответить, чем именно, — мы не могли.

К нам на Крулевскую Сав-в приходил, но чаще тогда, когда никого не было. Говорили о Пилсудском. Д. С. все спрашивал, что он может понять? Мы знали, что тут очень важен человек, его широта и сила. Он может сделать так (понимая), что станет возможна общая удача, и зависимое положение С-ва не будет тяжело. Но может и внутренно «провалиться», понять вполовину, внешне, хитро и грубо, и это уж будет худо, и чревато всякими, близкими и далекими, последствиями.

Вот провалится или не провалится Пилсудский — мы всего больше и рассуждали.

Не знаю, как-то чувствовалось, что приезд С-ва в Польшу — окончательный, что в Париже, да и везде — у него сожжены корабли (если были). Кто за ним был? Как будто и никого. Впрочем, в то время нам это было все равно. С-в говорил о двух генералах, одного ждал на днях — Глазенапа.

Наконец, день аудиенции наступил. Савинков

приехал к нам прямо из Бельведера. Мы были одни, только втроем. Первое слово его было: «по моему, он провалился».

То-есть — внутренно. А извне — все было как бы прекрасно: решено формированье русского отряда на польские средства. Но не официально объявленное, а под прикрытием «эвакуационного Комитета». Председатель — Савинков.

— Вам, сказал Савинков, обращаясь к Д. Ф.,— я предлагаю быть моим ближайшим помощником и заместителем, товарищем председателя этого Комитета.

— Не смею отказываться, отвечал ему Дм. В. Философов.

Как ни были мы в этот миг одинаково все взволнованы и все месте, мне почему-то показалось и мгновенье, и Димин, такой серьезный, ответ — чертой, отделяющей... что от чего? Кого от кого?

С этого дня все завертелось. Пристегнули Буланова, Гершельмана, других. Предполагался отдел пропаганды, в котором я должна была принять участие. Тут же, сразу, стала образовываться и газета. Дима Ф. вызвал из Минска этого хама — Гзовского. Родичев подходил несколько сбоку, но тоже подходил.

Глазенапа С-в тотчас привел к нам с Д. С. Бледный, одутловатый, с гладкими черными волосами. Одутловатость у него какая-то самодовольная. Савинков его точно совсем не понимал (он вообще не видит людей) и беспокоился. Мы поняли только одно, что он Савинкова, в сущности, терпеть не может. Но другого генерала не было.

Тут я выпишу две страницы современной записи, — дневника, который я начала, в этой же книге, но продолжать не могла, слишком много было срочной работы. Скажу сначала, что Дм. Серг. понимал, чего не хватало при всем данном положеньи, о чем не подумал Савинков, говоря с Пилсудским, и решил сам Пилсудского повидать. Запись моя, при всей

краткости, поясняет, в чем дело. Вот она, без изменений:

Варшава, 1920 г.

24 июня, Четверг.

Завтра Д. С. едет в Бельведер. Если даже свиданье это будет пятиминутным, Д. С. успеет сказать то, что нужно. А это, действительно, самое нужное. Русские войска рядом с польскими... Поляки с удовольствием сражались и будут сражаться против русских (Россия — враг), а как это они посмотрят на русских рядом, на отряды, сформированные втайне? С другой стороны, и русские, командующий состав в особенности, (своего рода «патриоты», для которых Польша — тоже враг, желающий завоевать, отнять что-то у России), как это и они пойдут с поляками рядом — против своих? Тут какое-то недоразумение, или недо-объяснение, недоговоренность. Неужели Савинков (и Дима?) этого не понимают. С. был сегодня. Говорит, что окунулся в работу. Что хотел бы растроиться. Как дело началось, нет людей.

Тайный(?) комитет, прикрывающий формирование русской армии в Брест-Литовске, заседал вчера. Председательствовал Дима. К делу прикомандированы три польских офицера. Я пишу между двумя навалами людей. Чувствую, что надо писать дневник, слишком интересно и важно то, что я вижу, в чем участвую, но... нужны для этого не мои силы.

При возможности вернусь к прошлому, а сейчас дай Бог и теперешнее отметить.

Сегодня составился, наконец, кабинет и, к удивленью, центро-правый, а не центро-левый. Будет, кажется, соглашенье с забастовщиками.

Наше дело поляки очень торопят. Слухи, что у них на севере опять плохо. А сегодняшние газеты Врангеля могут привести в транс. Конечно, он провалится.

Сейчас (вечер) придут Родичев, Петражицкий, ну и наши остальные. Поэтому кончаю.

3 июля, Суббота.

Пилсудского Дм. С. видел, сидел у него час двадцать минут, и то сам ушел. Результаты интересные.

Дм. С. даже увлекся им, пишет восторженную статью: «Иосиф Пилсудский», которая тотчас выйдет брошюрой и будет везде распространена.

6 июля, Вторник.

Я и нового всего записать не могу, не то что к старому возвращаться. Вот главное, самое важное: вчера, 5 июля, появился, наконец, знаменитый приказ Пилсудского по армии:

«Сражаясь за свободу свою и чужую, мы ныне сражаемся не с русским народом, а с порядком, который, признав законом террор, уничтожил все свободы и довел свою страну до голода и раззоренья». (Приказ Верховного Главнокомандующего).

И далее — «Воззванье Совета Государственной Обороны»:

«Не русский народ тот враг, который бросает все новые силы в бой, — этот враг большевизм, наложивший на русский народ иго новой, страшной тирании. Он хочет теперь и нашей земле навязать свою власть крови и мрака».

5 июля 1920 г. в Польше.

10 июля, Суббота.

Вот как я могу писать здесь дневник! А сегодня появилось наше (ответное приказу Главнокомандующего) «Воззванье к русским людям». Оно длинно, я

здесь его не выписываю*). Главное сделано. Молодец Пилсудский! Без объявленья такого «приказа» ни одно иностранное государство не может вступать в борьбу с большевиками — рядом с русскими войсками. Хорошо, что Д. С. видел Пилсудского.

Газета у нас будет. Д. Ф. — весь в работе с Сав., мы его почти не видим, переселился тоже в Брюловскую гостиницу. Формированье русской армии хотя еще не официально, но тайны нет, все знают.

Порученный мне отдел пропаганды пока не организован: нет газеты, нет и помещенья. Володя и Лесневский должны быть моими помощниками.

Я чувствую, — там только могилы, но все равно, тем более... Боже, нет слов.

Дальше, в тетради «дневника» только несколько строк в Данциге (перед октябрьской записью в Варшаве, того же года, когда я возвращаюсь к рассказу о нашей польской эпопее).

Данциг, 11 августа, Среда.

Мы уехали из Варшавы 31 июля, в пятницу, в тот холодный, ненастный вечер, когда несчастные поляки отправили свою несчастную делегацию к Барановичам — молить издевающихся большевиков о перемирии. Не вымолили. Что происходит? Очень странное, во всяком случае. Не только мы — никто ничего не понимает. Не странное с Европой, с Англией; у Ллойд Джорджа давно отнято всякое человеческое понимание; но странное с большевиками: казалось, что они побоятся зарыва, примут и перемирие, и мир; ведь Англия накануне их полного признания. Они же изворачиваются, тянут, крутят... Хотят, м. б., взять Варшаву, соединиться, пока что, с немцами? Все-таки думаю, что дадут зацепочку Л.

*) Текст у меня так и не сохранился (примечание позднейшее).

Джорджу для признанья: ему так мало нужно! А сами большевики... нужны.

Возвращаюсь к рассказу, к началу июля в Варшаве. Собственно, в июле все и разыгралось, и было началом конца.

Первый результат работы Савинкова, вот этой военной, в совместности с Д. Фил-м, было то, что Дм. С. и я почти совершенно перестали с ними видаться. Если бы Д. Ф. на такую работу не перешел, а стал бы действовать с нами, с Д. С. и со мной, т. е. если бы мы втроем занялись газетой и пропагандой (что Д. Ф-ву и свойственнее было, нежели формированье армии, споры с генералами и т. п.), это было бы другое дело. К несчастью, у Сав. не было ни одного человека, на которого он мог бы опереться, он и схватился за Диму. А при спешности этой сложной и чисто военной работы, нам с Д. С. совершенно чуждой и неизвестной, — мы двое и оказались сразу как бы в пустоте. Возражать — на что? Савинкову и Диме дохнуть некогда: они и с польскими властями, они и офицеров принимают, и с Глазенапом заседают, — когда еще ехать к нам и зачем, — докладывать что ли? Предполагалось, что я сама по себе, одна, устрою какой-то «отдел пропаганды», с Володей, ввиде моего личного секретаря.

Я, впрочем, готова была на все, но решительно не могла ступить. Да и не куда было ступить. С Д. Ф. и Сав-м не было никакого контакта. Д. Ф. приходил иногда, измученный, раздраженный, и знать ничего не хотел. А когда началась газета — стало и того хуже: никакой свободы в этой «Свободе» мне не дали. Выписанный из Минска Гзовский сразу начал хамить, пошла чепуха, неизвестно, кто был хозяином, из-за каждой мелочи надо было обращаться к Савинкову, да еще через Гзовского. Являлся Дима (дремать на моем диване) — и опять ничего не разберешь, какая «коллегия» распоряжается в газете. Гзовский ни с кем, кроме Савинкова, разговаривать

не желает, от меня только требовал «материала», иначе грозил свое (свою дрянь) вставлять.

Дм. С., конечно, ничего в газету не давал. Все это было глупо. Пусть у меня мало организаторских способностей, но что я могла «организовать», когда у меня, при отсутствии помощи, не было и полномочий, никакого маленького своего дела, со своим хозяйством и собственной ответственностью? Ведь и статьи газетные, которые я писала «в хвост и гриву», (даже за обедом), чтобы Гзовский туда своего не натыкал, и то, когда вечером я приезжала в редакцию править корректуру, оказывались с исправлением «резкостей». Точно я не знаю, как, что, когда писать!...

Но все развивалось последовательно. Внешнее у меня отсечено: после свиданья Дм. С-ча с Пилсудским — Объявление (официальное), что Польша воюет не с Россией, а только с большевиками. Наше воззвание (втроем) к русской эмиграции и русским людям, объясняющее войну Польши. Снятие, таким образом, крышки «эвакуационного Комитета» с формирования русской армии. Начало газеты «Свобода». Тут вдруг телефон Балаховича — ко мне: он хочет присоединить свой отряд к русской армии, — как это сделать? Я, помня отрицательное отношение Димы к этому «зеленому» генералу в первое наше свиданье, отвечаю уклончиво, хотя причины его отвергать не вижу. Через день, кажется, или два, увидав Диму, сообщаю ему о звонке Балаховича и его желаньи, с замечаньем, что это, конечно, их дело, но что я не вижу, собственно, основания не присоединить его отряд... Я не успела договорить, как Д. Ф. меня перебил, не без раздражения (он иначе теперь не говорил), сказав, что дело уже сделано, что Балахович ими принят вместе с его отрядом. Ну, тем лучше, что я ни при чем. Внутренно же все развивалось у нас, в течение всего июля месяца, следующим образом: как уж сказано — работа С-ва, в которую плотным образом и сразу был вовлечен Д. Ф., по своему

чисто военному характеру (и конспиративному, — от этого С-в не мог отрешиться) оказывалась такого рода, что я и Дм. С. фактически остались в стороне, не участвуя (естественно) в делах, армии касающихся. Работы же общественной никакой больше не было, все наши варшавские отношения сделались вдруг ни к чему: особой гласности насчет армии — уверял Савинков — Пилсудский не хочет. Видаться с Д. Ф. и с Савинковым мы стали очень редко, да тут начались у нас с последним и тренья.

Начались нелепо. Непонятно. (Или так и должно было быть?)

Он дал знать, что нашел свободный час и мы условились пойти вместе, втроем, обедать. Стояла жара, и мы просто пошли в Саксонский сад, в открытый ресторан.

Невозможно проследить и нельзя передать как, — но разговор принял сразу неприятный оттенок. Могу лишь засвидетельствовать, что ни я, ни Д. С., не были в этом повинны, нас это изумило и даже поразило. Дм. С. самым благодушным образом, в тоне наших старых, близко-дружеских отношений, начал говорить об общем, — о борьбе с большевиками, о ее идее, о смысле работы... может быть, сказал что нибудь о слишком узко-военном характере дела, благодаря чему мы не можем сейчас иметь с ним более тесного контакта. Внезапно тон Савинкова сделался «аррогантным»: он стал говорить, что это «экзамен» ему, а теперь ему не до экзаменов, что он работает во всю, а когда он работает, — он не привык отвечать на чужие сомненья, и держать экзамены ему некогда. Мы были так изумлены, что не знали даже, что и отвечать. А он вдруг, ни с того, ни с сего, заговорил о Володе и стал его неистово и грубо ругать, зачем он не пошел к нему записываться в армию. «Ему надо бы мгновенно явиться, умолять меня, а он — что? Он, сукин сын, вишни ест. И не пошелохнулся! Стихи пишет? Да чорт ли в них, когда перед ним прямое дело!»

От неожиданности и непривычки к т а к о м у Савинкову — мы не сумели сразу замолчать, а пытались еще спорить. За годы мы знали другого Савинкова; я его никогда не боялась, но мне подумалось, что тут случайное недоразумение, а что потом он «все поймет».

Удивленный Дм. С. вечером не знал, что и сказать. А на другой день Дима рассказывал: «Борис мне «рыдал в жилет» (т. е. жаловался), вы его экзамену подвергали, и экзамена он, будто, не выдержал».

Странно было и с Димой говорить.

Через несколько дней — еще свиданье, днем, у нас. Глупый какой-то разговор, опять жалобы на «экзамен». Тут уж я рассердилась и заявила:

— Все это вздор. Однако, сколько я ни думаю о вас — Россия для меня первая. И если я хочу верить, что вы будете некто для России, может быть, я имею право смотреть, судить и узнавать вас.

На это он сказал, уже гораздо тиже: «как вы резки» — и только.

Комнатные столкновенья ничего пока не меняли: я продолжала работать и в газете, и делать что возможно в «конторе пропаганды», на Краковской, где жил Володя. Но меня очень глубоко заботил Дм. С-ч. Ни к какой т а к ой работе он не был приспособлен и чувствовал свою растущую бесполезность в данных условиях. Очень поэтому томился на нашем пыльном припеке, — жара стояла неистовая. Так как я хотела оставаться с «ними» (с Д. Ф. и Сав-м) до последней возможности, терпя все и стараясь что-то делать, — то мне с утра приходилось мучиться, придумывать, как успокоить Дмитрия, что ему обещать, чтобы не стремился он куда-нибудь прочь. Утро я возилась с редактированьем рукописей, телеграмм, а днем ехали мы с Дм. С. в Лазенки, чтобы он там немножко подышал. Потом, вечером, я ехала в редакцию (чаще бесполезно). В промежутках писала статьи для «Свободы».

Польские дела делались все серьезнее. Была объявлена еще одна мобилизация. С песнями шли мимо нашего балкона новобранцы, совсем мальчики, но это было и грустно — и радостно: ведь они идут бороться не с Россией: идут «за свою и нашу вольность».

Не могу определить, когда в эту «марсельезу» стал ввиваться (как у Достоевского в «Бесах») — подленький мотивчик «mein lieber Augustin», — мотивчик о перемирии и мире с большевиками. Но если б я понимала всю тогдашнюю польскую ситуацию, их партийную борьбу, — главное подталкиванья Англии,— стоит ли писать? Факт, что мотивчик день ото дня рос и креп. Поляки, наши, кричали, что ничего этого не будет, да ни за что в жизни! И Пилсудский, мол, против мира, да и как можно! Не то было среди крайних правых и крайних левых...

Я забыла сказать, что уже давно приехала в Варшаву и жена Деренталя, та самая Aimée, дочь Брута, о которой Сав. мне рассказывал. Одна из «до гроба преданной ему семьи», как он говорил. Он перешел в Брюл в другое помещение, а свою комнату отдал ей. Сделав нам визит, Aimée пригласила нас к себе чай пить. Было любопытно, как преобразилась комната (где мы с ним «заседали» в первые дни его приезда): розовые капоты, пахнет духами, много цветов. Она — с крупными чертами лица, довольно на грубый вкус, красивая, яркая, кокоточная, сделана для оголения, картавит. Деренталь сообщил Д. Ф-ву: моя жена очень умеет обращаться с Борисом Викторовичем, если что-нибудь — надо к ней... (Мы, конечно, все поняли, было — не трудно).

Кстати: насчет Деренталя я не все понимала, до одного случая. Раз, еще в начале, пришел Деренталь и стал прибедняться: вот, мол, ему теперь в Латвию и в Эстонию, для тамошнего формированья. Б. В. посылает. И непременно завтра. На после-завтра у меня есть билет, но Б. В. требует завтра, и я должен в багажном вагоне...

Вечером я видела Савинкова и между прочим, полушутя, сказала — почему это он так жесток, не позволяет Деренталю лишний день остаться. И — (это было первое мое удивленье) Савинков внезапно осатанел: как!.. Дерენталь смеет рассуждать? Смеет жаловаться?! Да он на буфере поедет, если ему приказывают!! И т. д. Тут я поняла окончательно и бесповоротно, что Дерენталь для Савинкова, — собака.

И что С-ву нужны только собаки. Впрочем, это последнее я поняла немного позже.

Пишу все эти мелочи для характеристики «человека». Громадность драм «людей» не уменьшает важности драмы «человека». (Никто этого не понимает). Кроме того, не всякой собаке можно доверяться: смирна-смирна, а исподтишка вдруг может и хватить.

Савинков заезжал к нам все реже. Обыкновенно с этой самой Aimée (Деренталь уехал гораздо раньше ее приезда). В Брюле жил теперь и Буланов, — он был на должности казначея и хранил польские миллионы у себя под кроватью.

Надо сказать два слова о Врангеле.

Впрочем, что говорить о Врангеле? Мы в него, благодаря доходившим до нас сведениям и его воззваниям, не верили, особенно же печально было то, что он стоял против всякого дела из Польши, смотрел на все здешнее и всех, как на врагов. Ошибался он в поляках, или нет, это была тактическая ошибка. У Врангеля имелось бы куда больше шансов на успех, заключи он — хоть не союз, но хоть в блок войди он с окружными государствами. В тот момент это было фактически возможно, но на это не хватило ни выдержки, ни размаха.

Отношение же С-ва к Врангелю — было какое то непонятное. Да сказать по правде — весь С-в мне все менее становился понятным; не говорю — менее приятным, это могло бы быть личным впечатленьем, — но именно непонятным. В памяти даже всплыло старое туманное пятно, оставшееся после «дела Кор-

нилова». Почему он тогда, после явной борьбы с Керенским за Корнилова (за К. К. С.) после всего, что было на наших глазах, почти в нашей квартире, — вдруг сделался на 3 дня «усмирителем корниловского бунта»? После 3-х дней Керенский его изгнал. Зачем это было, для чего и почему? Что он думал, на что надеялся? Объяснить этого всего он и тогда не мог, но затереть вопрос сумел. Теперь я это непроизвольно вспомнила. Да, работать с ними вместе нельзя, нам с Д. С., по крайней мере. Объективно — я перестаю верить в успех дела именно с Савинковым, благодаря многим его свойствам, ускользавшим из поля моего зрения. Одно из них, наиболее еще безобидное, это что людей он не различает, не видит, кто для чего нужен и нужен ли. Не могу же я вообразить слепого Наполеона! А претензии его безграничны.

И, однако, я решаю, со своей стороны, сделать все, чтобы не отходить до конца, до последней возможности. Во-первых — Дима. Не то, что я бы осталась ради него в глупом деле ненужного человека; но если выяснится именно так — я надеялась, что мы уйдем вместе с ним.

Когда же все стало окончательно невозможным?

Полная (наша с Дм. С.) пустота и безделье. А тут еще событие: большевики полезли в наступленье. Наш, русский, отряд был в полной неготовности и, насколько я понимала, из-за внутренних дрязг, чепухи и общего неуменья. Закулисную сторону я знала немного и видела, что Сав-в — организатор плохенький и сам по себе, а тут еще и личные его претензии людей не собирают, а разъединяют.

Дмитрий С. томился: «знаешь, уедем хоть на 10 дней куда-нибудь, недели через две... Ведь нам буквально нечего делать». Пришел Дима. Дм. С. к нему: «знаешь, недели через две...» Д. Ф. прервал: «не через две недели, а сейчас уезжайте. Тут пошло такое, что лучше уехать пока выяснится. Только из Польши не уезжайте», прибавил он вдруг.

И мы уехали в Данциг. Проезжали этот нелепый (по моему — роковой) «коридор», где поляки держали себя и на станциях, и в поезде, с совершенно ненужной наглостью, как победители, дорвавшиеся до своей добычи. А Данциг, как бы его не перекрещивали, оставался городом немецким, и видно было, что тут уж ничего не поделаешь.

Все время ходили радостные (для немцев) слухи о взятии Варшавы. Они, однако, оказались ложными, большевики были разбиты в 7-ми верстах от Варшавы. Знаменитое «чудо на Висле». После этого самого «чуда» большевики стали сговорчивее, и вскоре перемирие (не без скандалов и всяких издевательст) было подписано в Минске. Почему Польша так настойчиво, почти унизительно, стремилась к миру с большевиками — загадка. И так давно! Натиск обидиотевшей Европы — единственное объясненье. Ллойд-Джордж (чтобы «торговать с каннибалами») и т. д., и т. д.

Так как все «успокоилось», мы решили вернуться в Варшаву, посмотреть... Была ли у меня надежда? На что? Конечно, нет. Буквально ни на что больше, ни даже надежды выцарапать Д. Ф. из ямы. Но я хотела еще и опять добросовестно посмотреть на реальность.

В наше отсутствие, — мы знали от Буланова — Дима ездил в «наши» лагери, к «неготовым» отрядам. Там продолжались безобразия, Глазенап уже исчез, другие, какие были, тоже, появились совсем новые «генералы» (вроде молодого Пермикина). Дима ругался там в тонах Савинкова (где был Савинков — не знаю), а Деренталь жестоко пьянствовал.

Мы, — я, Д. С. и Володя — вернулись в Варшаву в начале сентября. Это наш третий варшавский период, последний и самый несчастный.

Приехали с вокзала прямо на Хмельную, где у Д. Ф. была не то редакция, не то шли какие-то заседанья. Опять, должно быть, тайные, ибо едва мы вошли — Д. Ф. вскочил из-за стола нам навстречу и вывел нас из комнаты.

Мы были бесприютны. Ни Френкелей, ни даже Краковской. С муками устроились в гостинице Виктория, такой невероятно грязной, что написать — сам не поверишь. Темноватая комната, кровати за ширмой. В первом этаже, вместо окна — дверь на балконе, старая, незатворяющаяся. В щелях, и на асфальтовом полу стояла после дождей, лужа, которую вычерпывали. А затем нас однажды ночью через балкон обокрали.

Почти и не стоит описывать эти наши последние полтора месяца в Варшаве. Просто дам краткую суть. Ведь уже все было кончено.

С величайшей строгостью я задала себе вопрос относительно Савинкова. Я не хотела, и перед собой, хотя бы втайне, чего-нибудь не объективного. Я требовала справедливости. Ничто мое пусть не вливается в мой суд. Если в чем-нибудь виновата я, или Дм. С., — не скрою от себя.

Разве трудно поддаться таким чувствам: мы, главные зачинщики всего — оказались не у дел; со мной один момент Сав. вел себя глупо; а главное, главное — он разделил нас с Д. Ф., совершенно взяв его под свое влияние. Значит, мол, С. не хорош... Вот этого я и не хотела.

Вот такого суда над С-ым. Я добивалась самого справедливого взгляда на С-ва, даже не как на человека (это само собой), но на пригодность его в данный момент для дела России.

И я видела, что он ни в данный момент, ни вообще — для дела этого н е п р и г о д е н.

ЭМИГРАЦИЯ

1920 - 1941

Мне особенно трудно писать об этих годах жизни Дм. С-ча и нашей, потому что я как раз в это время никакой последовательной записи не вела, кроме отрывочной, в первые месяцы после нашего приезда в Париж. Но мне помогут работы Дм. С-ча, сохранившиеся оттиски его даже мелких газетных статей, моя память и, наконец, неуклонная прямизна линии, которую вел Д. С. как в своих писаниях, в публичных выступлениях, так и в жизни. Ею, этой линией, определялись наши схождения и расхождения с теми или другими людьми, она же была подчас причиной все растущей тяжести этой нашей изгнаннической жизни.

Польский удар, крушение наших первых надежд, потеря главного помощника и друга, — все это не могло не произвести впечатления на Д. С. Но перенес он неудачу нашу мужественнее, чем я, и с сохранившимися надеждами смотрел вперед. Свое малодушие я не хочу оправдывать, но отчасти оно объяснимо: в Польше я могла принимать участие в общем деле, привыкла к постоянной работе (у меня даже был целый отдел пропаганды) постоянно, изо дня в день, писала в нами основанной газете «Свобода»; во всяком случае, при том ощущении «пламенного долга» для всякого помогать борьбе с большевиками, с каким мы бежали, я все-таки что-то делала. Теперь же, в Париже, деланье целиком ложилось на плечи одного Дм. С-ча. Помимо своих собственных работ, он мог выступать публично, мог писать во французских газетах; есть ли там, и какая, русская пресса, — мы не знали; но «нашей» газеты нет, и я пред-

чувствовала, что мне там просто нечего будет делать, и даже помогать Дм. С-чу я не видела, как могу? К этому прибавлялась вечная мысль об оставшихся в аду моих близких да и тревога за покинувшего нас друга и помощника, Д. Ф., который попал в глупые (это уже я знала) и опасные лапы Савинкова. Надежду Д. С-ча, что друг наш скоро сам рассмотрит С-ва и вернется к нам, я не разделяла; признаюсь, считала ее даже невниманием со стороны Дм. С-ча к характеру и свойствам Д. Ф. Не разделяла и надежд его встретить помощников и серьезных хотя бы сочувственников делу нашему среди русских, новых или старых, эмигрантов. Достаточно слышали мы о новых, а старые... Бунаков с женой уже давно убежали из России, — в Париж, конечно. Но и его теперь мы уже знали достаточно. И его партию (с-ров), ее сегодняшний состав, который он нам определил сам же, — «все такие, как негодяй - Чернов», — и где он был, в лучшем случае, как бы пленником. Мы именно так хотели о нем думать, зная его неумную слабость и мягкость. Он все-таки казался нам человеком... симпатичным, но — какие же можно было возлагать на него надежды!

Он писал нам в Варшаву, что наша старая парижская квартира цела, благодаря заботам о ней прежней нашей горничной. Она служила у нас еще в те годы, когда жили мы на Théophil Gautier, вышла замуж, но, когда мы приезжали потом на нашу pied à terre в Passy, неизменно к нам возвращалась, до последнего раза, весной 14 года. Во время войны я деньги за квартиру еще посылала (квартира, по условию между нами, была моя) — но со дня революции пересылка была невозможна. Бунаков писал, что раз квартира сохранилась, мы должны за нее держаться, ввиду кризиса помещений. Это была, конечно, удача: ведь там оставалось много книг, разные бумаги, записи, письма... Но как все-таки больно и страшно было в нее въезжать теперь, когда все было иное и мы сами — иные, ведь мы эмигранты...

Да и никогда не любила я эту квартиру, предчувственно может быть.

Впрочем, не стоит останавливаться на мелочах, как ни неприятно это ощущение перекошенности окружающего: как бы то — и совсем не то.

Мои мрачные настроения и предвидения я скрывала, конечно, от Дм. С-ча, не желая нарушать бодрость его духа перед новой задачей. Да и было тут, кроме того, много моего личного, меня касающегося. Если я не видела, что буду делать я, — перед ним было много работы. Мне даже хотелось, чтобы Польша стала для него совсем как отрезанный ломоть, чтобы и откликов оттуда к нему не доходило. Это оказалось невозможным ни в первые дни нашего Парижа, ни в первые месяцы (острое время, паденье Врангеля) ни, пожалуй, целый еще год... когда, после перерыва, произошла, в 23-м году, эта отвратительная катастрофа с Савинковым. Меня с Дм. С., а как задела Д. Ф-ва! но к нам его не возвратила. Слишком поздно... О ней я расскажу в свое время. Теперь, чтобы исчерпать первые отклики Польши, приведу несколько кратких моих парижских записей конца 20 г., м. б. 21-22, — я бросила потом записывать что-либо.

Париж, 14 ноября (1920).

Врангель весь провалился. Большевики прорвались в Крым, все хлынуло на пароходы, сам Вр., будто бы, уже в Константинополе. Чего и следовало ожидать. Но вот что любопытно... как трагический фарс: вчера бедная Евг. Ив. (жена Савинкова) приносила два письма от него, будто бы из под Пинска. В обоих самое бодрое настроенье: «... Я уверен, что мы дойдем до Москвы...» «Крестьяне знают, что мы идем за Россию не царскую и барскую...» «В окрестных деревнях 3 тысячи записались добровольцами...» «А «Рангель» (по выговору крестьян) непременно провалится...» — Кроме последнего — ото всего

несет захолустной глупостью. Это Савинков с м-м Деренталь и с разбойником Балаховичем «дойдут до Москвы!» Может, и «дойдут»... или доведут их. Что может быть другое? Не так, и не такой смехотворный отряд дойдет до Москвы. У б-ков армия, пушки... За них — Англия... Франция еще как будто против... но «как будто», да и что она может? Погрязает в абсурдах: признает Врангеля — и поощряет польский мир. Большевики и не скрывали, что мир с Польшей их устраивает, — надо покончить с Врангелем.

Ну, дойдет очередь до Польши! Продала себя — даже не за золото, а за б-цкие и английские золотые обещанья.

Нет, довольно. Пусть теперь соединяется с б-ками Ллойд Джордж, пусть их признают, пусть они расползутся по всей Европе, пусть! Пусть! Они «научать Европу уму-разуму», как только что объявил Троцкий. А под конец проучат они и всех своих союзников самих...

16 ноября.

Всесметающая лавина большевиков под личным командованьем Троцкого (главнокомандующий товарищ Бронштейн) уже в Севастополе. Это лишь первая реализация варшавской дряни (мира) в Риге.

Д. Ф. не пишет ни строки. Ждет вестей от м-м Деренталь и Савинкова из Москвы? Я ему писала, и здесь скажу, что знаю и с чего мы с Д. С. не возвратимся. Наша прямая, почти грубая линия пониманья, которую мы вывезли «оттуда», проста и — непреодолима. Мы знаем, что свергнуть большевиков можно (и даже не трудно) только: 1) вооруженной борьбой серьезной армии с лозунгами новой России (не с лозунгами одних «не», как у Савинкова), 2) при непременном условии участия и опоры на регулярную армию другого самостоятельного воюющего государства.

Вот — и больше ничего. Остальное детали, отсюда вытекающие. Знали мы также, что все данные ю ж н ы е наступления бесплодны. От этого знания и пошла вся наша Польша, и все, все... От этого же знанья мы не сомневались, что б-ки лопнут при первом ударе Польши. Это и случилось в 7 верстах от Варшавы... Так называемое «чудо на Висле». Чему удивляться бы, как «чуду» — это униженным, после того, просьбам Польши мира у большевиков. Одно объясненье: приказ Европы. И Польша не смела ослушаться. Ну, ладно. Время-то идет. Как бы его — для себя — Европа не пропустила...»

25 ноября.

Письмо от Д. Ф. (через Petit), начинающееся так: «Сегодня написал Борису (Сав.) категорически требуя приезда. Мне кажется, ему нужно поехать в Париж, ударить кулаком по столу и взять, наконец, в свои руки несчастный русский флаг...» (!) Вот свидетельство, что Дима (Д. Ф.) абсолютно не понимает степени непопулярности здесь С-ва. Он, если у него кто и был, успел всех от себя оттолкнуть. Недаром я еще в Польше писала: «наверно он приехав уже сжег за собой корабли, даже шлюпки. Никого, боюсь, за ним в Париже нет». А Дима и о сю пору ничего не понимает. Пишет еще, что «положение невероятно трудное. Пилсудского травят... А он — прибавляет Дима — «в мир не верит, но войны вести не может». (Не приказано? думала я). «Нахохлившийся больной орел»; по словам Димы. Не пишет, однако, о том, что мы узнали сегодня: украинцев бьют, а за Балаховича большевики принялись вплотную, остатки его накануне ликвидации. Вот тебе и Москва! Англия — накануне «признания», поэтому, думается, на Польшу с е й ч а с они не полезут.

17 декабря.

На днях приехал сюда посланцем от Савинкова его подручный Дима (Д. Ф.). Как странно мне это писать! Неужели и Дима «оборотень»? Савинкова мы еще могли не сразу понять, он, может, и не оборотень, а всегда был таким... пустым местом (или кова». Не могли же мы не знать человека после 15-ти Дмитрий, как за него боролся, каким всегда видел (и до сих пор, считая его соединение с Сав. временным несчастием!) Значит, он был собой, не тем, каким обернулся, когда «инкрустировался в Савинкова». Не могли же мы не знать человека после 15-ти лет совместной жизни! «Мне не нужны помощники, сказал однажды Савинков, при мне, Дм. С-чу, в Варшаве, — мне нужны исполнители!» Это было так глупо (ведь даже и думая это — глупо говорить!), что мы промолчали. И вот Дима поступил в «исполнители», — и чьих приказов? Ослеп и сделался «оборотнем».

Живет он где-то в гостинице, приходит к нам изредка. Рассказывает мало, мы знаем только, что дело, за которым он приехал — достать денег для интернированного в Польше отряда Савинкова - Балаховича («я уверен, что мы дойдем до Москвы!») — Это дело не удалось.

Вчера Дима не был даже на первой лекции Дм. С-ча в Salle Danton. Много народу, слушали внимательно. Лекция, конечно, по французски. (Потом она вошла первой статьей в книгу Д. С-ча «Царство Антихриста», под заглавием «Европа и Россия»).

На днях «посланец» С-ва уезжает обратно в Варшаву. С проклятиями. «Неблагословенность наших дней»... Еще бы! А что будет дальше!

Отсюда я начинаю просто рассказ о нашей эмигрантской жизни, записи мои, с откликами о Польше,

прекращаются. В дальнейших, тоже отрывочных и кратких, кое что о Варшаве и варшавянах отмечено, и даже весьма немаловажное, но все это я введу в рассказ. Манерой дневника передавать не буду.

В Париже мы встретили не мало старых знакомцев русских, не мало и новых. Некоторых «новых» эмигрантов, даже писателей, особенно москвичей, мы лично не знали в России, или видели мельком, — Зайцева, например, или Куприна и Шмелева. А с таким большим писателем, как Бунин, мы до Парижа не были знакомы лично вовсе. Был тут и невиденный нами раньше Милюков (Д. Ф., как близкий сотрудник газеты «Речь», знал его в Петербурге хорошо). Он еще не сделался тогда владельцем недоброй памяти «Последних Новостей», но газета уже выходила: ею заведывал Гольдштейн, адвокат, защищавший когда-то Дм. С-ча на его суде за «Павла I». Оказалась тут и еще одна русская газета, «Общее дело», сразу пришедшаяся Дм. С-чу больше по вкусу. Редактором был старо-новый, или ново-старый эмигрант, всем известный Бурцев, всю жизнь ловивший провокаторов и шпионов, разоблачивший в свое время Азефа, попробовавший всех, кажется, тюрем сам: от каторжной тюрьмы в Лондоне — до Петропавловской крепости в Петербурге, при большевиках. К большевикам он был «непримирим», а потому газетные статьи свои начал писать Д. С. в «Общем Деле» (как и я).

Но не для газетных же статей так стремился Дм. Серг. в Европу. Статьи — дело попутное. Я по истине удивлялась заряду его энергии в это время в Париже. Все люди, казалось ему, на что-то самое нужное нужны, при чем он верил, что не могут они не быть вместе, не чувствовать правды, которую чувствует он: слишком она явная, бесспорная. Он начинал понимать, что европейцы, французы, не так-то скоро и легко уразумеют, что такое большевизм. Но в русских не сомневался. Да, сказать по правде, в ту далекую осень 20-го года все эмигрантское общество

— старшее поколение — внешне представляло картину большой общности, как бы сплоченности против одного и того же врага. Постоянно, почти повсюду, все встречались. Существовали уже какие-то неопределенные кружки и общества, а Дм. Серг. еще затеял, у нас, какое-то сообщество на религиозных основах; но, в обычном (или даже необычном) увлечении своем, собрал вместе людей, по существу для этого неподходящих, почему из затеи ничего и не вышло. В то же время, отчасти благодаря его блестящим публичным выступлениям, отчасти потому что имя его (особенно по роману Léonard de Vinci) было во Франции известно, а приехавший откуда-то, где что-то творилось, он был «новинкой» — мы с ним стали попадать, как в Варшаве, к разным «контессам»; раньше, когда жили в Париже, мы туда не ходили, да ими (как и они нами) не нтересовались. Но французские литературные круги были нам теперь почему то дальше прежнего. Вообще все было не то, не так, точно переместилось, перекосилось (это мы переместились, но куда — еще не успели понять).

Из ранее незнакомых нам эмигрантов ближе всех был нам старик Чайковский. Он был в начале года с Савинковым в Варшаве, потом ездил один к Деникину, (когда тот погибал). С Савинк. он разошелся, без ссоры, кажется, — но не любил о нем говорить. Принадлежал он к старшему поколению революционеров народников (обычно жил в Лондоне, где года через два-три и умер). Его поколение, казалось, было самое атеистическое. Я многих современников его еще застала в Петербурге и писала о них, называя, впрочем, их атеизм, в отличие от атеизма последующих, материалистического, — атеизмом романтическим. Эти «последующие», революционеры и вообще всякие «левые», без различия партий, сохраняли свою, — по меткому названию Д. Ф. — «богобоязнь» — неприкосновенно, не смотря ни на что, до конца жизни. Из этого правила были исключения: тогда «левый» бросался в православие, вообще де-

лался прозелитом, крестился, если был еврей; а то даже делался священником. Но Чайковский не был ни романтик, ни клерикал, а настоящий религиозный человек. Мало того: его христианство окрашивалось чем-то новым: он говорил о троичности, о Духе, притом без всякого условного догматизма. Не мертвыми устами повторял эти догматы, т. е. не как статьи закона, — он не был прозелитом. Чувствовался в нем, конечно, моралист старого закала, отвычка от России, незнакомство с ней в последние годы... Но религиозность его была самая подлинная и не банальная, что при его возрасте и биографии казалось даже удивительным.

В Париже, в это время, существовало Русское Издательство, которое так и называлось Изд-во Полнера-Чайковского. Д. С. и я в него, конечно, тотчас же попали (Полнера мы знали еще по Петербургу). Там был издан роман Д. С-ча «14 Декабря» и одна книжка моих рассказов, выбранных из нескольких книг, изданных в России, и здесь, в Париже, найденных мною у знакомых.

Рассказывать жизнь нашу по годам очень трудно, почти невозможно, да м. б. и ненужно: она скорее укладывается в пятилетия. Я буду отмечать, конечно, что было в «первое» время, но было ли то или другое в 21 г., было ли оно в 22-м — это я могу спутать, если даты не важны. Годы событий более или менее значительных я, конечно, знаю. Не особенно значителен, но любопытен был наш (эмигрантский) обед с Эррио и другими французами в Интернациональном Клубе, по почину давнего знакомого нашего Проф. Поля Бойэ — в зиму 1920-1921 года.

Кроме нас и Бунина был там, из русских, не помню, кто, помню только молодого Алексея (Алешку) Толстого, который был тогда тоже «эмигрант», и даже бывал у нас и у других. Кстати, чтобы к этому типу уже не возвращаться, скажу здесь, что это был индивидуум новейшей формации, талантливый, а-моралист, je m'en fichiste, при случае и мошен-

ник. Таков же был и его талант, грубый, но несомненный: когда я читала рукописи, присылаемые в «Русскую Мысль» (в 10-11 году), я отметила его первую вещь, — писателя, никому неизвестного. Но потом в России мы с ним так и не встречались, и что он делал, где писал — мы не знали. Но должно быть он не дремал и, если не в литературу, то куда-то успел пролезть, потому что в СПБ-ском моем дневнике отмечен, как один из абсурдов во время войны 14-го года, посылка правит. делегации в Англию, где делегатами были, между прочим, этот самый, почти невидимый «Алешка» и — старый знакомец наш, бывший секретарь Рел. Ф. Собраний, Ефим Егоров; когда-то (по слухам) «шестидесятник», но в конце концов пристроившийся в «Новому Времени» Суворина, и которого милый В. Тернавцев добродушно звал «пес». Что делала в Англии такая «делегация» — осталось на веки неизвестным.

Ал. Толстой, как то очутившись в Париже «эмигрантом», недолго им оставался: живо смекнул, что место сие не злачное и, в один прекрасный, никому неизвестный день, исчез, оставив после себя кучу долгов: портным, квартирохозяевам, и др. С этого времени (с 21-го года) и началось его восхождение на ступень первейшего советского писателя и роскошная жизнь в Москве. Если б он запоздал — неизвестно еще как был бы встречен; но он ловко попал в момент, да и там, очевидно, держал себя не в пример ловко. И преуспел — и при Ленине, и при Сталине, и до сих пор талантом своим им служит. Говорят, и в Париж он за эти годы приезжал, уж в другом, не в «низменном» званьи эмигранта; встреч с этим сословием он, конечно, избегал, — с честными кругами.

Тогда, в 20-21 году, мы, естественно, всех эмигрантов считали честными. Если это была наивность, — как от нее без опыта избавиться?

На том обеде в Интернациональном Клубе, о котором я упомянула, было все «по-хорошему». Были

речи; говорил, кажется, только Дм. Серг. и Эррио (м. б, ошибаюсь, но помню этих двух). Из русских и некому было выступать: Бунин французским языком не владеет и вообще не оратор. Что говорил Дм. С. — в точности я не помню, но можно себе представить. Речь Эррио была самая любезная, благожелательно-обещающая: «on ne vous lachera pas», — — несколько раз повторял он (французы такие способные ораторы!). После обеда Д. С. и я говорили-болтали с присутствовавшими французскими журналистами и писателями. Помнится, был там критик из Temps, кажется, и Henri de Regnier, высокий, тихий, седовласый.

Потом все кончилось. Когда мы вышли, мне запомнилось почему-то, что Толстой, прощаясь со мною, вдруг сказал: «Простите меня...»

— Да что же вам простить? удивилась я.

— Простите... что я существую. Сказал неожиданно, экспромтом, забавно... Но после нередко мы этот экспромт вспоминали и повторяли.

К тому же первому времени Парижа относятся завязавшиеся связи Дм. С-ча с молодым французским издательством Roche-Bossard. Там издан был, прежде всего, наш сборник «Царство Антихриста», «14 Декабря» Дм. С-ча и еще другие его книги. Потом мой роман «Чортова Кукла» (еще до войны переведенная на французский язык) и должен был выйти второй роман, как бы продолжение первого, вышедший перед войной в Москве, но я уступила очередь Бунину: он тогда только что начинал печататься по французски и нам с Дм. С. хотелось, чтоб он выпустил не одну, как думал Bossard, а сразу две книжки. (Замечу в скобках, что эта моя очередь так и не пришла: роман совсем не вышел. Очень скоро у нас наступила крайняя нужда в деньгах, Bossard кончился, Дм. С. стал продавать, за что попало, свои книги другим издателям, а я в газетах зарабатывала такие гроши, что заплатить сразу 1000, Шеврему за перевод мы сочли неблагоразумным).

Так, довольно смутно, со встречами новыми и старыми, прошла эта первая зима. На лето мы, по совету многих, поехали в Висбаден, оккупированный тогда французами. Там было очень хорошо, — как всегда на немецком курорте. Оккупация ничего не нарушала, население (побежденной страны) было совершенно спокойно, без всякой вражды к оккупантам, даже когда по улицам с музыкой проходили войска победителей.

В Висбадене Дм. Серг. вплотную занялся Египтом — для давно намеченной книги. Мы посетили тамошнюю прекрасную библиотеку. Дм. Серг. пришел в восторг от увесистых фолиантов с рисунками в красках, которые он там нашел. По неуменью работать часами где-либо, кроме своей собственной комнаты, он должен был бы от них отказаться, если б не любезность культурного директора библиотеки, который предложил присылать ему выбранные книги на дом. И в дальнейшем служитель привозил нам эти книги — так они были громоздки — на тачке, а жили мы в отеле на горе, над Висбаденом, на Нероберге.

Целые дни, после рабочего утра, Дм. С. проводил в густых лесах, кольцом окружающих Нероберг. Признавался мне, что часто даже забывает, что лес этот — «чужой». И правда: так же лес этот был глух, темен, почти дремуч, как иной русский, так же и пахло в нем, — листом палым, грибной сыростью, лягушками невидимыми, свежестью и прелью...

В Висбадене мы получили первую весть, через Варшаву, о моих сестрах. Они живы! Какое было облегченье! К осени — известие, что умер Блок. Подробности его страшной смерти мы еще не знали. Но уже многое видели, что позволяло их угадывать. И я тут же задумала серьезно написать о нем, и мы стали с Дм. С. постоянно о Блоке говорить. Д. С. очень любил его, несмотря на случавшиеся между ними споры. Они, между нами и Блоком, всегда кончались благополучно.

В августе в Висбаден приехал Бунин с женой и поселились в том же отеле, на Нероберге. С Буниным, как я уже сказала, мы не встречались лично в России. Он был москвич, а талантливые писанья его, которые мы, конечно, знали и ценили, были как-то не в том течении последнего петербургского периода, в котором находились мы. Теперь, встретившись в Париже, мы сблизились, как разделяющие ту же «юдоль» изгнанничества, при том одинаково (почти) относящиеся к России и совершенно одинаково к большевикам. Но он был человек особого склада, ранее нами близко невиданного — среди писателей петербургских и наших кругов вообще, — а потому особенно меня заинтересовал. И вот, я помню, в Нероберге, после ужина, всякий вечер я начинаю с ним бесконечные беседы в моей большой комнате, стараясь рассмотреть его сердцевину, чем он живет, что думает, чему на службу отдает свой талант. Интерес к «человеку», к «личности» вечно толкает меня к таким выяснениям себе того или другого, а если, в конце-концов, они мне не удавались вовсе, или я ошибалась и создавала себе образ неправильный (что случалось часто), это уж просто у меня «талантишку не «хватило», по выражению Д. Ф. А бескорыстных стараний всегда было много.

Относительно Бунина я, впрочем, поняла, — по тогдашней моей записи, что «он весь в одних ощущениях, но очень глубоких». И далее прибавлено: «Никогда не забуду, как он читал это потрясающее письмо из Совдепии, подписанное кровью матерей (буквально)».

Это письмо Дм. С. получил как раз в Висбадене. Обращение «ко всему миру» нескольких (больше 20-ти, кажется) женщин из сов. России, с непередоваемо-сильной просьбой, мольбой спасти не их, а их детей, которым грозит духовная и телесная смерть. «Возьмите их отсюда, из этого ада! Мы погибаем, погибли, но это все равно, мы молим весь мир спасти детей наших!» Подписи были сделаны

действительно кровью, некоторые углем. Д. С. потом напечатал это письмо, действительно страшное, в русской газете «Общее дело».

Казалось, мы уж ко всему привыкли, замозолилась душа. Но это письмо не могли мы читать без ужаса. А что же «мир», к которому обращались эти матери? Д. С. сделал много, чтобы вопль этот не остался ему неизвестным. А мир... да ничего. Просто ничего.

В Бунине, казалось мне, при его тончайших ощущеньях окружающей внешности, есть все-таки внутренняя нетонкость пониманья личности, — человека. Кроме того, и в литературе (или шире) он, при большом его таланте, имеет какую-то границу пониманья. Он слишком в прошлом. Это я видела в разговорах наших о Блоке. Он его не чувствует ни как человека, ни как поэта. Мне это был жаль.

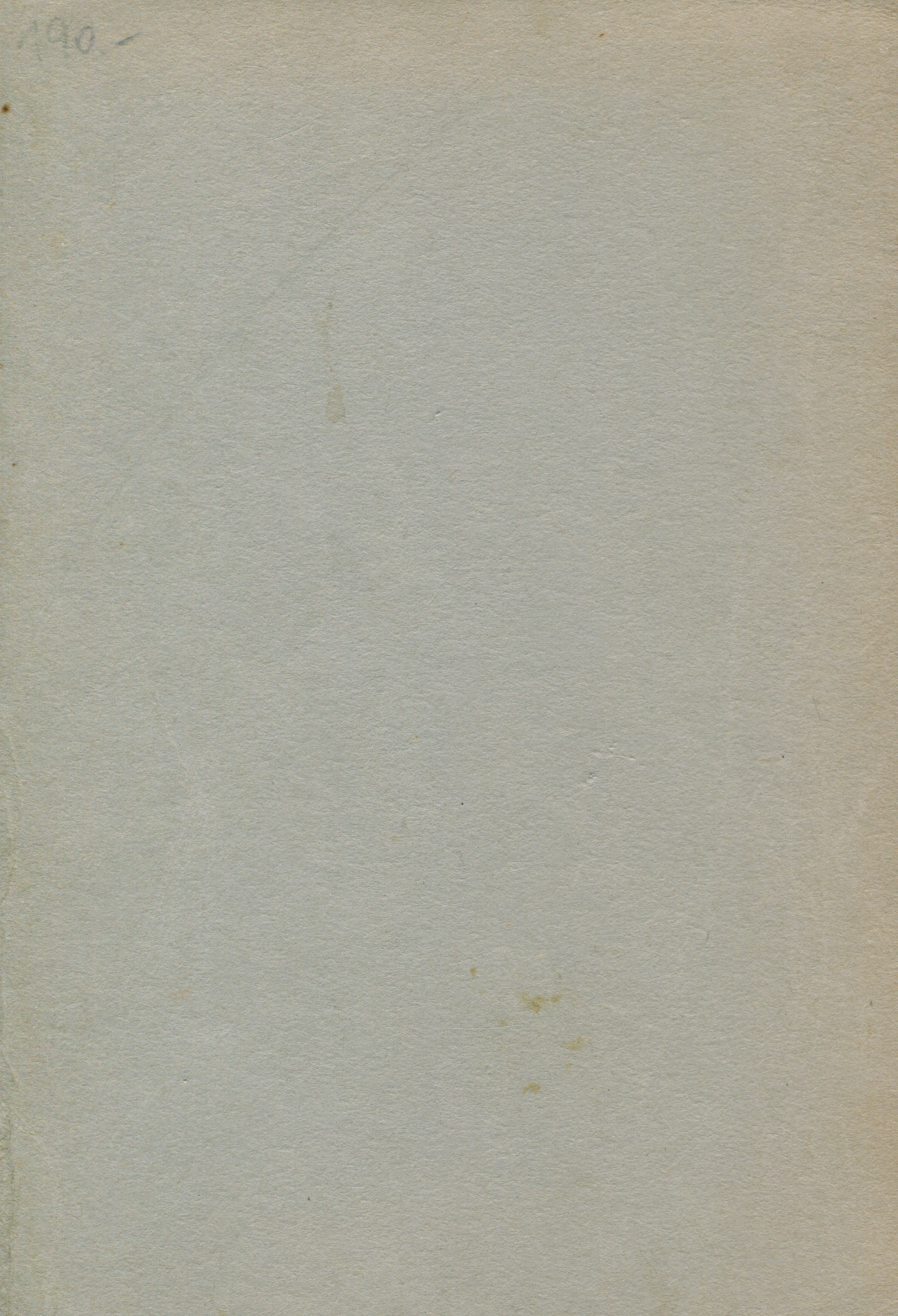
В Висбадене мы познакомились с Кривошеиным. Министр, не успевший сделаться министром перед революцией, как слишком «либеральный», по мнению Николая II и, главное, царицы. А его очень прочили. Но, конечно, умеренный либерализм его ничего бы не спас. Да и было поздно.

Потом, когда Бунины уже уехали, в Висбаден приехал Гессен из Берлина, редактор уже там основанной газеты «Руль». Дм. С. и я — мы писали в ней несколько раз, Гессен относился к нам недурно, через год издал даже мою книжку последних стихов, но в общем нам было не по дороге: Гессен — партиец, к. д. (мы его знали в Петербурге), газета «Руль» — умереннее, чем в начале Милюковские «Последние Новости». В Висбадене (он остановился там же, в Нероберге) в беседе с нами, он сказал как-то: — Не могу простить себе, что в начале, только что приехав в Берлин из советской России, я был — за интервенцию!

А так как Д. С. и я мы были и в начале, и в конце, и всегда «за интервенцию» — то мы этой беседы и не продолжали.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Impr. de Navarre. 11, rue des Cordelières. Paris


190.-